

НИЖНИЙ
НОВГОРОД

N I Z H N Y N O V G O R O D 3 (3 8) / 2 0 2 1



ЕВГЕНИЙ
СЕМИЧЕВ
Новокубышевск

4



ЕЛЕНА
КРЮКОВА
Нижний Новгород

7



ИВАН
НЕЧИПОРУК
Горловка
Донецкая обл.

20



ГЕННАДИЙ
ЁМКИН
Саров

25



ВИТАЛИЙ
ЛОЗОВИЧ
Салехард

38



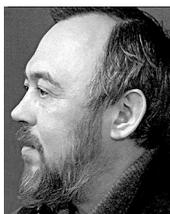
ЕВГЕНИЙ
СТЕПАНОВ
Быково
Московская обл.

65



НИКОЛАЙ
БРАГИН
Москва

86



АЛЕКСАНДР
КАБАНОВ
Киев

90



ЯРОСЛАВ
КАУРОВ
Нижний Новгород

95



ВАЛЕРИЙ
СУХОВ
Пенза

99



ДМИТРИЙ
ТЕРЕНТЬЕВ
Нижний Новгород

103



НИКОЛАЙ
ИВАНОВ
Москва

166



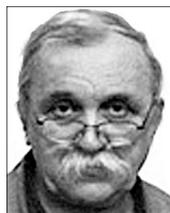
АЛЕКСАНДР
ШИНЕНКОВ
Надежино
Нижегородская обл.

185



ВАЛЕРИЯ
БЕЛОНОВА
Нижний Новгород

216



ВЯЧЕСЛАВ
ФЕДОРОВ
Нижний Новгород

225

16+

В НОМЕРЕ

Поэзия

Евгений СЕМИЧЕВ ЗАСЕРЕБРИЛАСЬ ТРОПКА ДЛИНОЮ ДО ЛУНЫ...	4
Елена КРЮКОВА ТЕРМИНАЛ (<i>фрагменты</i>)	7
Из новой книги стихотворений «ИРКУТСКИЙ РЫНОК»	14
Евгений ОВСЯННИКОВ НАХОДИШЬ ЛИШЬ ТО, ЧТО ЗАБЫЛ, А НЕ ТО, ЧТО ОСТАВИЛ...	17
Иван НЕЧИПОРУК МЫ ПОЛПРЕДЫ СЛАВЯНСКОГО МИРА...	20
Геннадий ЁМКИН РОЖДЕНЬЕ ТИШИНЫ	25

Проза

Олег РЯБОВ АРИСТОКРАТКА	29
Виталий ЛОЗОВИЧ ЗА ДУХОВ НЕБА И ТУНДРЫ!	38
Дмитрий НИКОЛОВ УЛИТКА-УЛИТКА, ВЫСУНЬ РОГА	56
ГРУСТНАЯ ШУТКА	61
Евгений СТЕПАНОВ АМЕРИКАНСКИЕ ХЛЕБ С МАСЛОМ	65
ВОЗВРАЩЕНИЕ	69
Владимир РОМАНОВ ПОБЕГ	72
Денис ТРЕТЬЯКОВ СТАРИКИ	79
Ирина ГРИШИНА КУХНЯ	84

Поэзия

Никита БРАГИН ...И СВЯТЫЕ СЛОВА ПРОЧИТАЙ НА СВОЕМ ЯЗЫКЕ	86
Александр КАБАНОВ ЖИЗНЬ БОЛИТ, ДА НЕ ПРОХОДИТ...	90
Ярослав КАУРОВ ВЛЕКУТ ПРОРОЧЕСКИЕ СНЫ....	95
Валерий СУХОВ И ЛИШЬ ПОД КОНЕЦ ДАЛЁКО ЗАБРЕЗЖИЛ НОВЫЙ ЗАВЕТ....	99
Дмитрий ТЕРЕНТЬЕВ КАЖДЫЙ ИЩЕТ ОГОНЁК ВО МГЛЕ...	103

Проза

Сергей МИРОНОВ ИЗОБРЕТЕНИЕ СЧАСТЬЯ	106
Сергей КУЛАКОВ ПЕРВЕНЕЦ	114
ЖЕНА ХУДОЖНИКА	119

Виктор ВЛАСОВ	
ТРАКТОР	123
ДЕЖУРНЫЙ У ВЕЧНОГО ОГНЯ	129
Михаил СМИРНОВ	
МЕСЯЦ ЗВЕЗД И ТУМАНОВ	131
Михаил ТЯЖЕВ	
ДЕД ДЕНИС	135
Елена АЛБУЛ	
САНТЕХНИК НИКОЛАЙ РЫБКИН И ЕГО ПУТЬ В ИСКУССТВО	144
Дмитрий ФАМИНСКИЙ	
РАЗУМНАЯ ДОСТАТОЧНОСТЬ	156

Из будущих книг

Николай ИВАНОВ	
АРТЁМ ВОЕВОДА – БОЕЦ РЕСПУБЛИКИ (<i>главы из повести</i>)	166
Сергей БУРЛАЧЕНКО	
РОМАН-НЕФОРМАТ (<i>фрагмент</i>)	178

Стихи по кругу

Марианна СОЛОМКО	184
Александр ШИНЕНКОВ	185
Никита ДОРОФЕЕВ	186
Виктор ЕПИФАНОВ	188
Владимир ИЛЬИЧЕВ	188
Галина ШУБНИКОВА	190

Публицистика

Олег РЯБОВ	
ОТ ПОСТМОДЕРНИЗМА К ХАКЕНКРОЙЦУ	191
Николай БЕНЕДИКТОВ	
СМЕРДЯКОВЫ ОТ ИСТОРИИ	194

Вехи памяти

Маргарита СМОРОДИНСКАЯ	
БУНИН И СОВРЕМЕННОСТИ	201

К 800-летию Нижнего Новгорода: эпохи, судьбы, факты

Валерия БЕЛОНОГОВА	
«АЗ, ХУДЫЙ, НЕДОСТОЙНЫЙ И МНОГОГРЕШНЫЙ	
РАБ БОЖИЙ ЛАВРЕНТИЙ МНИХ...»	216
ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ	
Нижегородские впечатления Льюиса Кэрролла	220
Вячеслав ФЕДОРОВ	
АРХИТЕКТОР МОДЫ	225
Протоиерей Владимир ГОФМАН	
КУПОЛА, СМОТРЯЩИЕ В НЕБО (<i>продолжение</i>)	236

Евгений СЕМИЧЕВ

Родился в 1952 году в Новокуйбышевске, Самарская область. Окончил Куйбышевский государственный институт культуры и Высшие литературные курсы при Литинституте имени А.М. Горького. Преподавал в Самаре, был директором Новокуйбышевского Дворца культуры.

Автор книг «Соколики русской земли», «Великий верх», «Заповедный кордон», «Свете Отчий», «Небесная крепь» и других, а также множества публикаций в российских центральных, зарубежных и региональных литературно-художественных и общественно-политических изданиях.

Лауреат премий имени М. Ю. Лермонтова (2004), Александра Невского, премии «Новая книга России-2002», Большой литературной премии России (2006), Международной премии им. Р. Гамзатова (2007), Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» (2009), дважды лауреат премии журнала «Наш современник». Включён в список классиков XX века по версии Пушкинского Дома Российской академии наук.

Секретарь Союза писателей России. Живёт в Новокуйбышевске.

ЗАСЕРЕБРИЛАСЬ ТРОПКА ДЛИННОЮ ДО ЛУНЫ...

* * *

Кому-то прелесть юных нег
Сулит весенняя погода.
А мне на ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ снег
До самой кромки небосвода.

А я за кромку не ходок.
Там много связано с любовью.
А мне по сердцу холодок
Благоприятный для здоровья.

Пора переходить на ямб,
Пора нетленку заямбечить.
От нежных дев до снежных баб
Всё сущее очеловечить.

Я это понял всё вчера
Сквозь призму снежного кристалла.
Пора, пора, пора, пора,
Пора...
Моя пора настала!

* * *

Вот и закачалось мирозданье
Мерно словно птица на лету.
Юность мне назначила свиданье
На летучем подвесном мосту.

Под мостом плывут вольготно утки.
Над мостом взлетают сизари.
Этот мост парит два раза в сутки
Высоко на уровне зори.

Ангельской своей улыбкой кроткой
В пламени горячих юных дней
Плавающий лодочкой походкой
Выкликают девушки парней.

Этот мост, летящий над рекою,
Позволял подняться в полный рост
И дрожащей трепетной рукою
Доставать до самых ярких звёзд.

Где теперь те годы зоревые
У небесной бездны на краю.
Здесь бесстрашно нежно и впервые
Целовал я девочку свою.

Здесь, пылая лихо и азартно,
Красный день за красную черту
В прошлое былое безвозвратно
Уходил по красному мосту.

* * *

Зима ступает робко
В стихи мои и сны.
Засеребрилась тропка
Длиною до луны.

Забористый морозец
Сковал покров земли.
А я – канатоходец
Межзвёздной колеи.

Присыпан снежной пылью,
В завьюженном пылу,
Раскинув руки-крылья,
Иду, скользя, во мглу.

Моей стезёй влюблённой
Петляет колея.
А лёд совсем зеленый
Такой же, как и я.

В зеленоглазых звёздах
Ночная тишина.
В зелёных искрах воздух.
Зелёная луна.

Река в хрустальных звонах.
Попал я сам не свой
В мир грёз своих зелёных,
Как в омут с головой.

Но мне уже не страшно
Загинуть под водой.
Такой я бесшабашный.
Такой я молодой.

Моя клубится тропка
По гибельному льду.
Зима ступает робко.
Не робко я иду.

Ночных небес колодец
В космической пыли.
А я – канатоходец
Межзвёздной колеи.

Меня к тому крылечку
Выносит колея,
Где за хрустальной речкой
Живёт любовь моя.

Елена КРЮКОВА

Родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького.

Автор книг стихов и прозы, куратор и автор художественных проектов в России и за рубежом. Лауреат премии им. М. И. Цветаевой, Кубка мира по русской поэзии, премий журнала «Нева» за лучший роман года («Врата смерти», 2012), им. Горького (2014), им. И. Гончарова (2015), Международной литературной премии имени А. Куприна (2016), Международной премии им. Э. Хемингуэя (2017).

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

ТЕРМИНАЛ

Фрагменты

* * *

Память. Шампанским не поминают.
Водкой, и кус ржаного – поверх
Рюмки. Какая ты ледяная,
Жизнь. Как жжется твой дикий смех.

Пост великий. На дне бутылки
Капля. Дрожит холодильный шкаф.
Мой отец. Тебя не забыли.
Рюмку грешь в военных руках.

Пуля в ладонь. Свело контрактурой
Руку правую. Так держал
Штурвал, рулевой мой, штурман хмурый,
Порт не запомнен. Забыт причал.

Память. Какая долгая память.
Жизнь. Какая малая песнь:
Вот сенокос, а вот и пажить,
Дьявол не нажит, а Бог воскрес.

Праздники, о, шампанское льется,
Сыплются бешеные конфетти.
Память – звездой – на дне колодца.
Если можешь, прости.

Нежно поставим полную рюмку
К желтому фото. Засохнет хлеб.

Ты со снимка глядишь угрюмо
Поверх судеб.

Ты со снимка глядишь, улыбкой
Старую дочь целуя свою,
Будто еще я в родильной зыбке,
Не у забвения на краю.

Жемчугом рыбьим – твоя могила
В зимних водорослях полей.
Память. Твоя великая сила.
Нынче помянем. Налей.

* * *

Всепожирающее Время!
Ты мощной музыкой кричишь.
Ты конницею надо всеми
Летишь. И улетаешь в тишь.
Твой реквием теряет ноты.
Теряет кости ксилофон.
А обочь конного полета
Твой колокольный красный звон.

Ты оглянись. Там войны катят.
Наотмашь бьют цари – царей.
Там Бог протянет ветошь платья
Последнему из рыбарей.
Всепожирающее Время!
Я в зеркале сейчас – одна:
Девчонка малая меж всеми,
Богам и людям не нужна.

Девчонка в раме, амальгаме
Истертой, только б не разбить,
Меж Воскресеньем и ветрами
Не разорвать тугую нить.
Мне камень не швыряй в затылок!
Ведь зеркало все отразит,
Запомнит. Времени обмылок
В ладонях грязных заскользит.

Ах, пианино – песня чтобы,
Чтоб музыка... на веки веч-
ные – у счастья и гроба,
близ тонких, на пюпитре, свеч...
Альбом сияющий и Детский,
Чайковский, нежный, золотой,
В ночи рыдающий, советский,
Педаля – монетой под пятой...

Всепожирающее Время!
Я по тебе схожу с ума.

В больничное вдевают стремя
Меня – и лечат задарма.
И вот они, мои Капричос,
Гравюры Адовы мои –
Огнем в меня глядят, набычась,
Юроды, полные любви.

Я каждого так обласкаю.
Я песню каждому спою.
Я, музыка, тебя не знаю,
Но все играю – на краю!
Над пропастью... там нимбом темя
Предсмертное – освещено...
Всепожирающее Время,
Уйди. Тебе же все равно.

И новый, сумасшедший Гойя,
Бродя меж коек и хрипя,
Чертит железною рукою
Людей – его, тебя, себя!
Затем, что живописи учен.
Затем, что знает наперед,
Поверх изломов и излучин,
Поверх надежды: всяк умрет.

Жизнь надо каждую оставить –
Зане торжественна она.
Жизнь надо каждую восславить –
И песню лить струей вина.
О, сумасшествия беремь,
Пророчий оголтелый дар...
Всепожирающее Время –
Костра тяжелый, ветхий жар.

Так!.. все сгорим дотла в кострище.
Все ляжем в землю и уснем.
И там богатый станет нищим,
И в полночи светло, как днем!
Любимые... жизнь – хромосома,
А смерть брюхата нами вновь...
Вот руки – Детского альбома
Игра: обида и любовь.

Забудь ту боль, что причиняли
Тебе – врачи и палачи!
Лежи ребенком в одеяле.
Кричи! а может быть, молчи.
Летит молчанье надо всеми.
Молись. Люби. Возьми в ладонь
Всепожирающее Время –
Всесокрушающий огонь.

Пушкинская площадь

Птички-печеночки клювик... павлиний юнец...
Ветер пламенный бьет из-за спин...
Вот старуха, чьи руки в созвездьях колец
Дышат маслом для швейных машин.

Дышит памятник призрачно и горячо...
Голубь тихо слетает с небес
На печальное, бронзы зеленой, плечо,
На волос металлический лес.

Он глядит, бедный Пушкин, он вечен уже,
На толпу... на любви круговерть...
Он стоит темной бронзой на том рубеже,
Где сражаются память и смерть.

Оплетает толпа утлый кинотеатр.
Хлеба, зрелищ!.. не много ли нам?
Мирь в оскаленных сплетнях себя растерял.
Остается пойти по стопам

Этой девочки в драповом жалком пальто,
С изможденной поноской, где хлеб
Да консервы дрянные; которой никто
Не расскажет движенье судеб;

Что лягушек-двойняшек назавтра родит,
Проклиная отца их, страну,
Где волчиная лампа в подъезде горит,
Освещая и Мирь, и войну;

Что варить будет им геркулес на воде,
Маргарином – ожоги лечить,
Что пройдет по грязи, в колее, в борозде,
И в долгах, как в шелках, будет жить...

За тобой и пройду, дорогая душа!
Повторю сигаретный твой дым,
Брошь за грош, ах, цепляешь к плечу, не дыша,
И претолстые письма родным...

Махаона в сачке... и сорогу в садке...
Над деньгами отчаянный рев...
Мальчик Пушкин читает тебя налегке –
Только кровью веселой, без слов...

Ну, а ты томик с полки – в огнистую ночь,
В темень хвой смолистой тяни:
Ты ведь рыбка золотая, ты царская дочь,
Сочтены драгоценные дни!

Сказка, елка! Ветвей растопырена тьма!
 Украшенья в зените горят!
 Золотые дожди... Конфетти кутерьма...
 Серпантин, обреченный наряд...

Все шампанское выльют в бедняцкий бокал!
 Все дешевое выпьют вино!
 Дикий, дивный поэт... пули он все искал...
 На дуэлях стреляться – смешно...

Вот еще один горький отметили год.
 Жжется кладкой кирпичная клеть.
 Ты, родная, не плачь! Ты святой мой народ.
 На тебя только в небо смотреть.

И когда наше время изрежет твой лик –
 Да и мой! – и наступит наш час,
 Глянет сверху на старых нас
 Пушкин-старик
 Синей бронзой подтаявших глаз.

* * *

Не уходи... побудь со мною... еще немного... обними...
 Мы просто ночью ледяною немного побыли – людьми...
 А то ли боги, то ли звери... то ль бесами пребыли мы
 В мирах позора и потери, в безумных пропастях зимы...
 Не уходи!.. побудь со мною... а я побуду так – с тобой...
 Я кипятка врата открою, и чайник запоет глухой,
 Свисток завоет, ветер заплачет в парчовом, инистом окне –
 О сладостной слезе горячей, и о тебе, и обо мне...
 Зачем тебя я полюбила?... так больно, что и не смогла
 Забыть – до стога, до могилы... и шьет морозная игла,
 Сшивает крепко наши судьбы, кладет межзвездные силки...
 А завтра День настанет Судный... а валенки мне велики...
 Зима... великие морозы... Гиперборея за окном...
 Зима... и пихты, и березы... все поцелуи станут сном...
 Объятия все станут бредом... и мы по Мiру побредем –
 По заметеленному свету... между пургою и дождем...
 Серебряная Мангазея... серебролика Луна...
 Сходя с ума, от слёз кося, любовь, я у тебя одна...
 Ты обними меня до срока... до той иконы, что – на грудь...
 Не уходи... побудь немного... еще немного... хоть чуть-чуть...

* * *

я люблю тебя уходящий
 улетаю вслед за тобой
 здоровьем пышущий и болящий
 и ледащий хоть волком вой

я люблю тебя вдаль плывущий
исчезающий за кормой
Белопенный призрак словущий
все зовущий домой домой

я люблю тебя повторяю
я люблю – и еще – люблю
я люблю – от края до края
стеклорезом – да по стеклу

я люблю на могиле плачу
фотография – под стеклом
мой стакашек бумажный зрячий
ну помянем – под ветерком –

всю любовь под крестом зарыли
а она воскресла – одной
лунной ночью во славе и силе
вон стоит у нас за спиной

Ратница

Вот те праздничны узоры, рассребрённый изарбат!
Как на славнейшей на Волге струги-яхонты горят.
Под светилом воссияют, наискось волне плывут!
Вот пылает Кремль без краю – ясен-красен, берег крут!
Ах ты острова-излуки, речки-старицы-ручьи!
Рассыпны пески – что руки нежны-ласковы мои!
Алым бархатом да шелком исподернут мой шатер!
Атаманша, взоры колки, лик пылает что костер!
Дело ратное, добыча... Криком ветер есаул
Разрывает: клекот птичий, порх синичий, битвы гул!
Ай ты времячко, ты буйно, кровушкой ты по ножу...
Я средь казаков шумливых молчаливенька сiju!
Гой еси вы, атаманы, братья ратные мои!
Не видал ли кто обмана девьей, бабьей ли любви!
Не обрящещи ли страсти! Не обьмете ль судьбу!
Все одно схоронишь счастье! Все одно лежать в гробу!
Завтра грозна грянет битва! Поскачу я на коне
Во кровавую ловитву, по краснеющей стерне!
Красен Мирь, и красны люди, и подавно кровь красна.
Я несусь на блюде, смерти, жизни ли нужна!
Ой, на блюде на кровавом, на подносе жестяном...
Ой, погибну я со славой иль загину черным сном!
Ай вы, молодцы-казаки, вы на струги – сядь да сядь!
Да гребите вниз по Волге, Волге-магушке опять!
Что сыскать нам?.. снова битва! Снова сеча, копыя, меч!
И предсмертная молитва – под крестом родным возлечь...
Ах ты, Керженец да Кама, ах ты, Ахтуба моя!
В битве мы не имем сраму! И сражаюсь храбро я!
Победим врага – на струги, и по Волге к морю плыть!
На коврах на сорочинских восседать да зелье пить!

Ай ты, мой Телячий остров, зелень-кудри, тальники!
Полотняный парус грозный, ветер воли и тоски!
Ах, оружие долгомерно, пушки медны, грянем бой!
А любовь-то долготерпит, а любовь одна с тобой!
Смерть мы сеем! Смертью пашем!
Смертью сыты лишь мужи!
Я-то баба! Ад не страшен! Пред Геенной не дрожи!
Ах, ковры мои персидски, рытый бархат, красный плис!
Ах, орел летает низко... значит, Богу помолись!
Кушай сладко, девка красна! Пей ты зелено вино!
Караулы не напрасны, вместо бархата – рядом!
Алебардами, секирой вся раскромсана парча.
Ай вы, в горностае дыры, в грязь – понева – со плеча!
Ах ты, матинька ты Волга, мила Волженька моя!
Смерти ждать уже недолго, и завтра лития!
Ах, бухарские хиджабы! Ах, царьградский ты убрус!
Воин я! Не просто баба! Только... о любви молюсь...
О любви! Ах, люди-люди! Слуги нашего царя!
Бьется, бьется так под грудью легкокрылая заря...
Пир гудит между боями! И встаю, в руке потир,
И кричу, подъявши: с нами, люди, Бог! И с нами – Мирь!
Мирь... безумье новой смерти... плеть, стрела, праща, пицаль...
Жгите, режьте, насмерть бейте люди, вы, людей – не жаль!
За царя и за земельку! За тетерку на суку!
Выпью – снова мне налей-ка: тьму, сужденну на веку!
Ах ты, сладкое-сладчайше, изумрудное винцо!
От людской галдящей чащи отверну к реке лицо...
Ах ты, Волга ты сердечна, ты река-моя-душа!
Утекаешь к жизни вечной... пьем из Млечного Ковша
Мы твою святую воду... мы твою святую синь...
Волга, посреди народа, мать, меня ты не покинь...
Мать, врага я повоюю да из-за тебя одной!
Я в тебя шагну, живую, потону, лишь будь со мной...
Волга-мать, ты на погосте, в небесах – любовь моя...
Коль умру – да киньте-бросьте в Волгу-реченьку меня...

Остров

Ножами снега больно, остро
Бьет щеки – Север, Город, Мирь.
Я в темном Океане – Остров.
Я не замечена людьми.
Людской прибой вскипает грозно.
Иду – под шубою – нага...
Мы с этим Океаном – розно.
Меж нами – черные снега.

Меж нами – красные метели.
Меж нами – золотые льды.
Меж нами – грозные постели,
Слепые молнии беды.
Меж нами – зарево больницы,
Где хрип алкоголички – той,

Которой перед смертью снится
Сын в ярко-синем... он святой...

И что – делирий или Делос –
Пронзает океанский мрак –
Тот Остров, где так сладко пелось
Нам – за автобусный пятак?!
В посконном сне, в пылу проклятий,
На рыночном распутном дне –
О речь моя, мой Остров, мать,
Спаси меня, живи во мне!

Иду; пообтрепалась шубка.
В яремной ямке – крестик мой.
Мне больно. Холодно. Мне хрупко.
Мне надо поскорей домой.
Как будто в милых бедных стенах,
Под пламенем картин отца,
Я буду неприкосновенна
Для гнева, горя и конца!

И вдруг отчаянно и просто
Придет, как в коревом бреду:
О тело теплое! Ты – Остров
Огня – на смертном холоду!
О хлеб! Ты Остров в изможденной,
Изрытой голодом горсти.
О страх! Ты Остров осужденных,
Когда «помилуй» – как «прости»...

В бинтах и сыпях, в перевязках,
В захлебах брошенных детей –
Любовь моя, ты Остров ласки,
Хоть в мире нет тебя лютей!
И, посередь молвы и пьяни,
Харчевни, храма и тюрьмы –
Звучу лишь нотою в Осанне,
Плыву упрямо в Океане,
Что жизнью
грубо кличем мы.

*Из новой книги стихотворений
«ИРКУТСКИЙ РЫНОК»*

Эшелон

О, мы верили так свято в лучезарную Звезду!
А теперь она – заклата: красным чудищем в бреду.

Змеевласою Горгоной... пятипалым топором...
...из теплушки, из вагона – песня: брат! стакан нальем!

Мы с войны катим! Стакашек опрокинь... бутылка – вот...
И вернемся, и попляшем, все как водится, народ.

И помянем, и заплачем – все как надо, все путем.
Вон боец вопит незрячий – с виду сам – дите дитем.

Курит вон солдат безрукий. И трясется эшелон!
...перегоны, перестуки. Плач и хохот, тихий звон.

О, мы верили так свято: мир навеки, да, навек!
Вот – за все пришла расплата. Кровь струится из-под век.

Так течет святое миро. По скуле да по губам.
Этого Святого Мира – я за царство не отдам!

Так мы жизни отдавали, люди добрые, за жизнь.
Так орудья обнимали – ну, проклятый враг, держись!

Мы – держались... мы – сражались... жили век и жили час...
Мы в небытие срывались – хоронили мертвых нас.

А теперь об этом – песню! Пусть забудут все слова!
В этой музыке – воскреснем! Эта музыка – жива!

Это крик и хрип завода. Это вопли всех атак.
Это плач и стон народа, яркий смех наш, алый флаг!

Из времен над ним – глумитесь! Издевайтесь – издаля!
...заплетает травы-нити изможденная земля.

Заплетает снега косы. Прижимает лед к устам.
Заплетает в нитку слезы – то силки на саван нам.

В эту песню, в той теплушке, заплетает голоса –
А не хочешь, и не слушай, чернобурая лиса!

Мы не звери. Мы лишь люди. Возвращаемся с войны.
Мы во вьюге да в остуде будем видеть злые сны.

Будем видеть гибель наших красных звезд... в бою – друзей...
Воздыми повыше чашу! Брат, полной стакан налей!

Выпьем, брат, и всех помянем – всех живых, кто пал в бою –
На юру и на шихане, на обрыве, на краю,

Утонул в чужом болоте, сгас от голода в лесах,
Кто в таране сгиб, в полете, в передсмертных небесах!

Запевай ты, мой родимый! Запевай, отец и дед!
Мой святой народ, любимый! Запевай, ведь смерти нет!

Для тебя ведь нету смерти – потому ты победил!
...заплетает круговертью ветер – горлицей могил.

Только мимо, мимо, мимо пролетает эшелон –
Мимо плачущих любимых, мимо храма, что спален,

Мимо бедных и богатых, мимо правды, мимо лжи –
Мимо всех, навек распятых – детям боль их расскажи!

Да не видят... да не слышат... мимо, мимо мчит вагон...
Пьют солдаты, жадно дышат, озирают небосклон,

И не знают, что там будет, в чередѣ иных веков:
Все такие ж войны, люди, час прошел – и был таков,

Только знают: вот – Победа! Вот – врага согнули мы!
...выпьем, брат. Идет по следу ветер – знаменем зимы.

Я незримая. Не видишь, брат, прозрачную меня.
Плачу. Пью. Ты не обидишь память воли, знамя дня.

И стучат, стучат колеса, бесконечно пьем и пьем,
До седой травы откоса, до прощания вдвоем,

До сияющего Града, как его, Ерусалим...
До небесной той ограды, где крылатый тает дым.

Евгений ОБСЯННИКОВ

Родился в 1963 году в городе Глазове (Удмуртия). Окончил факультет романо-германской филологии Удмуртского государственного университета. Переводчик.

Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Сибирские огни», «Европейская словесность» (Германия), «Эмигрантская лира» (Бельгия), альманахе «Витражи» (Австралия). Лауреат Международной литературной премии им. Игоря Царева (2015, 2016) и Международного поэтического конкурса «45-й калибр» (2019).

Живет в Нижнем Новгороде.

НАХОДИШЬ ЛИШЬ ТО, ЧТО ЗАБЫЛ, А НЕ ТО, ЧТО ОСТАВИЛ...

Лозоходцы

Так видят руду сквозь прозрачное чрево земное.
Так смотрят на солнце, а слышат гуденье огня.
Змеящийся воздух изъеден коррозией зноя,
И ос вувзелы в осоке высоко звенят.

Так рыбу выводят – уже на крючке – ощущая
Её полупойманность нервной, натужной лесой.
Так мчатся по встрече на чашку небесного чая.
Так, в лес уходя от погони, петляет косой.

Так мерит былая больным, обезлюбевшим взглядом.
Так дети, играя, случайно находят ключи
От дверцы за гранью... Заходят... Далёкое – рядом.
Так память о прошлом порой потрясённо молчит.

Так снится под утро столетним в тумане деревня,
Легка и бесклёкотна снов журавлиная вязь.
Вот так и живём и плетём – и неровно, и верно,
то матерной сказкой, то словом высоким давясь.

Беспилотное

Мене, мене, текел, гелий, упарсин.
Много лет тому назад и много лун
Он созрел на ветке, цитрус-цеппелин,
И уплыл в туман, молочный, как улун.

Кистепёрым махолётам не чета,
Верхоплавкам атмосферным форы дал,
От падения спасает высота,
Сам икар себе и сам себе дедал.

На приколе, на прицеле, на цепи.
Что за ржа суда в сухой заводит док?
Водоплавай, не летай и не глупи,
Эй, сарынь, давай, на кичку, пар – в гудок.

Бродят в гавани бездомные огни.
– Далеко вам? – Да на выселки, подбрось.
– Эй, трансформер, коль свободен, то мигни,
Крибле-крабле, шестерёнка, полуось.

Как сказал один заслуженный семит,
Оказавшийся, к несчастью, не у дел,
«Этот локус даже полный безлимит
Превращает в оголтелый беспредел».

Шар снаружи, но амфибия – внутри?
Философским пароходом – за бугор!
Сколько ручку ты судьбе ни серебри,
Но её не объегоришь, кьеркегор.

Он заходит в порт с эскортом афалин...
Бортжурнал. Пока не полный, но абзац:
«Упадает беспилотно цеппелин,
Улетает мой бесплотный пепелац».

Итака

Чуть слышно секунды в зонах стрекочут-токуют,
За край ойкумены устало утечь потакая.
Кто в сердце таскает по свету итаку какую,
Не светит тому лет уж десять итака такая.

Что время? Циклоп, не сметливей слепца Полифема?
Ты славно провёл его, волче, в овечьем обличье,
То присказка странствий, она же, в девичестве, тема.
А рема – ремарка, и небо щебечет по-птичьи.

Портрет имярека не равен стал сумме деталей,
Плодимых эпохой, где квантами памяти – мемы,
А мнемё* цела, как в ракушке уснувшая гемма,
В шкатулке Елены (камео). Троянских баталий

Беззвучно кино, и сирены совсем безголосы.
Какое койне, где словарные гнёздышки свиты?
Как птицам, сидящим на ветке одной изоглоссы,
Кормить семенами птенцов своего алфавита?

* Память (греч.).

Шагреновость карты, прокрустовость веры и правил...
Пройдя сквозь кротовые норы эгейского карста,
Находишь лишь то, что забыл, а не то, что оставил.
Она и причина расстройства, она и лекарство.

Молоко

На промёрзлом дворе собирают вороны кворум.
Ценз оседлости птиц на повестке сегодня? Или
Раздраконена стая горластым, крикливым спором –
Оскудели ли руки, которые их кормили?

И кормилица здесь, но сегодня же вторник, верно?
И как пить дать, приедет, за так, за живёшь здорово,
Раздвигая пространство двора, с молоком цистерна,
Коей хочется думать, что нынче она – корова.

Эта очередь лиц из сословья видавших виды –
А постой с ними рядом – ещё и слыхавших слухи –
Перемелет в неспешной беседе печаль-обиды,
Полувздохи согреются в снежно-молочном пухе.

А потом час пробыёт, птицы смолкнут, и станет тише.
И блеснёт солнца луч, от стекла отразившись остро,
Анфиладою лет приближаться к последней нише
По домам разбредутся молочные братья-сёстры.

Донное

По радио утром сказали: «Достигли дна» –
И город накрыло солёной морской шугой.
Вполне атлантидно под нами плывёт страна,
И мы кессонно не знаем такой другой.

Кто лапы клеит, кто жабры себе растит,
А солнце вверху в абажуре из снежуры.
Молчи, непечатных знаков копя петит,
Пока на соседних звёздах цветут миры.

Оксюморительно видеть сухим сырью:
В подводном царстве нелепо играть с огнём,
Но только всё чаще ты слышишь, как ё моё,
Крепчая, становится таким общим ём.

Иван НЕЧИПОРУК

Родился в 1975 году в Горловке Донецкой области. Работал на шахтах Донбасса горнорабочим очистного забоя и горномонтажником в механизированной лаве. Окончил Горловский государственный педагогический институт иностранных языков, филологический факультет Славянского государственного педагогического университета. До гражданской войны в Донбассе работал на ГП «Артёмуголь».

Автор нескольких книг стихотворений. Публиковался в литературных журналах Украины, России, Молдавии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Болгарии, Германии и Австралии. Зампредседателя Межрегионального союза писателей, член Союза писателей России. Членкор Крымской литературной академии и Славянской литературно-художественной академии (Варна, Болгария). Живет в Горловке.

МЫ ПОЛПРЕДЫ СЛАВЯНСКОГО МИРА...

Крики чаек над Невой

Тают в облаках лучи...
Ветер свищет, как нагайка,
Воздух сладостно горчит.
Надо мной не плачут чайки,
Надо мной кричат грачи.

Кроны тополей пусты...
На ветру трепещет осень,
Сквер, осунувшись, простыл.
И октябрь с собой уносит
Прогоревший дух листвы.

Заболел мой край войной...
И друзья считают чаек
Над холодной Невой.
И по Родине скучая,
Не торопятся домой...

Аллюзионное

Моя Итака, мой родимый край,
Стремлюсь к тебе сквозь море ковылей,
Безумная бродяжничья игра –
Холодная, как неподъёмный страх.
Страх умереть не на своей земле.

Огонь в глазах моих давно остыл,
Туника не проходит по дресс-коду...
Судьба моя – горящие мосты,
И если не циклоп, то блокпосты,
И окончанья не видать походу.

Кто не скачет

Ещё вчера кричавшие: «Осанна!»,
Сегодня перекрасились нежданно,
Благоразумия уже не сохранить,
Когда в загуле и в угаре пьяном
Злой дух толпы, витая над майданом,
Рождает крик, взывающий: «Распни!»

И хмурый день становится кровавым.
Народ кричит и требует расправы
(Найдут виновных, ведь никто не свят)...
Зигуя небу жестом ультраправым,
Толпа, как зверь рычит: «Отдай Варавву!»
И скачет... Кто не скачет – тот распят!

* * *

Вся жизнь, как один лейтмотив –
Сражение, брань со страстями.
Но, мир для себя упростив,
Мы ляжку боренья не тянем.
Творцами себя окрестив,
Окольными бродим путями
Во власти пустых перспектив.

Нам шепчет порой суета:
«Во власти прекрасного слога
Душа безупречно чиста».
Но так ли беспечна дорога,
Когда она мимо Христа?
Вся жизнь – это поиски Бога,
А всё остальное – тщета.

* * *

Дышит край мой ковыльным привольем,
Пахнет воздух полынью седой.
Этот край был веками намолен,
И вчерашнее Дикое Поле
Нынче стало нам Русью Святой.

Пробиваясь огнём и секирой,
Нас дороги и судьбы свели.
Мы полпреды славянского мира
Из Донца мелового потира
Причащаемся тела земли.

* * *

Дитя во мрак сорвавшихся годов,
Груздём назвался – значит будь готов
К нападкам голосащей песьей стаи...
В деревья, на которых нет плодов,
Ни палки, ни булыги не метают.

Спокойствия ты не считай по дням,
Пусть будет путь не лёгок и не прям,
Не бойся и спеши смелей за светом
По лезвиям, по стёклам, по углям,
Назло любим знаменьям и приметам!

* * *

А сверху город, словно сказка –
Ряды недремлющих домов,
Где осень растеряла краски.
Сентябрь ещё предельно ласков,
Но путь его уже тернов.

Без птичьей суеты – жизнь тише,
А ветер густ, как будто дым...
И мы опять сидим на крыше,
Надеясь, что Господь услышит,
Мы с Ним стихами говорим.

* * *

Пожар вселенской паники,
Агония огня.
Мы страшных слухов данники,
Прислуга злобы дня.

И в ночь под новолуние
Теряем правды нить,
Чтоб поощрять безумие
И страхом страх кормить.

Будем друг друга любить

*будем друг друга любить,
завтра нас расстреляют*

Илья Кормильцев

Действительность наша горька
Под знаменем скудного века,
Где быт, как безногий калека,
Обрушившийся истукан,
Где время – обуза, не лекарь.

Тончает сознания нить,
Судьба, как позёмка вихляет
Под песни собачьего лая...
Но нужно друг друга любить,
Пока нас всех не...

* * *

Памяти Андрея Ширяева

Изгиб гитары лопнул, и ты, раскинув руки,
Подрезанный осколком, под яблоней упал.
И пошатнулось небо, разрывов стихли звуки,
Поехали деревья, и утонул вокзал.
Поэты – не поэты, войне нельзя без жертвы,
И в небо, словно птица, отправилась душа...

Опять казённый вздрогнет, огонь исторгнет жерло,
Кто в бойне уцелеет – увы, не нам решать.

* * *

Моим родителям

Здесь запах тополей родней,
И ярче звёзды.
Я на исходе светодней,
Ловлю течение теней
Под грохот грозный.

За перелесок нет пути,
Ни вдоль, ни между,
И здесь покоя ни найти,
И лишь пока Дзержинск затих,
Дышу надеждой.

Обрыдло всё давным-давно...
Безмолвность улиц,
Не объяснить глубоким сном,
Ночами страх стучит в окно,
Но чаще пули...

Не говори со мною о войне

Зачем ты бредишь печаль во мне,
Зачем тревожишь раненые чувства?
Не нужно черпать боль в моём огне,
Не говори со мною о войне!
Поговорим о кризисе искусства!

Давай болтать о ветре и траве,
О вечности поспорь со мной! Попробуй

Поговорить о Питере, Москве,
И пусть беседы льётся тихий свет...

Ну, а война и так во мне до гроба...

* * *

И снова бой с дремучей тьмой,
Где даже свет рождает тени,
Где время пыльной пеленой
Становится худой молвой,
Рождая страхи и сомненья.

Но прорастёт сквозь мглу ответ
Под шум дождя и крики чаек.
Волна, зализывая след,
Тебе прошепчет: «Счастья нет
Там, где его не замечают».

* * *

Месяц опускает луч
на дома епитрахилью,
Ночь сегодня принимает
исповедь от сентября.
Осень, словно мотылёк,
расправляет чудо-крылья,
И над нею звёзды робко
и заплаканно горят.

Неужели ты согласишься
в то, что лето канет в Лету?
Сохранить тепло – не просто.
Но кому-то по плечу...
И летит сквозь время наша
неуёмная планета.
Ночь прочтёт канон последний
и зажжёт зари свечу.

Геннадий ЁМКИН

Родился в 1961 году в Сарове Горьковской области. Окончил Лукояновское физкультурное педагогическое училище и Арзамасский педагогический институт. Воевал в Афганистане. Преподавал в школе, работал инструктором по спорту, лаборантом, техником, инженером, кочегаром, дворником, таксистом, плиточником. Был частным предпринимателем.

Автор поэтических сборников, публикаций во многих изданиях России, а также Казахстана, Болгарии, Беларуси, Германии. Лауреат премий журнала «Русское эхо», Нижегородской писательской организации за лучшую поэтическую книгу 2014 года. Член Союза писателей России. Живёт в Сарове.

РОЖДЕНИЕ ТИШИНЫ

Пасха

Ах, как колокольни пели-плакали,
И качался колокол небес,
Оттого что под святыми знаками
Мне сказали: Боженька воскрес!

Я, одетый к празднику «прилично»,
Как бабуся любит говорить,
Красное красивое яичко
Отправляюсь Боженьке дарить.

Он возьмёт красивое яичко,
Улыбнётся, малого обняв,
И, как мама делает обычно,
Поцелует в маковку меня.

Я приду домой и милой маме
Расскажу: яичко я отдал!
А меня тот Боженька во храме
Словно ты, скажу, поцеловал!

Я запомнил: всё тогдалучилось!
Звонко птица пела: «Динь-дилень!»
Чтобы дальше в жизни ни случилось,
Буду помнить синий-синий день,

То, как колокольни пели-плакали
И качали колокол небес!
Оттого, что под святыми знаками,
Боженька воистину воскрес!

Тётъ-Агаша

Светлане Супруновой

Тётъ-Агаша была глуховата.
Не наследное стало виной.
Тётъ-Агашу, сестру медсанбата,
Так ушибло Второй мировой!

Только в чём и осталось живое?
Подчистую списали – не тронь!
Вот и ходит, трясёт головою,
Да корабликом – к уху ладонь.

Деток не было. Та же кручина:
Холод, слякоть, окопная грязь.
И ушёл Тётъ-Агашин мужчина
От её постоянного: – Ась?

Вот и думай-гадай: не война бы,
Может быть, по-другому жила...
Тётъ-Агаша – не «абы да кабы» –
Двоюрóдною бабкой была.

По субботам я ей растопляю
Печку-прачку, хотя и малец.
Из колонки воды натаскаю
За ватрушки и за леденец.

И пекла она – необычайно!
А ещё – угощала халвой!
Сядет. Смо-отрит...
Но, как-то печально...
– Кушай досыта! Кушай, милóй!

.....

Девять дней над могилкой мело...
На поминки родня собралась.
Мне слышалось, что ли?
– Милóй!..
И её виноватое: – Ась?

Огляжусь – и с надеждой считаю,
Палец к пальцу сжимая в кулак:
– Я! Дядь-Саша! Баб-Нюра! Тётъ-Тая...
А последний не гнётся никак.

Гимн весне

Пою весну!
Деревья дружно сбросят
Свой долгий сон – зима уже не в счёт!

Вздыхает всё.
И всходит. И течёт.
И одного – тепла!
Природа просит.
По узловатым веткам, по стволам
Пульсирует, вскипает и сочится!
А небо, голубей любого ситца,
Тускнеть не хочет и по вечерам.

Вздыхает всё.
Росток, что остро-перист,
Уже до полдня вытянулся в лист.
И мошкара царит.
И птичий свист.
И рыбы косяки идут на нерест!
От них вода по берегам кипит!
Большие птицы в небе – всё по кругу.
Зелёный дятел ходит у реки
И резким криком всё зовёт подругу.
Бобры о ветки пробуют резцы.
В кустах шуршанье, гвалт в любом лесочке!

Сидят на ветках грузные скворцы
Все – парами,
Никто – поодиночке!
Ничто! Ничем!

Никак не удержать!
Всё копошится, радуется, блещет!
Земля не просит, требует рожать!
И всё родит!
Кричит!
Поёт!
Трепещет!

Изысканнейшей музыки!..
Пера!..
Мазка вернейшей гениальной кисти!..
Достойна эта дивная пора.
Но более всего
Достойна – жизни!

Одуванчик

...как желтый одуванчик у забора...

Анна Ахматова

Среди всякого прочего «сора»,
Рядовая, как будто трава.
Так и лезет, и лезет упорно
Одуванчик, окрепший едва.

Но, едва он раскроется солнцу,
Не жеманясь,
Совсем не спесив,
Он смеётся, смеётся, смеётся!
И красив.
И безумно красив!

Рождение тишины

Ещё не самый поздний синий час.
Ещё играют краски на закате.
И так одна в одну перетекают,
Что в каждой новой – виден прошлой след
И будущей уже оттенки уловимы.

Сейчас из красок всех заметней алый цвет –
На синем – облака сгорающих пионов!
Но вот уже и он, в багровый обратясь,
Придавлен синевою – густеющей, тяжёлой,
Весь пепельным готов подёрнуться налётом,
Обуглиться насквозь и кануть без следа...

Когда, уже совсем закатно отгорев,
Исчезнут краски все, их отблески и блики,
Настанет тихий час сгущенья синевы,
Сгущенья синевы до высшего предела!
О! В нём чудесно слух способен уловить
Дыханье спящих птиц, смещения тумана,
Лишь этим утвердив, что существует мир.

Не надо объяснять, могучая наука,
Сияние светил, явление тишины.
Пусть душа живёт восторгом и любовью!
Да будет ими мир лелеем и храним!
Не надо утверждать, могучая наука,
Что цифра – суть всего. Пусть душа ведёт!..
Все объяснения – прочь! На всё есть Воля Божья!
И тайное во всём, что Им сотворено.

Смотри, смотри! – Вон там,
Колючая, большая,
Уже вошла звезда
И, дивная,
Дрожит...

Проза

Олег РЯБОВ

Поэт и прозаик. Родился в 1948 году в Горьком. Окончил Горьковский политехнический институт имени А.А. Жданова. Работал в Научно-исследовательском радиофизическом институте (занимался проблемами поиска внеземных цивилизаций), облкниготорге, издательстве «Нижполиграф».

Главный редактор журнала «Нижний Новгород», редактор-издатель альманаха «Земляки», директор издательства «Книги». Член Российского Союза антикваров, Национального Союза библиофилов.

Автор многих книг стихов и прозы и многочисленных журнальных публикаций. Участник антологий «Русская поэзия. XXI век», «Молитвы русских поэтов. XX–XXI», «Антология военной поэзии» Лауреат ряда литературных премий: «Нижний Новгород» в области литературы (трижды), имени Шукшина «Светлые души» (Вологда), Б. Корнилова (Нижний Новгород); финалист премии «Ясная Поляна» (2013) за книгу «Четыре с лишним года. Военный дневник», шорт-листер премии «Золотой Дельвиг» (2013) за роман «Когиз», премии имени И. Бунина (2012) за сборник стихов «Утки не возвратились». Награжден медалью Пушкина.

Член Союза писателей России. Живёт в Нижнем Новгороде.

АРИСТОКРАТКА

Вначале всё как-то далеко это было и информационно-завлекательно: то какой-то английский министр Джонсон заболел, то рок-певец Макаревич. А так как далек я и от рок-музыки, и от высокой политики, то и к ковиду этому, когда все о нём заговорили, отнёсся не больно-то серьёзно, а как к гриппу обычному, а точнее, наоборот – как к необычному, в смысле разновидности новой. Одно время мне даже казалось, что это вообще страшилка чья-то, только непонятно чья. Чтобы такие конспирологические вещи понимать, надо в политике разбираться, только не серьёзно, не по-взрослому, а так, чтобы на эту тему потрепаться можно было.

А тут вдруг всё сразу и внезапно приблизилось. Сначала все родственники переболели, в смысле дети с зятями, невестками и внуками. Потом на работе моей бывшей, в поликлинике частной, откуда меня год назад на полноправную пенсию проводили, а потом в качестве консультанта назад приняли, половина коллектива улеглась в инфекционные баракы. И каждый день стали умирать люди со знакомыми фамилиями, по радио стали докладывать: и политики, и артисты. А у нас в городе даже порядочные и добрые люди стали умирать, знакомые мои.

Вот друг мой хороший Арнольд Сергеевич, бывший глава администрации одного из наших сельских районов, чуть не отправился к праотцам. Он, пока районом своим рулил, такую усадьбу себе в родной деревне отгрохал (я у него был) – с беседками, да с гостевыми домиками, да с прудом персональным, по которому на лодочках легоньких кататься можно, а можно и искупаться, попарившись в баньке, стоящей здесь же, на берегу пруда. Можно и карпов с белыми амурами в этом же пруду половить – кормит их ежедневно специальный человек, которому Арнольд Сергеевич приплачивает. Он ещё много кому приплачивается – любит он это, зато и ему откату нет.

Это же отдельную картину писать нужно, чтобы рассказать, как у него засажена усадьба: к примеру – только на трёх липовых аллеях у него высажено чуть больше двухсот лип. А аллея, ведущая к пруду, засажена у него каштанами – сто деревьев. Они молодые ещё, пятнадцать лет, а уже всюду цветут в мае, и ягодки эти, шарики колючие образуются на них к осени; только что-то несъедобные они у него. А потому и каштан этот конским называется.

Так вот, он в июле пошел по этой своей каштановой аллее к пруду поутру искупаться. Босиком он шел и, наверное, песенку мурлыкал какую-нибудь да и наступил на черную гадюку, самую настоящую. Та его и тяпнула. Это в советское время порядок был: гадюки водились только за Волгой, в заречной части, а тут у нас, «на горах», таких тварей не ведали. Теперь всё перепуталось. Я недавно узнал, что этим летом в Арзамасском районе было несколько случаев с укусами гадюк: смертельных, правда, не случилось.

Ему бы, моему другу, в свою районную больницу обратиться сначала, так нет – он стал в область звонить губернатору да вице-губернатору, чтобы за ним вертолёт прислали. Насчёт вертолёта ему всё объяснили популярно на пальцах: мол, гадюка – это не вертолётный случай. И вот – трясли его на машине скорой помощи до областной больницы три часа, когда врачи хорошие у него свои в районе были, и сыворотка противоядия гадючьего была, и опыт спасения от таких укусов тоже был. Случай оказался у него почти что смертельный – восемнадцать дней Арнольда Сергеевича выхаживали после этого укуса. Беда случилась уже после того, как его вылечили.

Ковид бушует, половина больниц под карантин, а в крупных клиниках отдельные стационары под зоны «красные» отведены, куда вход только в специальном обмундировании, в костюмах пылевлагонепроницаемых, и только подготовленному персоналу. А наш Арнольд Сергеевич пошел искать главврача перед выпиской, чтобы поблагодарить того. И как уж он забрёл в эту «красную» зону – непонятно, только заразился он ковидом и домой заразу принес, а ещё и жену с детьми уложил. Хотя тут я не точен: в больницу, теперь уже в другую, инфекционную, еще на три недели отправился только он сам, а жена с дочками дома самостоятельно с вирусом справлялись. А вот у него поражение легких очень сильное осталось, и ходит он с трудом до сих пор.

В общем, всё ближе и ближе напасть эта, ковид в смысле, друзья всё чаще и чаще начали болеть, и разговоры про кладбище всё чаще слышу. По телефону я стал заметно реже звонить и друзьям, и просто знакомым – если только по делам неотложным. А если так, поболтать, то – нет: а вдруг там беда, а ты с анекдотиками своими новыми да глупыми.

Тут как-то сестра моя родная, Ольга позвонила. Мы с ней не в очень близких отношениях. Вроде с детства вместе, она мне ещё маленько-

му за няньку была, и теплые, даже полные любви и симпатий чувства до сих пор друг к другу питаем, а общаемся редко. А тут звонит: мол, зайду, покормлю тебя стерлядочкой, в колечко запеченной, гостинец рыбный из деревни прислали, я и приготовила. Хотя я иногда сама дома люблю готовить, но от такого угощения грех отказываться. А ещё посоветоваться, говорит, надо и расспросить тебя кое о чём, и просто поболтать.

Вот я как-то корни свои подрастерял, а она – нет: помнит, где её деревня, или правильнее говорить село, и её там все знают и привечают. Хотя, почему «её деревня»? – «наша» правильнее. Родовое гнездо, корни наши оттуда. Мы-то с ней уже в городе родились, сразу после войны, просто Ольга на три года старше меня, а батька наш и матушка – деревенские. Только всем бы такими деревенскими быть – просто родились они на селе, а так-то в городе всю жизнь прожили, медиками были, с учеными званиями, как и все у нас в семье. И дед мой по отцовской линии земским врачом был знаменитым – в Швейцарии и в Германии учился ещё до революции. А что за границей не учиться, если прадеды мои все купцами гильдийными были, зерном да железом торговали и денег детям на учёбу не жалели. И сами они людьми общественно важными и уважаемыми были: прадед мой, может, городским головой-то и не был, но больницу крупнейшую по тем временам губернскому городу подарил и родовспомогательное учреждение первое в городе построил. Да не просто роддом какой-то это был, а со специальным приемником для подброшенных детей. Вот согрешит какая-то девчушка, что в прислугах трудится, с хозяином своим, приплод в простынку завернёт, ночью к учреждению родовспомогательному подойдёт, в ящик специальный дитё свое положит, в колокольчик позвонит и – бежать.

Село наше солидное, одно время оно даже райцентром было. Надо бы заехать, да всё не по пути, и конец неблизкий. А приедешь туда – ну никого не знаю, ни души, даже обидно. Когда маленьким я был, батюшка мой меня в то село возил, не помню зачем, на рыбалку, может, а может, просто чтобы я с детства помнил своё родовое место. А зачем оно мне – не пригодилось! Так его, батюшку моего, там чуть не с поклонами встречали, уважительно: кто баклажку меда ему по заказу приготовил, кто рыбкой свежей приветит. А шепотом-то в сторону, я слышал, кто-то проговорился: «Так это же Матушкин наш, того самого Матушкина нашего внук». Пятьдесят лет советской власти прошло уже, а народ через внуков и правнуков доброе имя помнит. Даже смешно: чуть ли не пальцами показывают, ещё немного, и будут кричать: «Барин приехал!»

Дом наш фамильный батька мне показывал, его там, на селе, так и зовут: «матушкин дом». Стоит он посередине села, на центральной площади, в нём и магазин, и кафе, и библиотека, и милиция, и райсовет одно время там располагался – в общем, очень солидное здание, которое не стыдно даже у нас в городе на набережной поставить. С разрешения начальства какого-то местного мы с батькой нашим внутрь заходили полюбопытствовать: половицы из шестидесятки в полметра шириной, на потолках лепнина да росписи сохранились, лестница на второй этаж с перилами из чугунного ажурного литья, печки изразцами цветными выложены, и все печки разными. Прадед мой большой хитрован, видимо, был: сразу после революции он понял, откуда ветер теперь будет дуть, и в восемнадцатом году подарил он весь этот свой

дом советской власти под общественные нужды и благодарственное письмо как охранную грамоту от неё, от этой власти получил. Сам же он перебрался жить к какой-то своей дальней родственнице, старушке уже, которая до того у него в доме постоянно как приживалка отиралась и по хозяйству, что могла, помогала. И так скрытно и незаметно перебрался он к ней, что никто вроде как этого и не заметил, и ничего он с собой вроде как и не забрал.

У этой старушки вдовой была своя избушка покосившаяся: над оврагом, в котором ручей безымянный журчал посреди села, стояла она в переулке-тупичке. Детям и внукам своим заказал прадед строго-на-строго не общаться с ним никогда, ни по какому поводу, от греха по-дальше, наотрез запретил. Только не верю я в это – помогал он им. Так и прожил до восьмидесяти пяти годов наш прадед, нос на улицу не высывая, пока в сорок третьем году не свалилась избушка та в овраг и не придавила и его, и старушку-приживалку. Только слышал я от одного пациента нашего, земляка, который лечиться к нам приезжал, что, по местным легендам, старушку похоронили, а моего прадеда под обломками домика того упавшего не нашли. А потому и могилы его нет на сельском старом кладбище местном.

А ещё тётка Анастасия, сестра батюшки моего, рассказывала, что в том «матушкином доме» под одной из дубовых половиц на крюке в подполе подвешены были в мешке два пуда фамильного столового серебра: вилки, ложки, икорницы, солонки, подстаканники, вазы, подсвечники, сервизы чайные, и даже про самовар серебряный заикалась. Но это когда я уже увидел наш фамильный дом и узнал всё, что надо, про него. Вот сколько лет прошло с тех пор, а как перед глазами у меня этот «матушкин дом» стоит.

Сколько таких домов, а даже и дворцов по России в сёлах да в деревнях до сих пор пустуют полуразоренные, и ведь некоторые при желании восстановить можно. В мирное время, а это при царе значит, нормальные состоятельные люди, кому о доходах своих ежедневно заботиться не приходилось, у себя в провинции жили, в город только по делам и на зимние балы приезжали. А потому и в памяти людской сохраняются на века Ясная Поляна и Тарханы, Абрамцево и Большое Болдино, Карабиха и Остафьево, Мураново и Таруса. Чичиков дела свои обделывал, купчие с состоятельными людьми заключал в деревнях и сёлах. В городах жила в основном услуга: извозчики и трактирщики, актеры и чиновники, а ещё студенты и рабочий люд.

Так вот, сестра Ольга предварительно позвонила:

– Что, братишка, – ставь чайник, сейчас приду.

Она как-то сумела сохранить семейно-фамильные предания и ценности. Даже вовремя по дешевке домик с участком небольшим умудрилась купить себе в Карповке на берегу пруда. Карповка – это деревня в наших краях, в которой жили какие-то дальние наши родственники и где ещё помнили моих дедов-прадедов; приезжали они в детстве изредка к отцу моему с подарками деревенскими, а папа улаживал какие-то их проблемы, устраивал кого-то куда-то: то ли на работу, то ли в больницу.

Ольга на три года старше меня, а выглядит куда как лучше: лет пятьдесят, больше не дашь, серьёзная вся такая да стройная и всегда без макияжа этого старушечьего. Она как стала с рождения нянькой моей, так и на всю жизнь это. Пока семьёй жил, с любезной супругою моей Анной и с детьми, Ольга отступилась куда-то немножко, только издали присматривала. А как овдовел я, а дети уже обженились да разлетелись,

то Ольга снова присматривать за мной стала, но это уже в последнее время.

Родились мы с ней и детство провели в дедовом доме, двухэтажном, деревянном, который он ещё до революции построил в переулке Могилевича; наверное, батька его ему помогал, прадед, значит, наш, купец тот гильдийный. Дом был видный, с излишествами: с резьбой, с верандами, балконами, мезонином и с чуланами, за забором. А в палисадничке нашем маленьком и беседка была, и скамеечки. В том доме когда-то дед и приём своих больных вёл: весь первый этаж у него под это дело лечебное был оборудован; в тридцатые годы крупные врачи занимались частной практикой. Это уже после войны уплотнять стали, беженцев из Ленинграда и из Белоруссии подселять. Второй этаж со всеми подсобками, чуланами, верандой и чердаком был нам оставлен на всю большую семью, а точнее – на три семьи, а на первом были построены ещё две квартиры – так был перестроен огромный дедов дом.

Когда частный сектор в центре города выламывать начали под серьёзную государственную застройку, всем жильцам отдельные хорошие квартиры предложили в центре. Только вот моя семья вся разлетелась и развалилась уже, а у Ольги вообще всё по-другому получилось.

Была у нас ещё одна сестра, младшенькая, Настенька, инвалид детства. Ольга с ней вдвоём жила, за ней всё ухаживала-ухаживала, пока Настенька не покинула нас навсегда, а замуж-то Ольга так и позабыла выйти, не успела, а после уже и не захотела.

Если честно, то пенсии у нас в стране теперь нет. Нельзя называть пенсией те гроши, на которые честно прожить невозможно, скорее это какое-то небольшое пособие, непонятно за что выплачиваемое. Многие старики так на неё, на пенсию, рассчитывают, а оказывается, что прожить-то на неё никак и нельзя. Получается теперь, что многим думать приходится: то ли коммуналку оплатить, то ли носки купить, то ли пирожок скушать. Вроде если ужаться, то хватит и на коммуналку, и на носки, и на пирожок, только уж очень противно думать об этом каждый раз, потому что это – всё! И на море летом покупаться не съездишь, это точно! Про работающих пенсионеров вообще позабыли; там, наверху, считают, что раз работают, то и пенсии им незачем прибавлять. Работаем мы, старики, в большинстве своем потому, что не можем жить без работы. Но есть и такие, кто просто кушать хочет. Да и на лекарства обычной пенсии не хватает, и надо помнить про то.

Конечно, есть у меня друзья, кому дети ежегодно покупают тур во Францию, чтобы пожили они месячишко на Лазурном берегу Средиземного моря, воздухом морским подышали. А другим моим друзьям, тоже семейной паре, дети купили квартиру в Паланге и оплачивают им как бы пансион, и не думают те ни о чем печальном – гуляют среди сосен. Но ведь не у всех есть такие дети: банкиры да миллионеры.

Зато сильна русская община незаметной памятью и заботой: если вёл ты себя по жизни правильно, поддержат тебя хотя бы морально, не забудет тебя так называемое общество и самые простые люди. Что касается меня, то мне уже скоро семьдесят, и веду я консультации платные в частной клинике, а Ольга уколы да массажи делает на дому таким же, как она, старушкам. Она тоже при нашей клинике числится. Так что – живем!

Просто сейчас карантин ковидный, вот и сидим пока что, как сычи в своих дуплах.

Ольге очень нравится хозяйничать в моем доме, а я молчу и не перечу. Быстренько она шваброй, то есть палкой-лентяйкой, полы подтёрла,

стерлядку в холодильник положила, ревизию там провела, в пакет с мусором что-то повыбрасывала, а через пятнадцать минут на столе и чайник, и чашки с ложками, и в розеточках фарфоровых медок цветочный, только что накачанный (с собой принесла), и печенье.

– Садись, братишка, – говорит, – спрашивать тебя буду.

Сидим за столом, улыбаемся друг другу, чаёк прихлёбываем.

– Я чего приперлась, – говорит. – Была я на днях у Романовых, у Валюшки и Володи, ты знаешь их?

– Что значит «знаешь»? Это мои друзья, я учился с ними. Вот откуда ты их знаешь – непонятно. На днях я разговаривал с Володей, он переболел ковидом тяжело очень и спрашивал у меня совета по поводу своих легких – проблемы у него, поражение очень сильное, просил разыскать для него пульмонолога хорошего.

– Я знаю всё. Говорил он мне. Для него ведь «хороший» – значит или в Израиле, или в Швейцарии.

– Ну, во-первых, легочники у нас у самих в стране очень хорошие есть, школа есть; сумели же на государственном уровне мы когда-то с чахоточкой справиться, и незачем в Швейцарию лететь. Во-вторых, из-за этого карантина или локдауна никуда сейчас не полетишь, никуда тебя не выпустят и не впустят. Ирония какая-то есть скрытая в этой болезни, чахотку я имею в виду, – в девятнадцатом веке её называли «аристократической» болезнью, барышни себе туберкулёзный румянец на щёчках наводили. А в двадцатом веке всё перевернулось: она стала считаться болезнью рабочих окраин, безработицы и нищеты. Опять же в советское время мы с ней справились, а сейчас расцветает она вновь пышным цветом, значит – страна в нищете.

– Ещё – в тюрьмах! Ты не забывай, что в тюрьмах туберкулёз процветает.

– Это – тоже нищета!

– Интересно как получается, про «аристократическую болезнь», – а я ведь к тебе пришла по поводу аристократизма поговорить.

– В смысле?

– В полном смысле. Так вот, я про Романовых. Ты ведь был у них? Тебе понравилась у них квартира?

– Квартира как квартира: ему по статусу уже такая положена, двухъярусная, со студией.

– А тебе такая не положена?

– Нет! Он же доктор наук, и профессор, и академик какой-то там академии, и сам ректором какой-то президентской хозяйственной академии был. Он ведь и в советское время чем-то серьёзным партийным руководил.

– Про академию его ты бы помолчал лучше! Развелось их. И теннисная академия, и академия картежного мастерства – деньги заплати, и примут тебя в любую такую. Академия РАН одна, она сама платит деньги настоящим ученым. А ученые степени и у нас с тобой есть, мы же с тобой всё же тоже кандидаты медицинских наук. А доктор ты или кандидат наук, за рубежом совершенно без разницы – там ученая степень одна. Только к чему я это... Сидим мы с Валюшкой на кухне у них, Володя видео какое-то налаживает, чтобы показать что-то там свое, похвастаться. Она и спрашивает: «Скажи, Ольга, а ваш папа действительно аристократом был? Мне Володя говорил. Ваш папа его в своё время к себе на кафедру работать звал. Ваш папа когда-то ведь заведующим кафедрой был в мединституте?»

– Ну, а ты чего? Действительно, он заведовал кафедрой, и что тут такого особенного?

– Да ничего. Я про аристократизм.

– Что про аристократизм?

– А был наш папа, действительно, аристократом? Вот тут с полгода назад, ещё до пандемии этой, Савицкая, ты знаешь её, пристала просто ко мне: давай, говорит, вступи к нам в Дворянское собрание. Это у них вроде клуба такого, а она председатель этого собрания. А я отвечала ей, что я вовсе не дворянка.

– Ну конечно – нет! У нас же в роду не было потомственных дворян. А с личным дворянством интересную вещь я недавно узнал: вот у нас с тобой прадед был из довольно серьёзного купечества, и не только Анну, но и орден Владимира, а это – очень высоко, получил за какую-то там благотворительность, а вместе с ним и личное дворянство. Правда, это – только личное дворянство, и по наследству оно не передается, но все прямые наследники такого дворянина становились почетными гражданами Российской империи. То есть вот я – почетный гражданин Российской империи. И ещё что я узнал, самое интересное: что вот ты за счет того, что замужем никогда не была и фамилию дедову сохранила, Матушкина, ты тоже – почетная гражданка Российской империи!

– Я поняла. Только я о другом. Вот что такое аристократизм? Лазила я в интернете, лазила, а так и не разобралась. Потому, наверное, Валюшка-то у меня и спросила. Про тебя я точно знаю, что ты аристократ. С детства помню, что ты, заходя в любой магазин, шапку или кепку снимал, а тебя ведь этому не учили. И, когда пять лет тебе было, ты уже шапку снимал и со всеми здоровался, хотя и не знал никого там. Будто в деревне! Это в деревне на улице с незнакомыми здороваются!

– Ну, так я просто здоровья всем желал. А значит это, что в деревне правильные русские люди живут.

– А сейчас что же – ты поумнел и здоровья уже всем не желаешь? И шапку уже не снимаешь?

– Ты знаешь, шапку или шляпу я по-прежнему снимаю. Ну и что?

– А то, что – откуда это у тебя?

Удачно Ольга зашла: и время было, чтобы поболтать, и чувство неловкости перед сестрой снялось, а то неудобно всё как-то было – редко видимся. Пригляделся я к ней вдруг – действительно сестра моя на аристократку тянет: лицо строгое, правильное, глаза умные, сама сухонькая и бодрая, даже резкая, я бы сказал. И правильно как-то всё это: брат и сестра сидят за столом, пьют чай и болтают чепуху разную.

Вспомнилось почему-то, что папа наш по-разному встречал гостей и пил с ними чай или водку тоже по-разному.

Одно, довольно непродолжительное, время папа выполнял функции председателя профкома института. Кто-то ему подсказал или даже попросил, что так надо поработать. И совсем даже не для того, чтобы получить квартиру. А он уже стоял на очереди, и какая-то комиссия соответствующая осматривала наш деревянный дом дореволюционной постройки и решила, что папе как профессору надо улучшить жилищные условия. Папа даже ходил смотреть предполагаемую двухкомнатную квартиру на площади Горького. Только всё потом очень быстро поменялось: ту квартиру отдали какому-то технику из лаборатории гистологии по фамилии Берштейн, сделано это было не просто с ведома, а по инициативе папы. Сам он так и остался без квартиры. А Берштейн этот потом уже вместе со всей семьёй в Америку уехал.

Техник Берштейн вместе с женой и тремя детьми жил в каком-то по весне затапливаемом подвале на Ковалихе, папа с жилищной комиссией бывал у них дома и все удобства их проживания видел. Я помню, как этот маленький кудрявенький Лева Берштейн вместе со своей маленькой черненькой женой Сарой приходили к нам благодарить папу. Они пришли с тортом, большим домашним тортом, а папа принимал их на кухне и пил с ними там чай. Только я тогда не понимал – почему такого же техника Воряпаева, который вместе с папой какую-то государственную премию получил за новые научные исследования, он принимал у себя в кабинете и пил с ними чай и водку за большим столом! Это через много-много лет я выяснил, вычитав в какой-то краеведческой брошюрке, что фамилия Воряпаевых очень даже знаменитая и наши купцы Воряпаевы гремели когда-то на всю Россию. И папин техник Воряпаев – один из тех самых Воряпаевых, из той семьи.

Какие-то легкие, с налётом взаимопонимания и иронии, возникали у папы отношения с самыми разными замечательными людьми: с академиком Разуваевым, с народным артистом Самойловым, адмиралом Сорокиным. Это сейчас, через много лет, я понимаю, что было что-то такое, что связывало общей памятью, общими заботами и общими делами не только их самих, но и их отцов и дедов. Не только они, но и их отцы и деды играли значительную роль в жизни общества.

– Так, ты мне скажи, – снова прямо-таки пристала ко мне сестра, – существует какое-то чёткое определение понятия аристократизма или все это условно и относительно, как и понятие культурности? Вот с дворянством ты мне объяснил.

– С дворянством легко, потому что там всё законодательно установлено и понятие это государственное. А с аристократизмом... Слышал я от кого-то, что аристократом становится тот, кто в третьем поколении имеет университетское или просто высшее образование. Но только это глупость. По-моему, аристократизм – это не образование, и не богатство, и не общественное положение, но суммарная и переданная по наследству возможность влиять на значительные решения: не обязательно государственные – пусть даже местные. К мнению таких людей всегда прислушиваются.

– То есть области деятельности аристократа – наука, культура и политика?

– Ну нет: и экономика, и спорт. И нет в этом плане никаких ограничений.

– Как – и спорт тоже?

– Конечно! Во-первых, спорт изначально был занятием для знати. И лишь когда он стал профессиональным, и там зашевелились серьёзные деньги, через него появилась у низшего социального слоя возможность вырваться из нищеты. А у нас в стране в тридцатые годы, когда после революции для детей многих «бывших» дорога в политику, в науку, да и к высшему образованию была закрыта, то они проявили себя как раз в спорте. Любовь Орлова и Константин Симонов нашли себя в искусстве, – отец Симонова царский генерал, а Орлова – вообще: по крови она наследует одному из братьев Орловых, тех, что были фаворитами Екатерины Второй. Так же и в спорте предвоенном мы найдем такие же замечательные имена, точнее фамилии. Поинтересуйся корнями наших чемпионов, первых, советских, довоенных – ой не простые они люди, и их папы с мамами были совсем не от сохи.

– А вот как же армия?

– Ну конечно! Офицерство, безусловно. В армии наследственность посерьёзнее, чем в медицине даже. А вот Лев Николаевич Толстой определил свое состояние так, что он аристократ лишь потому, что ни он, ни отец его, ни дед не знали нужды. Наверное, лучше всего иллюстрирует тот аристократизм, о котором ты спрашиваешь, английский анекдот, в котором американский миллионер, проезжая по Англии, заметил очень красивый и зелёный травяной газон и пожелал занять такой же у себя дома, в Америке. На это он получил простой совет: посеять траву, и поливайте её каждый день, и постригайте её раз в неделю, и через триста лет у вас будет такой же газон. То есть тут фигурируют все три составляющие аристократизма: сытое беззаботное детство, привычка работать, в смысле самосовершенствоваться с юных лет, и так несколько поколений.

– А что ты имеешь в виду под привычкой работать? Это что – все лорды, графья и князья с детства вкалывали, что ли?

– Ну а как же! Вот тебя, например, с пяти лет заставляли из-под палки заниматься музыкой, играть на пианино, ходить в художественную школу, учить английский язык, играть в теннис – или ты это за работу не считаешь? А я считаю, что это и есть работа – получать новые полезные знания и навыки. Ты до сих пор играешь?

– Да, с Верой Ивановной и её дочками два раза в неделю мы встречались на корте, пока карантина ковидного этого не было. Ну, уже не играю, а так, по мячику стучу. Вот сейчас все прививки сделаем и снова будем играть.

– Ну вот! А если про двести лет назад – то тогда девочек-смолянок с малолетства учили рукодельничать, танцевать, играть на музыкальных инструментах, иностранным языкам, а мальчиков из дворянских семей и верховой езде, и фехтованию. И еще – аристократ живет в беззаботной уверенности, что его дети аристократы. Он уверен в этом потому, что его род знатен уже как минимум в третьем поколении.

– А средний класс тогда что?

– Средний класс? К среднему классу относятся все те, кто мечтает, чтобы их дети жили лучше, чем они сами. Нет, не лучше, а легче. Даже мультимиллионеры, но нувориши, сколотившие свои состояния своим и чужим потом и кровью, это средний класс, потому что они не хотят, чтобы их дети повторили их и трудный, и сомнительный путь, а прожили более легкую жизнь. Даже олигархи, которые себе власть за деньги купили, хотят, чтобы их дети жили лучше. Только зачем тебе всё это? Чего это тебя так всё разволновало?

– Да я вот, братишка, о папе всё думаю. То, что Валюшка Романова про него спрашивала, а мы, значит, чего-то не знаем или не помним про него.

– Я тебя, Оленька, научу. Надо просто сходить сначала в храм, а потом на могилку к папе, и всё пройдет.

Сестра встала из-за стола – была лёгкость какая-то в ней и уверенность, глаза серые светлые, она поцеловала меня, точнее чмокнула. Ушла, улыбнувшись. Легко было на сердце.

Аристократка – подумал я про неё.

Виталий ЛОЗОВИЧ

Родился в 1957 году в Воркуте. Учился на филологическом факультете Сыктывкарского университета. Более тридцати лет проработал в системе Воркутинского телевидения кино- и телеоператором. В 2005–2006 годах работал в ГТРК «Ямал» в Салехарде. Облетел Арктику от Карских Ворот на острове Вайгач до мыса Челюскин на Таймыре.

Печатался в журналах «Север», «Дальний Восток», «Аврора», «Урал» и других. Опубликовал два романа и три сборника повестей.

Лауреат всероссийского литературного конкурса им. Василия Белова, премии журнала «Дальний Восток», обладатель специального диплома Национальной литературной премии «Золотое перо Руси».

Живет в Салехарде.

ЗА ДУХОВ НЕБА И ТУНДРЫ!

В феврале месяце в середине десятых годов нашего века под Воркутой случилась беда. В полусотне километров южнее города бригада оленеводов перегоняла стадо оленей через железнодорожный путь. Стадо большое – сотни голов. Выходили животные на насыпь не спеша, озирались по сторонам, хоркали носами да приноживались к земле, выискивая корм. Олени, в отличие от тех же коров, идут сами, подгонять их невозможно. Кнутом здесь не пощёлкаешь. С юга в это время на полном ходу шёл товарный порожняк – шестьдесят вагонов под уголь на обогатительную фабрику Воркуты. Утро было мгlistым, светало медленно, видимость метров пятьсот...

Когда машинист тепловоза заметил на путях стадо оленей, вначале даже не понял, что происходит, потом на пару секунд понадеялся, что оленеводы отгонят оленей с путей, потом решил тормозить... Время было потеряно.

Олени переходят дорогу не поодиночке, не волчьей вереницей, а широким ходом, бок о бок, гурьбой.

На свистящих тормозах, на скорости километров в семьдесят, двухсоттонный тепловоз, за которым тянулось более полусотни вагонов, врезался в стадо, словно грузовик в курятник. Первый десяток оленей тут же взвились в воздух и, пролетев метров сорок над тундрой в разные стороны, упали бездыханно в снег, хоркая горлом, дрыгая ногами да истекая кровью. За ними последовала другая партия оленей, что переходила дорогу чуть в стороне и была ещё больше, выстроившись в ряд, словно на убой. Тепловоз прошёлся по ним, словно на пути и не было

никого, словно мягкие игрушки взлетали вверх и там уже разрывались на части, окрашивая снег красными, кровавыми пятнами. Когда состав наконец остановился, в тундре стоял лишь один сплошной хрип умиравших животных. Погибло около сотни оленей, десятая часть стада.

На место происшествия прибыли представители прокуратуры, Следственный комитет, полиция. Ходили по путям, по целине снежной, считали убитых животных, определяли вероятность столкновения, что там ещё... На другой день оленеводы стали собирать остатки оленей, что могли пойти в пищу, но уже к вечеру в тундре пошёл снег, подул ветер, и в кутерьме метели подбирать убитых животных стало невозможно.

А через сутки с Баренцева моря в Воркуту пришла пурга. Настоящая пурга с оттепелью. Снег валил крупный, мягкий и влажный, прилипал ко всему до чего мог добраться. Город жил пару дней в одном белоснежном хаосе. Потом утихло. На пару часов вышло солнце. Было воскресенье. Проснувшиеся воркутинцы увидели довольно привычную картину – город засыпало. Вместо дорог и тротуаров образовались сугробы, в которых уже темнели глубокие проторённые тропинки, а вместо автомобильных парковок во дворах – снежные холмики из частных автомашин.

Савелий Гирский, сорокалетний мигрант с Украины, работал в Воркуте водителем грузового КамАЗа. Возил шахтную породу на отсыпку, где прокладывали трубы газопровода, что тянулся с полуострова Ямал через Байдарацкую губу, а потом через Воркуту, через всю Большеземельскую тундру на юг и там уже далее на запад.

В Воркуте Савелий жил десять лет. Купил квартиру, благо что здесь это было недорого. Поначалу сменил несколько профессий: был шахтёром, экспедитором, штукатуром-маляром, каменщиком... Шахтёром долго не выдержал – хоть и парни там что надо, но темно внизу, под землёй. Тесно в шахтных выработках. Не для него. Экспедитором просто не смог – побоялся, что воровать начнёт. На всякие малярные краски аллергия пошла. Вернулся к шоферской работе. На своей Украине, в Полтаве, водителем тяжёлого грузовика проработал не один год, потому и взяли без особых вопросов.

Через пару лет, как обустроился, Савелий съездил в Полтаву, женился на красавице местной – Наташке, увёз её на «север дальний» в Россию. Наташка вначале ершилась, но потом, взвесив по-женски все за и против, быстро поняла, что будущим детям лучше в пурге да накормленным, чем в украинском раю, да с перебоями, с регулярной неизвестностью – а что там завтра? А тут дочка родилась. Назвали Оксаной. В квартире стало тепло, уютно. Ещё через два года родился сын – Володька. Наташка пыталась его в метрике записать по-украински, как Володимир, но Савелий сразу отрезал все попытки, заявив:

– Вот ещё! Будешь здесь дурью маяться! Чтоб смеялись над пацаном! В России живём.

Жить в Воркуте было непросто. Частных домов и частных дворов здесь не было. Куры не квохтали, как на родной Украине, петухи по утрам не пели, собаки по ночам не брехали на чужих. Так... орут да визжат иногда под окном девки молодые да бранная речь изредка рвётся снизу до его третьего этажа в стоквартирном доме. Зимой темно три месяца – с ноября по февраль – мороз под сорок, метели такие, что соседнего дома не видно в тридцати метрах. В воздухе кислорода не хватает, деревья не растут...

Четырнадцатый год с новостями с Украины Савелий встретил холодно. На работе своим сказал лишь один раз по пьянке и больше не возвращался:

– Дурачье тупое, на дармовую дешёвку подались! Нашли себе героя!.. Бандера! Кому «бандера», тому: чемодан, вокзал, Галиция! Правильно отец говорил – все они там ополеченные да обавстрияченные. Это же надо так людей оболванить!

Сам по себе Савелий был человек прижимистый, накопительный. В сущности, как и любой прижимистый, порядочный да хозяйственный хохол. Возмущался на эту тему мило, словно оправдывался:

– Шо вы хочите? Я – хохол, южнорусский человек с примесью турецкой крови. У меня прадед, как у Шолохова там один у романе... сто лет назад дивку себе приволок из Турции... (имел в виду последнюю войну с Турцией 1877–1878 годов) с этой... как её городину?.. Кабулетти! Слышали такой посёлочек? Теперь Грузия. На кой мы её, Грузию эту, от турок спасали? Людей своих клали, русских, на закланье?.. Дурачье!

Пару лет назад Савелий купил себе старенький снегоход, который то работал, то не работал. Прав на управление снегоходом у него не было, да и ездить ему, в сущности, на нём было некуда. Так... катался на авось в тундре возле города. Всё ждал – что случится первым в этих прогулках: снегоход сдохнет или гаишник нарисуеться? Зачем купил? Сам не знал. Продавали задёшево, вот и купил.

После случая на железной дороге со стадом оленей, потянулись по городу Воркуте слухи, что туш этих зарезанных в тундре сейчас столько валяется бесхозных, что можно весь город накормить.

Бесхозно? Как же так? Разве можно, чтоб бесхозно валялось мясо? Если бесхозно, надо прибрать... к рукам прибрать. По-хозяйски.

И засобирался тут же Савелий в тундру на своём снегоходе. Быстро собиравался. Только пурга стихла, сразу и покатыл. Даже выходной внеочередной выпросил у начальства, пообещав тому кусок оленей вырезки. Утром только пятилетнему сыну Володьке и сказал:

– Папа в магазин... далёкий магазин за мясом... будем сегодня строганину есть.

День выдался так себе. Пурга только-только угомонилаь, намело много снега. Он простирался новыми, белыми языками по тундре от одного скопления кустов тальника до другого. Снегоход Савелия шёл легко. Солнца не наблюдалось. Ветер практически отсутствовал. Небо было хоть и в тучах, но не такое хмурое, как обычно перед непогодой.

На месте трагедии туш, зарезанных тепловозом оленей, практически и не было. Кое-где валялись ломаные рога да оторванные копыта. А так – пусто, снежно и не более. Пурга ещё присыпала. Однако Савелий не сдался и долго тархтел снегоходом вначале с одной стороны железно-дорожных путей, потом с другой.

Мысль о дармовом мясе, Савелия мучила давно. Когда прикупил снегоход, она сама и всплыла наружу. Товарищи по работе иногда расказывали, что всякие бесхозные олени часто бродят недалеко от города... если с ружьцом поехать... понимаешь?

С ружьцом, правда, как-то всё откладывалось, времени не было проходить комиссии да курсы в полиции. А здесь такая удача! Это же просто дар небесный – поезд задавил сотню оленей! Вряд ли все туши оленеводы могли собрать. Пурга два дня шла, присыпало оленей снегом! Надо срочно ехать и хорошенько поискать.

В гараже Савелий достал собственноручно изготовленные санки-салазки в полтора метра длиной, с откидной задней частью. Санки представляли собой обычный лист фанеры, загнутый спереди, вверх по форме лыж, которые были намертво привинчены по бокам. Сверху санок на рояльной петле сидела откидывающаяся часть, которая при желании могла увеличить площадь до двух метров. Конечно, вид такого прицепа явно наведёт местных полицейский на всякие мысли... но, как говорится, не пойман – не вор! А на обратном пути он пройдёт до речки Воркута и там по её руслу выйдет к городу со стороны ТЭЦ... если ехать вечером, то народу там не так и много. Проскочит. Дом у него на окраине города стоит.

Тушу своего оленя Савелий нашёл метрах в ста от места трагедии. Олень был уже приморожен, пурга его закидала снегом так, что сверху торчали лишь копыта в разные стороны, рога были обломаны напрочь, голова разбита. Похоже олень этот встретил тепловоз «лицом к лицу».

Савелий на всякий случай оглянулся вокруг себя, тут же достал лопатку небольшую, за три минуты откопал тушу, уложил её на санки. Ноги оленя нелепо торчали по сторонам. Савелий достал топор и прямо на санях обрубил голяшки с копытами. Развернул заранее приготовленный брезент, перетянул им тушу, перевязал её капроновым шпагатом, осмотрел со стороны – на что похоже? Долго смотрел, пытаюсь придумать, на что могло быть всё это похоже?... На тушу оленя только и похоже, вынужденно согласился он.

Едва тронулся в обратный путь, как задул ветер, поднимая снег. Началась низовая метель. Низовая метель – это не страшно. Дует ветер, подхватывает снег, крутит его, но видно всё на километр вперёд.

Ветер был с запада. С запада – это в бок, когда по железке возвращаешься в город. Неудобно, но терпимо. А сейчас это даже Савелию выгодно – поменьше в тундру вылезет таких же любителей поживиться оленьиной, да и всяких «охранителей» порядка будет поменьше. А может, позвонить своему напарнику Сашке, чтоб к оленьсовхозу подскочил на грузовичке? Прямо в тундру, в районе кладбища? Спрятали бы оленя за борта... Нет. Тогда придётся напарнику полтуши отдавать или четверть. Обойдётся. О!.. Савелий похлопал себя по карманам. А телефон-то сотовый он дома в спешке позабыл. Вот дела! И ладно. Меньше будет соблазна напарникам всяким звонить. Главное – добраться до дома тихо. Довезти тушу без приключений и лишних встреч с кем угодно. Мама дорогая, это же теперь у него полцентнера мяса дармового!.. Пятьдесят кило! Это если перемножить? Рублей четыреста за каждый килограмм?... Двадцать тысяч выручки!

Через минут тридцать Савелий вышел на ручей с обрывистыми берегами, по ручью надо было пройти до речки Воркута. На ручье мело поменьше, русло было извилистым, и ветру негде было разогнаться. На речке тоже будет потише, нежели в открытой тундре, там руслом пройдём до ТЭЦ, мимо трубы, до стадиона «Юбилейный», а от него триста метров – и дома! Дворами. В пурге и проскочу.

На очередном повороте ручья Савелий остановился. Остановился и замер. Ему даже показалось, что его «Буран» сам заглох от увиденного. Прямо перед ним, метрах в пятидесяти, из снега ручья торчал гусеницами вверх вездеход... Большой, мятый, грязно-зелёный вездеход. Лежал он здесь уже около суток, если судить по снегу, осевшему на гусеницы сверху. Высокий, обрывистый берег над ним был весь изрыт и вспахан от его падения, словно там бомбу взорвали.

– Это как же тебя?.. – застыл от страха да изумления Савелий. – Прямо со скалы кувыркнулся?

Он подкатил ближе, сошёл с «Бурана», осторожно прошёл к перевернутой машине. Только чтобы без людей, вдруг заколотило от страха в голове, только чтобы без людей... Вездеход перевернулся, люди вышли и ушли в город за помощью... Только чтобы без людей. Он склонился к водительской двери и крикнул что-то такое – живые есть?.. В ответ никто не ответил. Слава богу! Савелий открыл дверцу – пусто. Заглянул глубже – в полусумраке вездеходного салона увидел торчащие в разные стороны оленины копыта... А-а... вот как? Ещё один любитель поживиться дармовым мясом! Савелий усмехнулся. Сколько ж здесь туш? Штуки три? Только он уже хотел влезть внутрь кабины, как откуда-то из полумрака вездехода раздался слабый хрип со стоном... Савелий вздрогнул, словно ему туша оленя копытом под дых ударила. Всмотрелся вглубь и увидел там скрюченного человека с намотанной на голове тряпкой.

– Ох, ты йо-о-о!! – вырвалось у него. – Ты кто? Эй, слышишь меня? – Он сказал, а весь мозг его пронзила страшная и холодная мысль – раненый!.. Да не дай бог!..

Быстро забравшись внутрь, Савелий увидел человека – парень как парень, лет тридцати, тряпка на голове была полотенцем, промоченным насквозь кровью. К обеим ногам в районе голени были привязаны по две небольших доски, похоже выполнявших роль медицинских шин – значит, сломаны ноги. Неудивительно, такой кульбит на вездеходе сделать с обрыва. Стоя на четвереньках, Савелий аккуратно подхватил парня под мышки, потянул на себя к выходу, топчась по оленьим тушам коленями.

– По мясу ходим, мать твою! – выругался он.

Парень опять застонал.

С помощью «матери», совершавшей нехорошие разгульные поступки в своей жизни, а также вспомнив всю самую интересную физиологию человека, как женского, так и мужского рода, Савелий вытащил рывками парня наружу. Снаружи усадил его на снег, оперевши головой о вездеход. Парень открыл глаза, губы его дрогнули, и он спросил совсем тихо:

– Ты что тут делаешь?..

– Живой, – тяжело дышал Савелий, – ещё есть кто?

Парень мотнул головой и вскрикнул от боли.

– Кто будешь? – спросил Савелий, оглядываясь. Снег начинал крутить сильнее, вихри его рождались ниоткуда, столбиками снега, похожими на ёлочку, поднимались в верх. Когда низовая метель начинает мести легкими завихрениями, поднимая снег в небо, а ветер меняет направление – это лёгкое предвестие пурги на севере.

– Лёха, – ответил парень через силу, словно тяжёлый груз одновременно поднимал, – обрыв я не заметил, снег навалил, а дворники сломаны, залепило стекло... а тут ручей... перевернулся я.

– Ноги что?

– Поломаны... я очнулся – в крови весь... перевязать себя успел... кровь остановить не мог... может, вена? Или как её – артерия?.. Встать не могу... пробовал. Холодно.

– Вездеход чей? Искать будут?

– Личный вездеход... списанный он... не будут.

– Телефон есть? Позвоним в МЧС.

– Телефон тут, – кивнул он себе на грудь, на внешний карман куртки, – пробовал. Не берёт. Далеко.

Савелий выругался ещё раз себе под нос, вновь оглянулся. А что оглядываться? Ручей как ручей, что тут смотреть? Что смотреть, что смотреть! А что делать?.. Как вот тут теперь? Куда его? За собой на «Буран» не посадишь, ноги сломаны, голова висит... А место на санках занято... ну да... занято... а как?.. Эти санки... они вообще тут случайно, понимаете? Не раненых же брал перевозить? Это вообще... для мяса. Для оленя, так сказать...

А вот и твой олень, так сказать – проговорил кто-то ему в голове. Тихо так проговорил, внятно.

Савелия ещё раз пронзила жуткая мысль, можно даже сказать, не пронзила, она без разрешения поселилась у него в голове и теперь никуда не выходила – тушу оленя придётся оставить здесь! Выбросить!.. (Да что ж ты будешь делать-то, а?) От этой мысли заныло где-то под горлом. Так заныло сильно, что перехватило дыхание. На пару секунд у Савелия мелькнуло – а может, положить парня на тушу оленя? А что? Шкура от человека нагреется в минуты! И Лёхе тепло, и олень останется. Глупо. Шкура не нагреется в минуты, потому что это не шкура, а туша!.. Замороженная туша. Ну да, оно и понятно, что туша, что глупо всё... просто... мясо жалко. И что прямо вот не поехал?.. Вдоль железки? Поехал бы прямо, никого бы не встретил... не мучился бы вопросом. М-да... хреново. Скотом становиться нельзя.

– Пуржить начинает, – выговорил парень, – делать что будем? – Глянул на Савелия и предложил, чтобы не навязываться: – Если что... не можешь... так езжай. В городе МЧС скажи, где я сижу... идёт?

– Да нет, не идёт, – тихо выговорил Савелий, ругаясь про себя какими-то новыми бранными словами, – куда тут езжай?

Он в который раз глянул на раненого парня злыми глазами, который сейчас просто воровал у него, таким трудом добытую оленину! Который сейчас просто обокрал его в одну секунду на полцентнера мяса! Который... А может?.. Или... Нет, не может. Вот он, твой олень – просвистело чьим-то неуловимым голосом в голове Савелия, и глаза его вновь уткнулись в парня.

Тушу оленя придётся бросить здесь.

От этой мысли внутри него всё перевернулось ещё раз от негодования и возмущения. О боже! Цель была достигнута так просто, так быстро. Полцентнера мяса... полцентнера мяса надо было сейчас просто вышвырнуть на снег... А может... Лёха сумеет на заднем сиденье? Может, сумеет удержаться? Да куда ему держаться со сломанными ногами да с головой, которая и так... висит вона как колбаса домашняя, когда свинку заколешь. Да что ж ты будешь делать-то, а?! Ну что за жизнь?! Только нашёл! Только нашёл и тут же потерял!.. И не потерял, а выбросил даже!.. Тьфу!!

Последние слова как-то злобно вышли. С шипением. Вырвались злобно, потому что афера его с олениной сорвалась так глупо, что... Он вздохнул тяжело и стал отвязывать тушу от санок. Когда отвязал, поволок её в сторону, под обрыв, где намело много снега и тушу можно было просто зарыть.

– Ты лучше её в вездеход забрось! – из последних сил хрипло сказал Лёха. – Там песцы не достанут.

– Ага, – кивнул Савелий, припорошивая снегом своё мясо, – потом эмчээсовцы вместе с твоим вездеходом и твоими тушами себе заберут... куда там!.. Нашли дураков!

Санки он разложил полностью, откинув площадку сзади. Ростом бог Лёху не обидел, да и весил он килограмм под девяносто. Вытянет его «Буран»?

«Буран» вытянул. Он даже вначале как-то излишне легко потащил за собой санки с Лёхой, замотанным в брезент, как только что была туша оленя. Прятаться теперь необходимости не было, Савелий решил ехать в город по прямой. Теперь получалось – чем они быстрее выйдут на людей, тем лучше. А если встретят вездеход в тундре – вообще красота! Тогда можно будет Лёху им, а самому назад за оленем... а?

На подъёме из русла ручья «Буран» пару раз пробуксовал, вырвав из-под себя вихрь пережёванного гусеницей наста, да и выполз на равнину тундры.

Время было полдень. Пошёл мелкий снег. Ветер не стихал, а поднимался. Низовая метель стала переходить в обычную пургу. Переходила она быстро, захватывая клочьями и плетями снега всё пространство перед Савелием. Ветер попытался пару раз прорвать снежную завесу, да не получилось. Снегом обдал, и всё. Но в этом небольшом прорыве пурги Савелий увидел далеко впереди себя чёрную полосу неба. Это город дымит. Ветер переменялся, ветер теперь в спину, южный. Так теперь и держим курс. Савелий обернулся назад, глянул на Лёху – тот лежал на санках перемотанный брезентом, как мумия, как покойник... А вот поехал бы Савелий прямо – тут же хихикнуло ему то ли сознание, то ли подсознание, – так лежало бы на санках оленьё мясо! Пятьдесят килограмм свежего мяса! А ещё не поздно вернуться за тушей, а? А Лёхе МЧС?... Не вытянешь ты его. Не вытянешь... Тут же сверху снег обрушился так плотно и вязко, что пространство всё померкло в «молоке». «Мумия» Лёхи стала ещё больше напоминать, волочащегося сзади покойника.

– В страшном сне не увидишь, – пробормотал Савелий, сразу зачем-то прикидывая – если бы он тушу оленя привязал за санками, волочил бы её по снегу... вытянул бы его «Буран»? Мерзко, да? А что мерзко? – вспыхнуло его сознание. Почему мерзко? Ещё неизвестно, что и кто важнее – этот парень чужой или мясо в дом родной? Его же дома с оленьиной ждут, а не с этим... Савелия вообще здесь могло не быть. Он случайно проезжал. Он... ладно, молчу.

«Буран» шёл ровно, мотор гудел монотонно. Тундра расстилалась перед ними плоская, снежная, без кустов. На пустыню похожа. Дорогу впереди, точнее направление впереди, видно практически не было. Стена снега, бушующего белой мглой, просто как раскрывалась перед ними на пять или десять метров и тут же закрывалась, укутывая обоих путников в своей холодной кутерьме. Очень скоро пошёл жёсткий, ледяной снег. Он осыпал лицо Савелия мелкими иголками, налипал на глаза и стекал по щекам вниз. Снегоход шёл медленно, словно пробирался вперёд, высматривая дорогу, стараясь не сбиться с пути. Пути этого Савелий как раз и не знал, знал лишь направление. Лёшка этот тоже, наверное, знал лишь направление... кувыркнулся вот.

В пургу жизнь в тундре замирает. В пургу вы не встретите на пути своём ни куропаток, что стрекочут клювами при любой опасности, словно деревянными трещотками; ни мохноногих канюков, что парят в вышине неба, выискивая зазевавшегося лемминга на снегу да изредка оглашая белые просторы ледяной пустыни своим клёкотом (канюченьем). Не будут мелькать меж кустов осторожные, но любопытные песцы с пушистыми хвостами, прижимаясь носами к насту, вынюхивая нор-

ки мышей. Да и вся прочая живность будет сидеть где-то под кустом, свернувшись клубком от непогоды, и ждать затишья в тундре. Причём совсем рядом, под похожим кустом, в десятке метров от какого-нибудь зайца, может сидеть его хитрый враг – белая сова, моргать своими глазами, крутить головой и не двигаться с места. Но если ветер стихнет... зайцу конец. Потому что пурга – это в лучшем случае буря или шторм, в худшем – ураган. Сносит всё живое.

Снегоход шёл в пурге тихо, едва-едва перекрывая своим урчанием завывания ветра. Хорошо хоть снег был мелкий, колючий, холодный. Такой снег не липнет сразу на наст, а собирается в ложбинках и трещинах, не мешая движению. И снегоход, и сани по жёсткому насту идут свободно, легко. Главное – выбраться.

Савелий старался держать направление так, чтобы ветер постоянно как бы подгонял его в спину, вторично ветер не мог так быстро сменить направление, а значит, идут ровно на город, хоть в десяти метрах и не видно уже ничего. «Молоко» вокруг.

Почему-то в голове постоянно прокручивался путь от железной дороги до обрыва... почему-то постоянно после этого «кино» в голове стояла картинка, где под обрывом тушу закопал... потом куда, в каком направлении поехал... потом – как можно проехать обратно к этому месту... Всё правильно – тушу ведь надо будет забрать потом?

Снегоход шёл ровно, неторопливо, пурга мела протяжно. Видимости на десяток метров впереди – это ровно столько, сколько при такой скорости надо, чтобы остановиться и не кувырнуться с обрыва вниз, как Лёха. Савелий изредка оборачивался назад, смотрел на раненого парня. Да на кой же леший ты, Савелий, поехал к реке Воркута?... Эх, Савелий, Савелий! Поехал бы напрямиком по железке в город... Лёха бы сдох, да? Ну да – скотство. Но оленя так жалко! Теперь кто его знает – найдёт он оленя потом? Да и сможет ли привезти обратно? А так бы сейчас под покровом пурги спокойненько по городу прошмыгнул, и всё!.. Ах ты же, напасть! И надо же было Лёхе за этими тушами поехать?! Мяса ему подавай! Мародёр хренов!

Ветер бил сзади своими порывами так, что снег залетал Савелию за воротник, где плотно был уложен шарф. Ветер бил своими порывами так, что насквозь продувал и зимнюю куртку, и кожанку под ней, и свитер шерстяной, холодя спину. Савелий поднял капюшон, застегнул замок под самое горло. В голове мелькнуло – может, Лёху посмотреть, снег и ему залетает, нет?

Он остановился. Сошёл со своего вездехода. Порыв ветра так ударил в лицо, что едва не опрокинул его навзничь. Савелий устоял, склонился над раненым Лёхой – снег запорошил того уже полностью, тело в брезенте стало напоминать замотанный труп... щёки у Лёхи были мокрые... это снег тает. Ленинград блокадный – почему-то мелькнуло в голове у Савелия.

– Живой? – крикнул он громко.

Лёха открыл глаза. Тяжело как-то открыл, посмотрел куда-то вверх, попытался прошептать что-то. Не получилось. Собрался с силами, прохрипел:

– Живой. Где мы? Я, кажется, отключился... Где мы?

– Не знаю. По дороге в город, будем надеяться. Может, надо что? Вон как тебя снегом замело всего... может, перевернуть? Ногами вперёд покатым? Меньше будет...

– Сдурел? Ногами вперёд!..

Савелий вывернул кусок брезента у его головы, немного прикрыл лицо, чтобы не порошило лишний раз. «Буря» покатила дальше.

Пурга выла, пурга кружилась. Ветер бил в спину, продувая куртку, заметал глаза так, что от налипшего на ресницы снега они не закрывались полностью и моргали как-то наполовину. Савелий хватал ресницы пальцами и держал их, пока снег не стаивал. Снег оседал на щеках, таял на щеках, капельками стекал вниз и щекотал там горло. Снег залетал в рот, потому что хоть ветер и дул в спину, но при сильных напорах каким-то образом залетал впереди человека, сдавливал там воздух, становилось трудно дышать носом, человек дышал ртом. Снег плясал перед глазами, сверкал искринками и строил перед Савелием какие-то неведомые, призрачные картинки нереальности. Крайний Север. Заполярье. Территория Арктики. Обычное ненастье.

Сколько часов шёл старенький снегоход в пурге, Савелий не знал. Он уже потерял связь со временем и только ежеминутно ждал одного, что из пурги вырастет город... Здание... забор... дорога... Он ушёл из города на юг, с южной стороны что у нас в городе? Вокзал, оленьсовхоз, кладбище... ещё вояки какие-то были... может, на воинскую часть выйдет? Когда темнеет в феврале? Когда приходит вечер? Часов в пять, или шесть? Никогда об этом не думал. Темнеет себе и темнеет. Начнёт темнеть – это пять или шесть часов... что это даёт? Ничего. Это даёт то, что дальше надо будет идти в темноте ночи, в ночной пурге, что ещё хуже и тяжелее. Почему идти, мы же едем? Ехать надо будет в темноте... ехать надо будет в темноте... Савелий вздрогнул. Засыпает... Он засыпает. Ветер убаюкивает. Монотонность кружащего снега перед глазами словно метроном снижает внимание, и человек погружается в сон. Спать нельзя! Кувыркнётся, как Лёха! Впереди образовалась прореха, снегоход резко встал... Ручей. Простой заметённый ручей, русло в низине. Перекатим.

Когда начало темнеть, Савелий не заметил. Просто совсем внезапно снег стал серым, пурга мутной, а снегоход ни с того ни с сего вдруг заглох и остановился... Савелий дёрнул за стартер. Мотор чавкнул и смолчал. Савелий дёрнул ещё раз. Потом ещё... Он сошёл с машины. Разбирался в технике Савелий прекрасно. Неисправность нашёл мигом – бензин был на нуле. Бензина было достаточно для того, чтобы съездить за полсотни километров в тундру и вернуться обратно в город, но не для того, чтобы на скорости пешехода кружить по тундре целый день. Савелий сел на сиденье, руки положил на колени. Приехали!..

– Что там? – донеслось от Лёхи.

– Сдох коняка. Бензин вышел. Не рассчитал я на такую прогулку.

Разговор на этом закончился. Лёха ничего предложить не мог, Савелий что предложить – не знал. Пурга стонала и выла. Ветер стал визжать так, словно радовался беспомощности человека. И визжал, паразит такой, главное, именно в закоулках мотора снегохода... летал там и визжал от радости! Савелий взял горсть жёсткого, холодного снега, протёр им лицо. Стало легче. Да нет, легче не стало.

Варианты? Остаться здесь до конца и ждать – вдруг пурга закончится так же внезапно, как и началась? Сколько Лёха протянет без помощи врачей? Сутки, двое или, может, несколько часов? А если бросить Лёху одного, добраться до города и организовать спасательную операцию... где искать потом? Заметёт полностью его, не найдёшь под снегом. Если только по снегоходу найти? Так и снегоход может замести в одну ночь. В низине стоят, в низине всегда замедает.

– Есть мысли? – докатился до него голос Лёхи.

– Есть одна, – отозвался Савелий.

Он сошёл на снег, подошёл к Лёхе, не торопясь отцепил санки от своего «Бурана». Потом залез в багажник своей заглухшей техники, нашёл там пакет с НЗ: хлеб, сало, спички, зажигалка, спирт сухой, что-то ещё... Впрягся в трос, каким были прицеплены санки к снегоходу, лямка легла поперёк его груди, и потащил их вместе с Лёхой куда-то в темноту ночи. Лёха, похоже, всё понял и застонал из последних сил:

– Да не надо это!..

В первые минуты Савелий даже как-то порадовался и за себя, и за Лёху, что идти по снежному и твёрдому насту оказалось не столь и тяжело. Лямка упиралась в плечи и грудь чуть ниже горла, Савелий тут же рядом, по бокам, поддерживал её руками, немного оттягивая перед собой. По старому насту санки с Лёхой катили легко, словно по льду, на новых белых языках только что наметённого снега, тормозили. Хорошо, намело его не так и много. Одно было нехорошо – тундра не бывает ровная, потому, когда катились вниз, приходилось санки поддерживать, а когда вверх... тогда Савелий упирался так, что, казалось, глаза из орбит вылезают потихоньку.

Полной ночи как таковой в тундре зимой не бывает. Даже в безлунную ночь что-то да видно вокруг, хоть какие очертания местности. Снег отражает всё, вплоть до света звёзд. Сегодня явно на небе сидела луна, правда, за тучами видно её не было, но тучи были светлые, а потому и света немного давали.

Савелий шёл куда ветер дул. Он давно уже потерялся в пурге, и единственным ориентиром был ветер, что дул в спину. Но ветер в пурге не дует однообразно и монотонно. Ветер в пургу рвёт порывами. Причём порывы могут быть такими, что в один порыв вы и глазом не моргнёте, а в другой хлестанёт так, что свалит с ног и десяток метров прокатит по снегу.

В низинах ветра было меньше. Здесь Савелий терялся – куда идти? Вроде только что дуло туда, а теперь в обратную сторону? Куда из низины выходить? Ужасно стало натирать плечи. Савелий перехватывал лямку от саней наподобие хомута, пропустив её под мышками, но очень быстро стало натирать шею через шарф, да и под мышками давило нестерпимо. Сил оставалось всё меньше, хотелось завалиться на снег и уснуть... нет, поспать немного, хоть полчаса. Он опустил на снег, встал на колени. От тюка брезента донеслось слабым голосом:

– Савелий! Телефон возьми, может, уже...

Вот дурак старый! Савелий себя даже по голове хлопнул. Заигрался в герои! Телефон же есть?

Он быстро отвернул брезент, пошарил рукой по груди Лёхи, нашёл в кармане телефон. Включил. Телефон вспыхнул в ночи яркими, цветными огоньками. Цивилизация. Савелий глянул на дисплей. Ноль. Полный, тихий, не опознаваемый ноль.

– Себе возьму. – сказал он, – буду проверять, может, где поймает сеть.

Вставать со снега не то что не хотелось, а просто не моглось. Они сидели в низине, ветер здесь больше кружил снег, чем рвал порывами. В низине было хорошо. Здесь было относительно тихо. Здесь можно было спокойно сидеть и даже спокойно дышать, не ловя воздух ртом, как там – наверху, в пурге. Но всё равно надо было выбираться наверх, всё равно надо было идти вперёд, в город, к людям. Лёха долго не протянет. Эта мысль занозой сидела в голове у Савелия.

- О чём думаешь? – вдруг спросил Лёха.
- Ни о чём, – прерывисто ответил Савелий.
- Скажи. Легче будет..
- Легче не будет, – сказал Савелий, – «Буран» сдох, мясо потерял, пурга усилилась, а идти надо... дойти надо.
- У тебя семья есть? – спросил Лёха.
- Есть. Для них и корячился.
- Может, один дойдёшь? Может, так быстрее будет? Там объяснишь всё... МЧС там...
- Один не дойду, – сказал Савелий, – ветром сдует.

Савелий поднялся, подхватил лямку, впрягся и потащил сани наверх из низины. Наверху ветер рвал и бил своими хлыстами так, что иногда даже помогал двигаться вперёд, особенно на спусках. Подгонял так, что Савелий санки придерживал ногой. Потом опять вверх, опять: то поперёк лямку, то сверху на шею, то поперёк, то сверху... В какое-то время Савелию показалось, что мозг у него больше ничего не воспринимает, кроме снега, ветра и ломящей боли в плечах. Вначале он поминутно смотрел на дисплей телефона, надеясь, что тот обнаружит сеть, потом забыл... телефон стал бесполезной игрушкой в «руках» природы. Савелий спускался в низины, поднимался наверх, падал, поднимался, хватал летящий снег ртом, подхватывал его рукавицей с наста, жевал до ломоты в зубах и голове. Ужасно хотелось пить. Воды у них не было. Про хлеб да сало Савелий ни разу и не вспомнил. Хлеба не хотелось. Хотелось спать, пить, закрыть глаза и уснуть. Уснуть стоя, уснуть на ходу, уснуть на минуту, секунду, но уснуть, забыть... всё забыть, поверить, что всё это – кошмарный сон. Хотелось упасть и не вставать. Никогда больше не вставать!

Савелий шёл, бездумно передвигая ноги, ничего не соображая, ничего не понимая, ничего вокруг себя не видя. Просто надо было идти и надо было тащить за собой санки с человеком. Почему? Потому что надо идти в город, в тепло, к людям. Почему надо тащить на себе эти санки с человеком? Потому что ему тоже надо к людям, а сам он идти не может... а к людям ему надо... А Савелию надо домой, у него пацан Володька, у него дочь, жена... В пурге он увидел сына... тот играл на снегу с большой машинкой... снег возил...

Ночь оказалась длинной. Ночь оказалась холодной, потому что Савелий вспотел, а... нет, он не вспотел, пот просто катил с него крупными каплями по всему телу, потому тело стало мокрым от пота, и иногда его холодило этот жуткий, страшный ветер, продувая куртку, проникая внутрь, мороза тело...

Пару раз Савелий крикнул что-то Лёхе. Просто так крикнул, без дела, без нужды особой. Чтоб ответил. На голос тоже силы надо. Сил не было. Их не осталось совсем. Савелий остановился, подумал: может, Лёха умер? Скончался так вот тихо человек, никому ничего не сказав. Хорошо это или плохо? С одной стороны, хорошо, можно его здесь оставить, труп же, что ему будет? А с другой? Песцы всякие могут лицо обгрызть, Всякая живность тут начнёт человека есть... Нет, так нельзя, тащить надо и труп... труп же этот человеческий, правильно? Это не по-человечески – бросать тело человека на произвол... не по-русски это... надо тащить... куда тащить?

Савелий остановился, ноги подкосились, и он упал на колени. Так стоял какое-то время. Какое? Не заметил. Ему показалось, что глаза его закрылись и он уснул. На секунду? Минуту?.. Он что-то увидел

во сне? Не помнил. Просто чёрная дыра. Дыра в сознание. Дыра отдыха.

– Сава! – крикнул кто-то женским голосом.

Савелий очнулся, как по голове ударили. Голова раскалывалась от боли.

– Савелий! – услышал он голос Лёхи.

Савелий очнулся, увидел, что стоит на коленях. Поднялся. Подошёл к Лёхе. На колени уже не опускался – бухнулся.

– Савелий, – сказал тот из-под брезента, – я забыл... у меня в кармане, во внутреннем... спирт на лимонном соке... с золотым корнем... в дорогу... попробуй. Золотой корень силы даёт.

Савелий минуту молчал, не понимая, что от него хочет Лёха? Какой спирт, какой ещё лимонный сок?... Сок?... Сок – вода!!

– Где? – нехорошим голосом спросил он, шаря по груди у Лёхи. – Где сок?..

– Не сок, Савелий. Спирт разбавленный соком лимонным.

– Спирт? – что-то далёкое, цивилизованное, подходило к Савелию со своими глупостями и шалостями. – Зачем спирт? Делать что?

– Хлебани глоток, – сказал ему Лёха уже потвёрже, – он на золотом корне. Поможет. Силы даст на время. Только много нельзя... опьянеешь – уснёшь.

Савелий нащупал тонкую, выгнутую фляжку во внутреннем кармане Лёхи, вытащил, в потёмках отвинтил крышку и сделал глоток. Потом сделал ещё глоток. Потом третий... Захотелось сразу есть. Он достал пакет НЗ. Достал хлеб и сало нарезанное.

– Что ж ты молчал? – уже пришёл в себя Савелий. – Спирт тебе нужен в первую очередь. Ты же много крови потерял. Когда доноры крови сдают много, им всегда то вино сухое, красное, а то и спирту медицинский... это какой спирт? Медицинский?

– Да нет, Савелий, – пробормотал Лёха, – гидролизный это спирт... сушит от него по утрам сильно, если переборщить. Но не отравишься, не бойся.

– Спирта бояться, скажешь тоже, – жевал сало Савелий просто мгновенно ощущая, как приходит в себя и как по венам струится кровь, как неведомо откуда, вместе с кровью бежит по жилам сила.

– Холодно, – прошептал Лёха, – спину не чувствую. Помираю, что ли? Сдохну – ты брось меня. Потом найдут. Весной. Знаешь, под погибшими людьми снег не тает, и весной в тундре появляется «гриб» снежный, а сверху тело человека... худо, правда? Пошевелиться бы мне... не могу... холодно под спиной...

Савелий стянул с себя куртку, свернул её в три полосы, как это делают в магазинах, когда упаковывают, быстро развернул брезент, Лёху резко приподнял с краю и засунул куртку под него.

– Дурак, – сказал Лёха благодарно, – тебе важнее, ты же тащишь нас... Савелий...

– У меня ещё кожанка, – показал тот во тьме короткую, тёртую кожаную куртку в пояс, – и свитер там – шерсть чистая. Вытащу. Ну-ка, давай!

Савелий приподнял Лёху за спину, поднёс фляжку. Лёха руку одну вытащил, ухватил как-то слабо фляжку, отпил пару глотков, поморщился, попросил:

– Зажевать дай?

Савелий быстро достал кусок хлеба с салом. Лёха откусил вместе с залетевшим в рот снегом, чуть прожевав, молвил в голос:

– Ну да... сдохнуть всегда веселее навеселе.

Савелий уложил его обратно, подоткнул брезент, поднялся на ноги, впрягся в лямку, ухватив её перед собой руками и потащил сани дальше.

Что всегда визжит в пурге – неизвестно, но завывания ветра со снегом бывают такие пронзительные, что давит на уши и мозги. Ночная пурга рвёт человека сильнее. Ночная пурга крутит человеком так, словно он попал в мясорубку, но никак на шнек мясорубки намотаться не может. Бывает, что даже посмотреть впереди себя – большая проблема, потому что едва лицо поднимешь... отхлестает снежными плетьюми так, что начнёшь плевать и ругаться, отмахиваться неизвестно от чего. А бывает, что вроде и несильно снегом обдаёт, да тот же ветер так напирает на тебя, что хоть носом, хоть ртом ухватить воздуха невозможно, а потому опять – голову вниз.

На одном из подъёмов тундры, Савелий достал телефон Лёхи... Сети не было, часы показывали два часа ночи.

Силы, что даёт алкоголь на непродолжительное время, заканчиваются очень быстро, если их расходовать неразумно. Например, если тащить сани с человеком. Здесь никакого алкоголя не напасёшься. Похмелье придёт в момент, дурь пьяная через пот выйдет за полчаса, а отравление останется. Потому человек прикладывается вновь и вновь, что заканчивается весьма плачевно, бывает даже и трагически.

Шёл Савелий теперь не столь автоматически, как раньше. Теперь он соображал, что вокруг творится и что он делает. Поставил цель – если начнёт сдавать, если начнёт засыпать, если глаза станут смыкаться... только тогда, только тогда можно ещё... Пить можно только для поддержки, а не для расслабления. Потому что, если он грохнется и уснёт, Лёшка ведь даже и помочь ничем не сможет. Картина! Один будет замерзать во сне, другой наяву... тьфу, зараза! Надо думать о чём-то хорошем. Надо думать... о бабах, например. А может, стихи читать или песни петь?

Он уже давно стёр ноги в своих ботинках, давно промёрз весь, насквозь, до самой макушки головы, обморозил руки, потому что на ветру, в мороз, держать кулаки сжатыми нельзя... кровь не ходит по ним. А как их держать, если надо лямку перед собой удерживать? Иначе не потянешь. Как их держать, если лямку под мышками проденешь и там так режет потом, что не выбираешь, что больнее, что правильнее... что... Савелий уже привык к темноте, под ногами снег просматривался – и слава богу! Иногда в глазах вспыхивали какие-то молнии, которые были похожи на круги белого света, причём круги были на снегу, на насте, там, где он и видеть их не мог, потому что стена снега... перед ним стояла стена бушующего снега... наст был виден лишь под ногами.

Савелий обтирал лицо ладонью от облепивших его снежинок, сжимал холодными пальцами ресницы, чтобы глаза хоть как освободить от налипших ледышек, рука мёрзла ещё сильнее, он быстро прятал её в рукавицу, сжимал в кулак, чтобы пальцы хоть немного друг о друга согрелись – ничего не помогало. Он делал «зарядку» внутри рукавиц, сжимая и разжимая пальцы, тогда слетала лямка троса, падала ему на грудь... Савелий останавливался, какое-то время стоял беспомощной фигурой в ночи, потом, словно бурлак на реке, поднимал лямку и опять шёл, тянул за собой сани с Лёхой... А кто этот Лёха?.. Да нет, не ему кто, а вообще – кто? Вообще, Лёха этот есть или это всё мираж, видение, наваждение, как его там?.. Привидение.

И вдруг Савелия просто ухнуло по голове сверху. Он даже удар физически почувствовал, будто тяжёлой, набитой крупным пером, подушкой по голове дали и сказали прямо в уши – это не привидение, это наказание, дружок. За жадность твою, за скупердяйство! Или мяса дома не было? А может, с голодухи помирал? Что в тундру попёрся? На дармовщинку поживиться? Может, олени твои? Может, ты их растил, от волков охранял, пас в тундре, на перегонах, в реках ледяных спасал, из-под льда вытаскивал?.. Дармоед ты, Савелий!

– А Лёху за что? – не выдержал Савелий такой откровенности сам на сам. И тут же услышал – а за то же! Потом секунды стояла тишина, такая жуткая неземная тишина, ветер умолк, но не стих, пурга билась во все стороны, а звуки её пропали. Савелий головой тряхнул и услышал вой ветра. Тут же вперёд рванулся с ещё большим рвением и скоростью, под нос себе сказал:

– Ну так, а мы же мясо оставили там... олени-то там, а мы здесь, чего теперь-то?

Пурга провыла что-то в ответ.

Пурга как-то совсем внезапно усилилась. Мало того что усилился ветер, так ещё и тучи, очевидно, стали более плотные и света уменьшилось. Стало и в самом деле темно. Савелий озирнулся затравленно, не понимая, зачем это делает в пустоте и темноте? Лямку снял с себя, хотел под мышками пропустить, чтоб кулаки немного отогрелись, чтобы руки немного отдохнули, да здесь ветер так хлопнул его порывом, что Савелия бросило на снег и прокатило валиком по насту... куда прокатило? Он встал и... сани не увидел...

– Лёха! – крикнул он во тьму. Ответа не услышал. Ветер, вой, свист, какой-то издевательский свист.

– Лёха!! – крикнул он что было силы.

Здесь же подумал – а что так орать, Лёха ведь крикнуть в ответ не может?

Савелий достал фляжку, сделал один глоток, второй... хватит. Думаем. Что думаем? Думаем, как найти человека.

Савелий быстро, буквально не соображая зачем и что делает, вытоптал поглубже в насте маленькую площадку, разбивая его рёбрами подошвы ботинок, чтоб было видно, где сейчас стоит, тут же мелкими шагами, твёрдо ступая по снегу так, чтобы в насте оставались насечки, сделал десять шагов в одну сторону – пусто. Вернулся по следам, всматриваясь чуть ли не в полусогнутом положении. Площадку нашёл, сделал также несколько шагов в другом направлении – пусто. Крикнул – не ответили. Вернулся. Пошёл в третьем направлении – пусто. В четвёртом – пусто. Может, не доходит? Может, укатило ветром много дальше, чем кажется? Савелий поправил площадку с изломанным снегом, вытоптав её ещё больше, пошёл опять... шаги мерял, ноги вдавливал. Куда его катануло? По ветру? По ветру, конечно. Что ж тогда не находит сани?.. Он вернулся. Постоял, спиной ветер прочувствовал, ровно по ветру стоит?.. Здесь порыв ударил так, что Савелия вначале согнуло пополам, он упёрся руками в снег, ветер ударил вторично, и Савелия прокатило по снегу дальше... куда дальше? Он поднялся на колени, стал искать площадку, проломы в снегу – ничего. Снег здесь был ровный, чистый. Теперь и площадку потерял.

– Эй, – сказал он куда-то вверх, – вы чего там? Лёха как...

Ветер попробовал ударить в третий раз, но Савелий удержался, потом плюхнулся на снег ничком и так лежал какое-то время. Когда

порывы прошли, он поднялся, стал оглядываться. А что оглядываться? По привычке? Куда идти? Надо искать ту площадку, что вытоптал, надо искать её быстрее, иначе заметёт её, а не найдёшь площадку эту... Лёхе конец.

Савелий достал таблетку сухого спирта. Как поджечь спирт, чтоб не потух на ветру? Надо ему какую-то защиту, совсем маленькую, лёгкую защиту, чтобы порывом пламя не сорвало... надо... Савелий похлопал себя по карманам – а что хлопать-то? Что там может быть такого в карманах, чем можно уберечь пламя от ветра?

Выход нашёлся сам. Легко и просто. Савелий просто выкопал перочинным ножом маленькое углубление в насте снега, положил внутрь таблетку, поджёт её от зажигалки. Пламя огня заколыхалось, стало разгораться. Савелий хотел руки обогреть, да времени не было, пурга мела, следы заметало. Он выждал пару мгновений, когда порывы ветра вновь спали, поднялся и пошёл обратно, против ветра ровно. Где-то здесь... где-то здесь... Обернулся пару раз назад – горелка его в ночи пуржиной сияла неземным огнём тепла и жизни. Где-то здесь... Савелий встал на четвереньки, стал искать словно пёс, чуть ли не вплотную к насту лицом. Вот!.. Вот пролом от его ботинок! Куда? Сделал пару шагов в сторону и нашёл то, что уже осталось от его вытоптанной площадки – лишь штрихи от ударов подошвы ботинок. Теперь от неё дальше против ветра... Стоп! Савелий вновь выкопал ножом углубление в насте, поджёт ещё одну таблетку спирта, опустил её в снег.

Озираясь чуть ли не ежесекундно, пошёл на ветер. Сделал свои десять-пятнадцать шагов. Пусто. Посмотрел назад – огонь прорывался светом сквозь месиво пурги слабо, но видно его было. Савелий плюнул и пошёл дальше. Через пять шагов наткнулся на сани... Есть! Вот он, друг Лёха, вот его друг Лёха! Никогда бы Савелий не подумал, что может обрадоваться чужому человеку, да ещё в той ситуации, когда этот чужой человек вполне может его погубить своим беспомощным присутствием рядом. Что ж за жизнь такая?.. А? И главное – мясо ведь потерял!..

Он упал перед Лёхой на колени, откинул брезент, Лёха на это открыл глаза.

– Ага, – сказал Савелий, – ну да... я тут это... нельзя одному никак, понимаешь?

Он тащил сани дальше с упорством человека, который знает, что делает... Он тащил сани, опять ничего не соображая, не понимая, не чувствуя даже боли в плечах, не чувствуя холода, усталости, не видя перед собой ничего кроме наста под ногами... только под ногами и не дальше. Савелий шёл. Сани обречённо и безвольно тащились за ним. На санях безвольно лежал человек, жизнь которого стоила сейчас ровно столько, сколько Савелий мог сейчас вытянуть, сколько мог выдержать.

Он достал телефон, глянул на дисплей – три часа ночи. Сети нет. Светает где-то в шесть... ещё три часа, три часа... а что – три часа, что ему даст рассвет?.. Похоже, сейчас будет спуск, слишком долго пришлось упираться, выходя на верх подъёма тундры. В темноте это не видно, в пурге это не видно, но тащить было тяжело, и остановились они, когда сани свободно заскользили следом, значит, находятся сейчас наверху.

– Что, не видно города? – услышал он едва-едва от тюка на санях.

Быстро подошёл, откинул брезент. Лёха был живой, в сумраке ночи моргал глазами.

– Метёт, собака, – ругнулся Савелий, – пять метров, дальше – стена.

– С пути не могли сбиться?

– Ветер в спину был. Перемениться не мог. Рановато ему... да ты не гоношись... вытяну.

– Савелий, – как-то вкрадчиво, слабым голосом спросил Лёха, – ты русский, да?

– Почему? – удивился Савелий и даже как-то глазами запорошенными снегом заморгал.

– Русские своих не бросают.

– А-а, – промычал он, – ну да... тогда русский. – Помолчал и добавил: – А так я хохол... украинец, вроде. С Полтавы.

– Спирт как?

– Берегу.

– Пьёшь как?

– Глотками.

– Да нет... Помощи просишь?

– Что? – Савелию показалось вначале, что он ослышался, потом подумалось, что Лёха начал бредить.

– Когда пьёшь, у духов неба и тундры надо помощи попросить, – сказал Лёха.

– К-как это? – запнулся Савелий.

– Так. На полном серьёзе.

Савелий смолчал, чтобы не обидеть Лёху ненароком. Состояние у обоих всё же было не очень здоровое. Потом глянул вокруг себя, ничего не увидел, чуть насмешливо спросил:

– И что просить надо? Вездеход, вертолёт или машину скорой помощи?

– Да то, что они тебе дать могут, – сказал Лёха.

Савелий сел на снег рядом с Лёхой, достал фляжку, самому себе так и сказал – сейчас, что ни делай, хуже не станет. Отвинтил пробку, фляжкой на вытянутой руке чуть взмахнул, как в приветствие, и крикнул что было мочи вверх:

– За духов неба и тундры!! За духов неба и тундры, слышите?! За вас!! Дорогу покажите? Город мне покажите? Город!!

Встал на ноги, глянул по ветру, куда шли. В темноту полную, в крошечную темноту, в стену снежную.

– Город!!

– Тучи сносит, – донеслось от Лёхи.

И внезапно стихло. Как-то по-сказочному стихло на мгновение, словно кто-то дунул и снег сошёл. Снег сошёл вместе с ветром куда-то вниз, темнота осталась, а снег растворился. Это длилось мгновение, это было неестественно красиво. Пурга мела, а перед ним вспыхнул огнями город Воркута. Вспыхнул так, словно Савелий на горе стоял, а город под ним растянулся. Вспыхнул на секунду в просветлении пурги, вспыхнул, как оазис в пустыне снега, холода и мрака, и пропал тут же.

– Город!! – заорал Савелий, безумно смотря перед собой в стену снежную, бушующей пурги. – Город, мать вашу!

Ухватил сани и побежал вниз с подъёма.

Бежал Савелий так, что сани дёргались от его рывков, словно лодочка, привязанная за большим кораблём. Иногда сани, срываясь с места, догоняли его и били по ногам. Савелий ничего не чувствовал, ничего не соображал. В голове сидела картинка светящегося перед ним города, картинка жизни и спасения. Ветер выл ещё сильнее, стегал порывами резче, крутил снег ещё гуще, беспросветнее, словно испугался, что Савелий убежит сейчас от него.

Город! Савелий видел город! Тот самый город, в котором прожил уже столько лет и никогда даже подумать не мог, что этот город так красив и привлекателен, так уютен и удобен для жизни. Он светился в ночи, как самый очаровательный и неповторимый город на Земле. Он вспыхнул в ночи словно звезда на тёмном небе, словно яркий месяц после чёрной и непроглядной грозы в поле, как это было у него в Полтаве... далёкой Полтаве, где ночью без месяца на небе никуда...

Савелий достал фляжку, приложился ещё на пару глотков, закусывать не стал, не до закуски сейчас... дойти! Надо дойти! Они уже рядом, уже вот-вот...

Савелий упал... Упал не потому что запнулся. Устал. Организм выдохся, сердце заходило, стучало так, словно выскочить хотело. Секунды он лежал, шептал тихо – не спать, не спать, не... Что-то толкнуло его в ноги, Савелий очнулся, открыл глаза, повернулся... сани стояли рядом, уткнувшись ему своим носом в ботинки. Сани, что... ехали до него три метра столько времени?

– Савелий! – позвал Лёха. – Не спи! Я звуки слышу...

– Что? – Савелия кто-то стеганул плетью, он поднялся, тут же склонился над Лёхой, отвернул брезент. – Какие звуки? Где?

– По металлу стучат, – сказал Лёха, тихо шевеля бескровными губами, – это вокзал, Савелий, это путейщики по колёсам... своими молотками... вот, слышишь?

Савелий не слышал, но Лёхе он поверил. Он бы не поверил, если бы не видел перед собой в низине город, светящийся огнями город. А так – поверил. Город был, они идут с юга, с юга у города находится вокзал. Город, город... Темно как. Быстрее бы рассвет, темнота давит, сознание работать не хочет, быстрее бы рассвет!

Через полчаса город не появился. Савелий достал телефон, проверил сеть – сети не было, телефон показал ему четыре часа утра.

Снежная кутерьма под утро не утомилась. Савелий отчего-то вспомнил море... Чёрное море, где он, бывало, отдыхал с семьёй летом. На море как-то утром всегда тихо, спокойно, штиль... почему море?... В Полтаве тоже есть снег, даже метель может быть, но такого снега, как здесь, нет... Если сейчас снег убрать, то окажется, что Савелий висит в воздухе на метров пять от земли... намечает в Большеземельской тундре около пяти метров снега за зиму – вспомнилось ему. Откуда это? Читал? Слышал по радио? Телевизор? Интернет? Да нет же – обычная газета.

Пот катил ручьём по лицу, по телу. Савелий опять внезапно ощутил, что ему жутко холодно, что он идёт вперёд с закрытыми глазами, что он где-то потерял свой шарф, потому что на груди подбородком не чувствовал его узел... он ведь завязал его так вот на груди... завязал, и узел этот постоянно задевал его подбородок... теперь нет... потерял шарф... шарф жалко... он денег стоит...

Если сейчас бросить сани – он дойдёт точно! У него сил ровно на двадцать две минуты, дальше всё! Сон. Холод. Забытьё.

Если сейчас бросить сани – он выживет и дойдёт до города, а там он расскажет, где сани... Найдут? А леший их знает, как они ищут?

Если сейчас бросить сани – город станет реальностью. Он увидит свет, он выйдет в город, на город, к городу... он достигнет... дети, жена... да нет же... русские своих не бросают. Это откуда такие слова? Не помню. Ничего не помню. А Лёха русский? Свой?... А разница?

Савелий упал носом в снег, упал носом в жёсткий наст, что от боли даже очнулся. Сел на колени. Смотрел бездумно, безучастно перед со-

бой. Снежное молоко, больше ничего. Снежное молоко. То есть?.. Савелий вздрогнул, всмотрелся в «даль». В голове застучала мысль – как молоко? Значит, белое? Значит... светает?.. Достал телефон – сети не было, часы показали шесть утра... утро! Как это он не заметил? Пока размышлял, как он будет здесь сани бросать, – рассвет пришёл?

Его била лихорадка от боязни, что свет сейчас исчезнет, что ему показалось, что часы врут, что он просто уже уснул и это предсмертный бред... Но свет не исчезал. Стали проглядываться вихри снега на метры перед ним. Рассвет. И здесь, словно возглашая рассвет, где-то не так и далеко ударил колокол... Колокол ударил тонким звуком, словно колокол был маленький, и звук был тоненький, короткий такой... а разве у колокола может быть короткий звук? Савелий замер. Вновь ударил колокол... Он поднялся и пошёл на звук колокола. Как так, думал он, мы что – уже в городе, возле церкви?..

Савелий быстро вскочил на ноги. Сил не было никаких. Он пошёл без сил. Организм уже давно сдох, потому Савелий шёл на сдохшем организме. Глаза ничего не видели, он шёл на звук. Мозг сейчас мог выполнять только одну работу – переставлять ноги, он и переставлял ноги.

Третий раз колокол ударил совсем рядом, Савелий поднял голову, всмотрелся и в прорывах пурги, в десяти метрах от себя увидел... тепловоз. Тепловоз... тёплое слово. За ним вагоны. Рядом стоял путеец и молотком на длинной ручке стучал по колёсам... и что ему пурга?..

...Какие-то мужики тащили Савелия под руки куда-то через пути, какие-то мужики, охая и ахая, тащили за ними сани с Лёхой, как-то быстро нашлась машина, большая какая-то машина, грузовик, автобус?.. Какой-то голос слева молвил:

– Тихо, тихо тащи, телефон у него выпал, подыми вона... сунь в карман.

Голос справа молвил в ответ:

– А что ж он МЧС не набрал?..

Голос слева:

– Так вышка же грохнулась у сотового?.. Забыл?

Только погрузились, только сели куда-то на лавку... только глаза Савелий закрыл, надо выходить. Где мы? Куда приехали? Домой? Савелий сам спуститься с машины не мог. Помогли, повели куда-то... коридор... Он закрывал глаза, его посадили в кресло в коридоре, он что-то постоянно им всем говорил – я в порядке, устал очень... Лёха... Лёху гляньте, у него голова...

Лёху унесли на носилках. Брезент и куртка Савелия остались лежать на санках, которые внесли с Лёхой в приёмный покой. Савелий остался один. Совсем один. Он достал фляжку, отвинтил крышку, хлебнул крепко. Достал сало и хлеб, закусил прилично. Сознание вернулось мгновенно. Он был в городской больнице номер один. Он сидел в коридоре приёмного покоя. Напротив него лежали его санки с брезентом, на них куртка. Савелий хлебнул ещё раз спирта, ещё раз закусил, лёг на санки и через секунду спал беспробудным сном.

Дмитрий НИКОЛОВ

Родился в 1989 году в Харьковской области. Окончил Харьковский национальный университет им. Карамзина по специальности «историк-археолог». Работал менеджером, закройщиком, фрилансером.

Прозаик, поэт. Публиковался в журналах и альманахах «Мир фантастики», «Мю Цефея» и других. Живет в Харькове.

УЛИТКА-УЛИТКА, ВЫСУНЬ РОГА

Железная трёхпалая лапа поползла вниз и схватила ничего не понимающего далматина за шею. Когда щенок поднялся в воздух, игрушечные глазки из добродушно-бестолковых вмиг стали испуганными. Другие звери смотрели ему вслед не то с жалостью, не то с завистью. Наконец лапа поползла к пластиковой загородке, за которой далматина – стоило ему сорваться вниз – его ждала свобода... Но игрушка в последний момент выскользнула из хромовых пальцев и, оттолкнувшись от загородки, упала обратно в вольер, расталкивая мягких собратьев.

Юра, стоявший на цыпочках у короба автомата, похожего на пластиковый аквариум, горестно выдохнул. Это была последняя монета – лимит исчерпан. Правдами и неправдами мальчик выпросил их три: одну у сонного и беспомощного от усталости отца, другую – у бережливой матери, третью – у бабушки, готовой отдать внуку всё. Жаль, отдавать было нечего. Нет, Юра мог бы попытаться накопить на игрушку. Но ждать месяцами было невыносимо, а тут какая-никакая надежда. От надежды до надежды жить проще. Наверное, поэтому мама с каждой зарплаты покупала три лотерейных билета.

Покачавшись немного с носка на пятку, гипнотизируя лапу, будто всерьёз надеясь, что она может прийти в движение даже без монет, мальчик побрёл домой, где его уже дожидалась бабушка. Она сидела целыми днями в кресле за спицами – распускала старые вещи и вязала из освободившихся ниток новые.

– Не повезло? – понимающе улыбнулась бабушка. – Не расстраивайся, время теперь такое – везде обман.

– Кто вообще придумал эти деньги... – пробурчал Юра, вскарабкиваясь на высокий стул – ноги его теперь не доставали до земли.

– Деньги не всегда были из железа и бумаги... – с убаюкивающими учительскими интонациями начала было бабушка. – Сначала люди просто менялись друг с другом, потом деньги заменили ценными товарами, например ракушками...

Озарение, постигшее Юру, на секунду ослепило его. Мальчик спрыгнул со стула и, не обращая внимания на продолжающийся рассказ, рванул в родительскую комнату. Там, в углу, стоял порядком запущенный аквариум – после двух смен заниматься некогда любимым хобби ни сил, ни желания у отца не оставалось. Рыбы, до которых теперь никому не было дела, вымирали по одной, и мама время от времени вылавливала их трупики сачком. Вода цвела и казалась от этого вязкой, желеобразной. Наконец, в аквариуме во множестве расплодились улитки. У некоторых ракушки выглядели весьма внушительно, но главное – они были круглые и сплюснутые с боков, а оттого так похожие на монеты...

Открытие это показалось Юре очевидным и гениальным одновременно. Неужели никто, кроме него, ещё не слышал про деньги-ракушки? Или взрослые просто оказались недостаточно сообразительными, чтобы увязать одно с другим? Мальчик забрался на стоящий рядом диван, а оттуда на подлокотник и перегнулся через стекло аквариума, выискивая самую большую ракушку. Азарт был так велик, что Юра забыл закатить рукава, и они сразу стали неприятно-тяжёлыми. Впрочем, смутить его это не могло – мальчик нащупал то, что искал. Рванув руку на себя, он не сумел удержать равновесие – аквариум качнулся и смачно плеснул на пол. В соседней комнате закричала, поднимаясь с кресла, бабушка, и Юре, хоть он не собирался останавливаться на одной улитке, пришлось скрываться. Подхватив мокрыми руками кеды, мальчик успел выскочить босиком на лестничную клетку аккуратно в тот момент, когда бабушка прошаркала по коридору у него за спиной.

До рынка, где примостился у грязной стены новёхонький автомат с игрушками, было от силы десять минут, а бегом Юра управился за пять. Навязчивый, горчащий в сладости предвкушения вопрос: «удастся ли?» разрешился, когда мальчик примерил ещё влажный пяточок раковины к монетоприёмнику – она подошла идеально до невероятности, как туфелька к ножке Золушки. Улитка втянулась в ракушку что было мочи, Юра напоследок аккуратно погладил её мускулистую слизкую присоску и опустил заново открытую им валюту в прорезь.

Автомат недоверчиво заворчал. Мальчику на миг показалось, что сейчас, ещё через секунду, клешня оживёт. Он даже зажмурился от предчувствия. Но чуда не произошло.

Когда Юра вернулся домой, бабушка замывала последние разводы на полу. Она бросила тряпку в ведро и нависла над внуком, впрочем, без всякой угрозы – беззлобно и устало.

– Ты что в аквариуме искал?

– Это не я...

– А у меня есть улика, – бабушка взяла Юру за влажный ещё рукав.

– Улитка? – переспросил мальчик. – Как ты узнала про улитку?

Несколько секунд бабушка молчала, как автомат, в который только-только положили монету; внутри неё было тихо, потом заскрежетали шестерёнки, и бабушка пришла в движение. Натруженная стальная рука опустилась на голову мальчика и сжала её, но вверх не потянула. На её задумчивом лице морщины преумножила понимающая улыбка. Наконец бабушка разразилась звонким лязгающим смехом. Отсмеявшись вволю, она вновь стала благодушно-серьёзной.

– Значит, так. Я никому ничего не скажу, но ты, Юрок, пощади других улиток, пусть живут.

– А она что, умерла? – глаза мальчика налились слезами от такой неочевидной и страшной участи, уготованной им хозяйке ракушки.

– Нет-нет, – поспешно возразила бабушка. – Не переживай. Просто теперь она будет жить внутри автомата. Вот и всё.

Бабушка сдержала слово – родители ни о чём не узнали. Впрочем, Юра уже взвалил на себя груз, пусть не вины, но ответственности. Лёжа в ночном бессонье, он пришёл к выводу, что теперь, когда улитка застряла внутри железного механизма, ей будет решительно нечего есть. Поэтому следующим утром за завтраком попросил маму нарезать огурец кружочками и, положив один кругляш в рот, как можно незаметней спрятал остальное в карман. Доев и дождавшись, пока до него окончательно никому не станет дела, Юра побежал на рынок и накормил автомат через монетоприёмник аккуратными огуречными пятакими. Последний кругляш внутрь не поместился – так и остался торчать наполовину. Уже подходя к дому, мальчик с удовольствием отметил про себя, что даже не посмотрел на груду гипнотизировавших его прежде игрушек.

С тех пор едва ли не каждый день Юра неизменно отправлялся к автомату и кормил улитку. Он опускал ломтик так любимой им, но сэкономленной усилием воли, копчёной колбаски в прорезь и прикладывал ухо к щитку рядом. Иногда мальчику казалось, что он слышит, как улитка с аппетитом посасывает подношение, иногда до него доносилось лишь собственное сердцебиение, а порой он не отличал первого от второго...

Юра не помнил, сколько дней или месяцев прошло, прежде чем он заговорил с автоматом. Сначала Юра больше спрашивал. Интересовался, что улитка любит из еды, не тесно ли ей, не скучает ли она по аквариуму, о чём она думает и не донимают ли её глупые дети со своими монетами. Тогда Юра ещё стеснялся и отпрыгивал от автомата, как только замечал, что кто-то смотрит на него, приобнимающего пластиковую коробку, но вскоре всякое стеснение оставило его. Он спрашивал снова и снова, хотя улитка не спешила отвечать или, что, в общем, одно и то же, отвечала на тихом непонятном языке шорохов, который Юра не мог разобрать. И тогда он решил говорить сам.

Говорить о том, о чём не мог говорить ни с кем. Об отце, вкалывающем с утра до ночи и от снятия стресса к обеду воскресенья не вяжущем лыка. О матери, которая после работы шла на стихийный огородик неподалёку и полола вялую ботву. О бабушке, сильно сдавшей за последнее время и теперь почти не поднимающейся с кресла. О том, что ему нечего надеть в школу. О том, что его и без того дразнят одноклассники. О девочке Маше, которой он, тут же проклиная свои несбыточные надежды, подарил на Восьмое марта букетик жухлых мимоз...

Впрочем, от этих односторонних бесед Юра испытывал удивительное облегчение. Впервые в жизни он почувствовал, что у него есть друг. А друзья должны заботиться друг о друге.

Хотя они с бабушкой никогда, кроме того, самого первого, раза, не обсуждали участь улитки, она поняла о чём речь почти сразу.

– Я расту. И улитка, наверно, тоже растёт. Боюсь, ей скоро станет совсем тесно. – серьёзно отчеканил мальчик. – Думаю, надо разобрать автомат.

– Ну какое ещё разобрать, Юрочка? – по лицу бабушки было видно, что сперва она растерялась, но довольно быстро нашлась: – Когда улитка подрастёт, она сбросит свою старую раковину и выберет себе новое место для жилища. Может быть, через двадцать лет она займёт весь автомат целиком!

Мальчик не знал верить бабушке или нет, но звучало это потрясающе. Он представлял, как подойдёт однажды к автомату и произнесёт

заветное заклинание из детской книжки: «Улитка-улитка, высунь рога», и весь автомат зашатается, придёт в движение...

Произнести заклинание он так и не решился – слишком велик был потаённый страх, что ничего не произойдёт, как тогда, в первый раз, когда он опустил ракушку в монетоприёмник. Зато впервые хвастовство богатеньких одноклассников не раздражало и не уязвляло Юру – что такое тамагочи? Глупость, фикция, подделка. Разве может тамагочи сравниться с настоящим, живым автоматом, внутри которого спрятан от досужих взглядов его друг, его любовь, его тайна. Улитка никогда не осуждала мальчика, не спорила, не обижалась, даже если он изредка позволял себе лишнего.

В последний раз Юра разговаривал с улиткой после похорон бабушки. Ну, как разговаривал? Подвывал, вытирая слёзы и впервые не ощущая прежней поддержки, пока наконец не почувствовал себя глупо. Это было в конце девятого класса. Потом Юра ушёл из нелюбимого класса в ПТУ, где всякие мысли об улитках стали окончательно казаться ему идиотскими. За стаканом портвейна, обнимая пусть самую страшенькую на курсе, но девчонку, он и поверить не мог, что когда-то обнимался с ящиком, набитым дешёвыми и некрасивыми, как он отчётливо теперь понимал, игрушками, к тому же доверяя ему свои тайны. В ПТУ всё было циничней и вместе с тем честнее.

Может быть, потому Юра спокойно перенёс смерть отца, пришедшуюся как раз под выпускной? А может быть, дело в том, что отец, в отличие от бабушки, был для него скорее малознакомым соседом, с которым они изредка сталкивались на кухне. Но не было худа без добра – не в силах смотреть на сохнущую от горя мать, Юра решил подать документы в столичный политех. Вся жизнь до этого дня стала казаться Юре чужим воспоминанием, по ошибке пересаженным в его голову.

Десять лет спустя он открыл дверь опустевшей квартиры ключом, который, к большому Юриному удивлению, подошёл. Прошёл, не разуваясь, по пыльным половикам, провёл взглядом по изъеденным энтропией обоям, по фотографиям в рамках, на которых был теперь единственным оставшимся в живых. Он уезжал, чтобы начать новую жизнь, но для чего он вернулся? Не вернуть же старую, в конце концов. Нет. Нет обратного пути. Юра оглядел запёкшуюся пыль на донцах стаканов в серванте и достал из пакета пластиковые, а вслед за ними бутылку водки. Вначале всегда чуть-чуть трудно – приходится себя заставить, но потом вкус и запах исчезают – остаётся забвение.

Выпивая, Юра листал газеты. Несмешные анекдоты, отупляющие кроссворды, советы огородникам, народные рецепты для самолечения... Глаз загнулся о слишком контрастное чёрно-белое фото на первой полосе. Щербатая стена рынка, кусок вывески в виде буквы «К», тёмный проход, перетянутый полосатой сигнальной лентой... И в самом углу знакомый до сухоты во рту аквариум автомата. Юра пробежал глазами новость, где было что-то про конфликт хозяина рынка с коммунальщиками, запрет на отключение рынка газа, света и воды из-за общей системы с соседней многоэтажкой, про последовавшую тяжбу и попытку рейдерского захвата третьими лицами...

Юра подумал, что даже если город накроет цунами, а следом на него сбросят пару атомных бомб, посреди пустыни бетонной крошки останется стоять и мигать лампочками один этот дурацкий автомат. Он включил телевизор, пролистал под новости семейный альбом, слазил на антресоли за последней маминой консервацией. Но что бы Юра ни делал, мысли вновь возвращали его к фантазиям из прошлого.

Он сам не понял, как оказался у автомата – вышел вроде за сигаретами, а ноги сами привели на окраину рынка. За прошедшие годы Юра почти сумел убедить себя, что не мог быть таким идиотом даже в детстве, что автомат – всего лишь выдумка, самообман. Но пластиковый ящик, хоть и заметно потрёпанный временем, стоял у неизменно облупленной стены. Юра крепко хлопнул ладонью по изъеденному трещинками пластику; краска на боках облезла, подсветка мигала слабым безжизненным светом.

«Удивительно, что он всё ещё здесь, даже игрушки как будто никто не сменил за эти годы», – подумал Юра и добавил вслух:

– Давно не виделись, дружище, как жизнь? Как обычно? А у меня новостей, знаешь...

Само собой, он не стал бы сейчас исповедоваться перед этой коробкой, но прошлое, от которого Юра так тщательно пытался отгородиться, возвращалось. Его дочь – маленький пушистый подсолнушек. Его жена – вначале всего лишь молодая студентка, зато с пропиской, потом – бережливая, прижимистая, хапливая, скупая, скаредная, ненадная, жадная, сквалыжная, крохобористая, алчная... И он, так и не сумевший перешагнуть сословные рамки, оставшийся простым работягой, как его отец. Дочери Юра, конечно, купил столько игрушек, сколько поместилось в детскую. Впрочем, от развода его эта гиперкомпенсация не спасла – слишком надеялся он на удачу, даже сам не замечая, что сменил невинное детское чудачество на взрослый порок – всё чаще вечерами он бездумно бросал один за другим жетоны в прорезь игрового автомата и нажимал на кнопки, гипнотизируя комбинации, мелькающие на экране.

И вот Юра стоял теперь здесь, а слёзы, надоевшие, почти не вызывавшие подлинного чувства – жалость к себе по определению к такому не относится, – катились по его лицу.

– Улитка-улитка, высуну рога, – сказал Юра, сам не зная почему и зачем.

Автомат отозвался мгновение спустя гулким треском – пластик на его боках раздался в стороны. Курган игрушек зашевелился, и из-под него показались два слизких перископа, а после и без того расходящаяся по швам конструкция пришла в движение. Продолжая скрежетать и трещать, автомат отполз от стены, оставляя за собой след густой слизи. Крепежи на пластиковых прозрачных щитах разлетелись, и те распахнулись на все четыре стороны; игрушки скатывались по ним на землю, как пассажиры самолёта с аварийных трапов. Над коробкой приподнялась блестящая мускулистая голова, с интересом оглядевшая мир вокруг себя. Улитка добралась до ближайшей мусорки и, перевернув её, полакомилась содержимым, после чего, легко порвав натянутую на ночь поперёк прохода полосатую ленточку, скрылась под сводами рынка.

Юра стоял посреди усыпанной игрушками улицы и думал только о том, что кинь он много лет назад улитку совсем в другой – игровой автомат, теперь всюду лежали бы деньги, как в мультике про Золотую Антилопу.

Наутро произошедшее показалось ему сном. Только с тумбочки смотрел на Юру растерянными глазами чумазый щенок далматина.

ГРУСТНАЯ ШУТКА

- Давай шутку напоследок расскажу, но ты только не смейся...
- *Разве шутки не для этого нужны?*
- Далекое не все. Эта – грустная. Я коллекционирую грустные шутки и анекдоты, они на человека как лакмусовая бумажка действуют – один засмеётся, другой задумается...
- *А третий спросит, что такое лакмусовая бумажка. Ладно, рассказывай уже свою шутку.*
- Нет, не проси. Прошло настроение.
- *А анекдот?*
- Знаешь, что приходит в голову человеку, которого просят рассказать анекдот?
- *Всё что угодно, кроме анекдота?*
- В точку.
- *Ты всё-таки странный.*
- Но ты ведь так считаешь не из-за анекдота?
- *В точку.*
- Может, объяснишь тогда?
- *Настроения нет.*
- Как скажешь.
- *Может, постим по очереди?*
- Вдруг война, а я уставший?
- *Тип того.*
- Не хочу. Точнее, спать хочется, но я не хочу ложиться. Эх, великий и могучий... Одним словом, лежу и спать хочу, но ложиться и спать – нет. А вот от хорошей соляночки я бы не отказался сейчас. Пусть даже столовской, главное – чтоб горяченькой, жирненькой, остренькой. Чтобы копчёненькое плавало и обязательно на сметановом островке посередине треугольничек лимона и лоснящийся глазок маслины...
- *Попридержи фантазию, а то урчала наши за километр слышны будут.*
- А если ещё и запотевшую поставить рядом... Ладно, не урчи, это я так, помечтать. Встретил бы ты меня полгода назад, увидел бы как я стейками перебираю. Хотел бы сейчас, чтоб на два пальца толщиной да медиум-рейр?
- *Не знаю, не отказался бы, наверное. Я стейк не ел никогда. Чего глазами хлопаешь? В моём посёлке ресторанов нет.*
- Извини... Знаешь, я ведь не сноб какой-то. Сам из провинции, десять лет назад ещё палец сосал и не мечтал когда-нибудь деньгами разжиться. Думал, как это говорится, корни не забуду, но бытие определяет – рамки понемногу раздвигаются...

- Не объясняй, я понимаю.
- Завидую людям вроде тебя – пары слов достаточно, чтобы всё сказать. А я вечно усложняю – по десять отговорок, ответвлений...
- Зато слушать интересно.
- Правда? Никогда бы не подумал. Мне казалось, ты больше из вежливости терпишь.
- Мне до тебя Лёнчика в пару ставили, так у того разговоры были только о бабах.
- Сколько лет твоему Лёнчику?
- Двадцать два.
- Оно и понятно – молодой совсем. Ничего, поумнеет ещё.
- Не поумнеет. Уже.
- Прости... Всё-таки есть у тебя характер этой земли. Прямота. Немногословность. Одним словом, ты – её сын. А я...
- Раз уж сам начал...
- А, так в этом дело. Хочешь знать, почему я сюда приехал?
- Ты говорил почему, но это ведь общие слова. Так в книжках пишут. И все, кто приехал, почему-то их повторяют.
- А ты не веришь?
- Верю, но... Мне это трудно понять просто.
- Думаешь, от скучной жизни?
- У тебя бизнес был...
- Бизнес был, а дела не было. А русскому человеку дело позарез надо – ему бизнеса не хватает. Одно и то же слово на двух языках, а смысл разный. У человека может быть дело жизни, а бизнеса жизни быть не может, понимаешь?
- А семья? Жена, сын...
- Ты вот, говоришь, не понимаешь, почему я приехал. А тех, кто уехал, выходит, понимаешь – у них ведь тоже жёны, дети...
- По чесноку? Понимаю. Таких понимаю. Презираю, ненавижу иногда, но понимаю.
- Мне нравится твоя прямота. Но я... Кроме этих книжных слов ничего у меня и нет. Мы ведь, ну, наше с тобой поколение по крайней мере – книжный народ. Как у Высоцкого, помнишь – «значит, нужные книги ты в детстве читал». Мы, когда о важном говорим – мы всегда по-книжному. Будешь всерьёз со своей ругаться в следующий раз – послушай сам себя, удивишься, обещаю – такая патетика пойдёт. Или я вот ввязался однажды в потасовку стенка на стенку. Стоим локоть к локтю, накатываемся, все осторожничают. Ну я и пошёл на прорыв – смазал одному по скуле. Приятное чувство, знаешь, всё замедленно так, красиво. А потом понимаю, что меня за руку ухватили и в их, вражескую толпу утаскивают. Тут медлительность уже в обратную сторону играет – как будто тонешь, но медленно-медленно в толпе врагов и уже понимаешь, что сейчас будут рвать на части... Так вот, что ты думаешь я тогда кричал? Как, по-твоему, надо было кричать?
- Я б кричал просто: помогите.
- Может быть... Может, ты так и кричал бы. А я срывающимся таким голоском – храбрость уже съежилась, улетучилась – и крикнул своим на ту сторону, одно только слово: братцы!
- Тише ты.
- Извини, забылся слегка. Так вот, когда ты в речи последний раз использовал слово «братцы»?
- Не знаю. Никогда, наверно.

– Вот и я, думаю, никогда не использовал. Оно откуда-то из глубины – из романов про Разина или из эйзенштейновского «Невского» наконец. Книжное, как ты говоришь, словечко. Вот бывает, настают такие времена, когда только книжные слова и остаются. Или они, или один только мат кромешный без разбору – и ничего посередине. Не подходит то, что посередине, понимаешь? Поэтому сейчас строчки из «Тараса Бульбы» или из «Белой гвардии» звучат так, будто это не Гоголь с Булгаковым, а Саня с Анатолием Михалычем разговаривают.

– *Про гвардию прочесть надо.*

– У меня с собой книга. Ну не прям с собой, ты понял. Вернёмся – дам.

– *Вернёмся...*

– Я, кстати, анекдот вспомнил грустный. Хочешь еще? Так вот, смысл такой: попадает мужик после смерти к Богу и говорит ему, мол, прожил я долгую жизнь, а зачем жил, в чём цель и смысл – непонятно. Ну а Бог ему и отвечает – тут для комичности всё начинает затягиваться – помнишь, как ты ехал тридцать лет назад на поезде оттуда-то туда-то? Мужик вроде помнит. А помнишь, Бог продолжает, соседа по плацкарту? Наверное, был сосед, соглашается мужик. А помнишь, тебя за перекусом соль попросили передать? Мужик растерян, но допускает, что могли и попросить. Ну вот, говорит Бог.

– ...

– Хорошо, что ты не смеёшься. Одним словом, не хочу я как этот мужик, понимаешь? Не могу. Я спать хочу, но не сплю, и жить хочу, но сюда приехал. Это безумием может показаться, но только на первый взгляд – есть в этом своя логика. Мне жена поначалу тоже говорила – жить не хочешь? А я хочу! Страшно жить хочу. Потому и приехал. Иначе какая это жизнь, если ты её за то, что правильным считаешь, отдать не можешь?

– *Слушай, ты прости, что я так... Я же не сомневаюсь ни в тебе, ни в других ребятах – спину доверяю...*

– Ерунда, не бери в голову. Хорошо поговорили зато. Поспи, я тебя, если устану, часа через три разбужу.

– *Даже если не устанешь – буди. Говорят, завтра в атаку пойдём.*

– Ещё вопрос, кто первым пойдёт.

– *Прямо по ходу рай...*

– Что говоришь?

– *Да песня такая есть. Её Лёша на гитаре играет. Слова там такие. Слева по борту рай, справа по борту рай, прямо тоже. Кругом рай, короче. Других слов не помню, там хорошо тоже, но хитро, а Лёша редко играет после ранения – контрактура у него или что-то вроде того.*

– Лёша – это который расстрига? Интересный парень. Слышал от него удивительную ересь... Да ты не понял – в прямом смысле ересь, как отказ от догматов, канонов... Русское религиозное сознание вообще тяготеет к ереси. Особенно там, где Бог совсем близко, – на войне например. И вот у него есть свой взгляд на всепрощение – он верит, что ада в нашем понимании нет, что Бог прощает всех грешников.

– *Даже Гитлера и Чикатило?*

– Вообще всех. Те, на ком пустяки всякие, сразу вольную получают, а настоящим грешникам Он, дескать, глаза на содеянное ими открывает, а потом они со своим осознанием, с новой очищенной совестью

живут и страдают. Но не потому, что Бог зол на них, а потому, что они сами себя простить не могут, понимаешь?

– *Выходит, и врагов наших такой бог простит?*

– Выходит.

– *А зачем тогда Лёша с ними воюет?*

– Я тоже спросил из научного интереса, а он смеётся в ответ: на Бога надейся, а сам не плошай. Потому и расстрига. Шутку всё ещё хочешь? Теперь будет кстати.

– *Поздно. Видишь? В зелёнке. Глаза ползут. Передай по танку.*

– Порядок. Их встретят. Слушай, а хорошо у тебя получилось.

– *Что получилось? Чего ты скалишься?*

– Про глаза в зелёнке и тапок. Это же строки, достойные Хармса.

– *Кого?*

– Неважно. Одним словом, для кого-то здесь эти фразы – приговор, погибель. А расскажешь ребёнку – смеяться будет. Мир вообще состоит из безумных контрастов, и здесь это особенно видно. На окраине война, а в городе люди живут как ни в чём не бывало – влюбляются, учатся, в клубы ходят... Жалко, Балабанов умер, и теперь никому про это снять не под силу.

– *Теперь для этого ютуб есть – берёшь и снимаешь...*

– К сожалению, этого недостаточно. Иногда для того, чтобы ухватить действительность, просто необходимо художественное искажение.

– *Так ты оправдываешь себя за то, что третий год не можешь закончить эту историю? За то, что не можешь хотя бы перечислить черты моего лица и описать закат над полем, где мы, где я...*

– Есть истории, которые нельзя закончить.

– *Потому что они уже закончились.*

– И всё-таки...

– *Смирись. Сколько раз ни повторяй этот разговор, закончится он одинаково.*

– Давай шутку напоследок расскажу, но ты только не смейся...

Евгений СТЕПАНОВ

Прозаик, поэт, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института, Университет христианского образования в Женеве, аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Главный редактор журнала «Дети Ра» и портала «Читальный зал».

Печатался в журналах «Наш современник», «Нижний Новгород», «Нева», «Знамя», «Дружба народов», «Звезда», «Урал», «Юность» и во многих других изданиях. Автор нескольких книг прозы и стихов. Лауреат премии имени А. Дельвига («Литературная газета») и премии журнала «Нева».

Живет в Москве и поселке Быково, Московская область.

АМЕРИКАНСКИЕ ХЛЕБ С МАСЛОМ

С Аришкой, загадочной красавицей из Питера, мы познакомились в девяностые годы на какой-то вечеринке у общих друзей. Дело было в постперестроечном холодном и неухоженном (тогда) Ленинграде. Я пригласил девушку в Москву, в гости.

Приехала девушка на выходные, а осталась надолго.

Рано утром я уходил на работу – я тогда был заместителем директора в крупном рекламном агентстве. Зарабатывал деньги.

Когда я возвращался домой с работы, Аришка кормила меня сытным ужином, потом мы уходили в театр или на концерт либо оставались дома. Жили мы тогда на 3-й Тверской-Ямской улице, в квартире гостиничного типа, среди других неординарных и вовсе небогатых – как правило, сильно пьющих! – личностей. Квартира хоть и в центре, но крошечная – всего девятнадцать квадратных метров. Богатые в таких не живут.

Аришкин лексикон меня изумлял, как и весь ее образ жизни. Слова она творила. Я уважал ее, как Хлебникова. Ну чего стоит, например, «ушляндия»! Или такие словосочетания, как «свободные уши» (то есть человек, который охотно слушает собеседника), «зацепились языками» (разговорились)! А фраза «куй железный, пока горячий» поражала меня как филолога своей глубинной полисемантической. Возможно, конечно, что все эти перлы придумала не сама Аришка. Но, во всяком случае, аккумулировала она в себе нестандартные, яркие вербальные образы несравненно. При этом надо заметить, что никакого образования она не получила, на работу никогда регулярно не ходила, занималась (кроме того, что сдавала квартиру, доставшуюся ей по наследству от дедушки-военного) мелкой спекуляцией...

Красота Аришки меня пугала. Длинноногая, кареглазая, молодая (ей тогда было двадцать восемь лет). Светлые волосы до плеч.

Я боялся, что она от меня уйдет и я лишусь не только приятной спутницы жизни, но и милой носительницы русского новояза, за которой я иногда записывал всевозможные слова и выражения. Корыстный меркантильный интерес (интерес литератора) подогревал мои любовные чувства. Я не считал и не считаю, что это плохо. Мне представляется, что в основе любой поэзии (если широко!) лежит проза. А прагматичные союзы наиболее прочны.

Потом неугомонной Аришке жить в Москве надоело. Она организовала нам приглашения в Штаты. И мы оказались в Чикаго, городе Аль Капоне и героев кровавого балабановского фильма «Брат-2». В польском-мексиканском районе (на окраине) сняли комнату в коммуналке, хозяйка Аня, американка польского происхождения, брала с нас черным налом 250 долларов. Аришка (оказалось, что она наполовину еврейка) устроилась благодаря помощи друзей из синагоги кергивером в русскую (иудейскую) семью. Платили ей по тем временам очень хорошие деньги – две тысячи в месяц. Работа кергивером – довольно распространенная в Америке. Это уход за пожилыми людьми. Моя спутница жизни ухаживала за бывшей одесситкой Беллой Моисеевной, которой было 82 года. Аришка должна была помочь ей встать утром, пообщаться на отвлеченные темы, подать стакан воды. При этом уборщица и повариха оплачивались отдельно. Аришка могла есть все, что лежит в холодильнике. Проблема заключалась в том, что находиться у Беллы Моисеевны надо было шесть дней в неделю, и только по воскресеньям (в выходной) Аришка приезжала ко мне, в нашу комнату.

Я скупал без подруги.

Впрочем, бизнес в Америке превыше всего. Тем более что работа была посильной, не изнурительной и хорошо оплачиваемой. Белла Моисеевна оказалась очень общительной и с утра до вечера с ностальгией вспоминала любимую Одессу и ругала «проклятые» Штаты, куда ее привезли дети-программисты.

– Лучше бы я сидела дома, шо я тут не видела, – возмущалась бывшая одесситка. – Тю, поговорить за жизнь не с кем! А если есть – тильки за баксы...

Российское телевидение работало в ее дома почти круглосуточно. Американской жизнью Белла Моисеевна практически не интересовалась, хотя получала всевозможные пособия от своей новой Родины.

Я жил, по сути, один, Аня (моя домохозяйка) этим пользовалась и практически не включала паровые котлы, которыми отапливался ее большой трехэтажный дом. Мы с другими квартирантами (рижанкой Галей, крутившей баранку такси) и киргизом Ашымом (он работал водителем-дальнобойщиком) иногда робко пытались устраивать забастовки и грозили Ане, что переедем в другой дом. Тогда она на время включала отопление.

Правда, когда в воскресенье приезжала Аришка, в доме было всегда тепло. Аня побаивалась Аришку.

Я сделал несколько попыток устроиться на постоянную работу, но безуспешно. Кергивером меня не брали, на стройку приглашали помощником кровельщика, но у меня с детства боязнь высоты, в итоге я иногда подрабатывал с друзьями-мексиканцами на работах по озеленению частных домов – косил траву электрической газонокосилкой, убирал листву, подстригал кусты. В день я зарабатывал примерно 50 долларов.

На жизнь нам с Аришкой хватало.

По воскресеньям мы ходили в польский либо китайский буфет (недорогой ресторан, работающий по принципу шведского стола), наедались там от пуза либо ездили в даунтаун (центр), катались на коньках на искусственном катке, несколько раз даже были в знаменитом Чикагском художественном музее (Арт-институт), где любовались картинами Шагала, Кандинского, Дали...

Ночами слушали арии, которые распевали обосновавшиеся в соседнем доме голосистые и непосредственные мексиканцы.

Так бы мы и жили в Чикаго, но жизнерадостная Белла Моисеевна как-то быстро стала гаснуть на глазах, почти полностью отказалась принимать пищу, пила только воду и вскорости, видимо, от тоски и голода, ушла в мир иной. Диагноз врачей был лаконичный и беспощадный – сердечная недостаточность.

Аришка потеряла работу.

Мы стали думать, что делать дальше?

У нас были небольшие сбережения. Месяца два Аришка пыталась найти работу, но, увы, не получилось. И мы приняли решение поменять в очередной раз место жительства.

Мы переехали в Нью-Йорк. Поселились на Брайтоне, на Корбин Плаза – знакомые русские нам опять-таки сдали комнату.

Я стал, как проклятый, писать статейки в эмигрантское «Новое русское слово», платили мне тогда, в середине девяностых, 30–50 долларов за статью. Аришка работала уборщицей, мыла полы в богатых домах. Получала примерно тысячу.

Мы начали вживаться в нью-йоркскую жизнь, связи с Чикаго и даже с Россией особенно не поддерживали.

Я стал ходить на литературные вечера, выступал с чтением стихов в различных артистических клубах, меня изредка приглашали читать лекции о современной русской литературе в университеты на кафедры славистики.

В общем, как-то мы перебивались.

Однажды нам позвонили из Петербурга.

– Аришка, Женька, приветтики, это Светик, – защебетала наша общая питерская знакомая, работавшая в городе на Неве парикмахершей и откуда-то узнавшая наш телефон. – Я узнала, что вы в Нью-Йорке... А я получила приглашение в Штаты. И, как ни странно, мне визу дали. Я уже и билет приобрела. Встречайте! Я у вас поживу. Прилетаю в четверг в аэропорт Кеннеди в 12.00 по нью-йоркскому времени, рейс 1518.

Мы напряглись. Что значит – поживу? Почему именно у нас? Как долго?

Но Светка уже положила трубку.

– Ничего, Женья, – сказала решительная и добрая Аришка, – мы, русские, своих не сдаем, сейчас спустись в бейсмантик, я там давно припрятала на всякий пожарный случай надувной матрасик. Постелим ей в уголочке, в четверг возьмем трейн, потом на басике доберемся до аэропортика. А что делать? Мы должны дорожить своей репутацией, а то потом еще скажут в Питере, что Аришка не гостеприимная. Маленький Светку не бросит.

Я покорно пошел в бейсмант, то есть в подвал, и притащил в нашу комнату хороший надувной матрас.

Встретили мы в аэропорту Светку, пухленькую, губастенькую молодку лет двадцати пяти. Привезли в нашу брайтонскую комнату. Стали думать – куда бы ее пристроить, к какому делу приобщить? Она,

увы, ничего толком делать не умела. А парикмахеров в проклятом Нью-Йорке – как собак нерезаных.

Как может устроиться женщина, если она совсем ничего не умеет? Правильно, нужно найти приличного мужчину. Главное, не жадного.

Стали мы Светке кавалеров искать. Я сначала всех своих знакомцев, писателей-евреев, в гости пригласил. По очереди, разумеется. Двух-трех невзрачнейших ребят Светка с Аришкой сразу отвергли. А вот один из последующих произвел весьма яркое впечатление.

– Джозеф, – представился жених, – я еврей, ортодоксальный, на счету у меня триста тысяч долларов США.

Годовой доход – сто пятьдесят тысяч долларов США. Работаю программистом в крупной компании, в свободное время сочиняю стихи. Я имею кооперативную квартиру из трех комнат в Квинсе стоимостью семьдесят пять тысяч долларов США и дом из шести комнат на южном побережье стоимостью четыреста тысяч долларов США. В Союзе меня звали Иосиф. Здесь я все изменил. Даже имя. В Америке я уже двадцать пять лет. Справка о том, что не болею венерическими болезнями и СПИДом, у меня с собой. Теперь вы, кажется, знаете обо мне все. А сейчас вы расскажите, пожалуйста, о себе!

При этом он посмотрел почему-то на Аришку.

Аришка смутилась. И сказала, что она моя герл-френд, а невеста у нас – Светка.

Пока Светка что-то мычала невразумительное о себе, мы с Аришкой старательно подливали им чаек в чашечки и подкладывали в блюдца русские дорожные шоколадные конфеты.

На следующий день Джозеф и Светка сходили в ресторан. А еще через день она к нему переехала.

Мы вздохнули.

Однако ровно через недельку Джозеф привез Светку с вещами назад. И прорычал:

– Юджин, вы меня обманули. Вы сказали, что ваша знакомая – порядочная девушка, но она же выпивает, да-да, выпивает, и здорово! Короче, она жрет как лошадь...

Светка рыдала:

– Я что, вещь, я вещь? Чтобы меня так перевозить с места на место!

Гадкий Джозеф оставался неумолим.

Мы опять стали жить втроем.

Вскорости я догадался, как избавиться от Светки, и деликатно подсунил девушке мое любимое «Новое русское слово», где всегда в изобилии печатались брачные объявления.

Светка позвонила по некоторым указанным телефонам.

К нам опять стали ходить женихи. Один даже было согласился взять Светку к себе. Но вскоре опять нарисовался Джозеф и... сделал (о, таинственная еврейская душа!) Светке официальное предложение. Ее руки он попросил у меня.

Светка и Джозеф уехали через полгода в штат Висконсин. Джозеф получил там более высокооплачиваемое место. А через два года он умер от внезапной пневмонии. Все его деньги и недвижимость, разумеется, перешли к Светке. И она сделала нам с Аришкой хороший подарок – две тысячи долларов. Мы долго думали, как их потратить, и придумали. Мы купили билеты домой. Домой, в Россию.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В маленьком и романтичном городке Рассказово, расположенном в Тамбовской области, я оказался тридцать пять лет назад по воле судьбы (иначе тут и не скажешь). Встретил прекрасную девушку, влюбился, женился, теща с женой радушно взяли меня в примаки и ни разу ничем не попрекнули, тут у нас с женой родилась дочка Настя, родилась она в роддоме, который раньше, до революции, был храмом. Работали мы с Наташей в школе учителями, я подрабатывал в газете, публиковал материалы на всевозможные темы. Тогда, тридцать и более лет назад, городок наш был совсем заштатный – несколько магазинов, две школы, библиотека, кинотеатрик, храм и горком на центральной площади, рынок... Конечно, мы тогда не роскошествовали, но жили, как я сейчас понимаю, хорошо, с женой никогда не ссорились, о быте особенно не думали, продукты покупали и в магазинах, и на рынке. Летом всегда было много клубники, гранатов, яблок и груш, круглый год на рынке частники продавали хорошее мясо.

А потом нам с Наташей стало почему-то тесновато в заштатном городке, захотелось, как говорится, и мир посмотреть, и себя показать. Мы уехали в Москву, прожили там пять лет, помыкавшись вдосталь, стали ссориться, рушился Советский Союз, рушилась эпоха, люди теряли всяческие ориентиры, я стал ходить налево, чего никогда не делал в провинции. Короче, развелись. Я потом и вовсе уехал в Америку, где несколько лет был обычным рабочим, а потом даже занимался риелторским бизнесом, да и жена не растерялась, быстренько выскочила замуж за гражданина Германии и упорхнула вместе с ним, своей мамой и нашей дочкой в Германию.

Надо отдать должное Наташе – она не разлучила меня с Настей, мы все сохранили прекрасные отношения. И даже стали ездить в гости друг к другу, они ко мне – в Москву (большую часть времени я все-таки проводил в России) и Америку, я – к ним в Германию, в Берлин, где вскорости приобрел себе небольшую квартиру.

Время шло, Настя вышла замуж, родила дочку, соответственно нашу с Наташей внучку, и в один из моих приездов в Германию мы все (Наташа, ее мама, Настя, ее муж и дочка) решили съездить в Рассказово, благо там у Наташиной мамы до сих пор оставалась просторная четырехкомнатная квартира.

И спустя тридцать лет мы вновь оказались в черноземном райцентре.

Городок мы с Наташей и бывшей тещей не узнали. Вокруг стояли добротные особняки, новый Сбербанк, небоскрежный Пенсионный фонд, сетевые магазины «Пятерочка», «Магнит», «Дикси», «Бегемот», множество небольших лавочек... Поразили величественный отреставрированный храм, ночная иллюминация города, многочисленные сервисы, включая недорогое и расторопное такси.

– А ведь здесь вполне европейская цивилизация, – сказал мой зять Кубера.

– Да, согласен, – ответил я. – Все-таки капитализм оказался жизнеспособной силой.

Я обзвонил своих старых знакомых, они пришли к нам в гости.

Выпили, закусили.

– Я живу неплохо, – сказал Серёжа, мой приятель пятидесяти пяти лет, мы с ним раньше вместе в школе трудились, он тогда был завхозом, – работаю электриком. Жена работает в областном центре. Зарплата у меня небольшая – восемнадцать тысяч рублей, то есть двести с лишком долларей, но по нашим меркам это неплохо. И самое главное, у нас свой огород, участок двадцать соток, все выращиваем. И капусту, и картошку, и помидоры, и огурцы, в этом году даже арбузы уродились... Конечно, хотелось бы зарплату побольше, тридцать тысяч меня вполне бы устроили.

– Но такую работу, наверное, найти трудно? – спросила Наташа.

– Вот и вот-то, – на местном говорке ответил Серёжа. – На работу пятидесятипятiletних берут неохотно. Вы-то помоложе, поди, еще этого не чувствуете.

Вскоре пришла Наташина подруга детства Аня. В ходе беседы выяснилось, что она в маленьком магазинчике возле вокзала торгует нижним женским бельем.

– Раньше я сама была хозяйкой, – поведала нам Аня. – Возили шмотки из Турции и Москвы, что-то брали на базе в области. Потом стало намного труднее. Появилась жесткая конкуренция. Я закрыла свой павильон. Теперь работаю на мою подругу, мы с ней давно знакомы, вместе когда-то начинали в бизнесе, фактически подруги. Я три дня в неделю работаю, продаю в павильоне, она – четыре. На жизнь хватает. Муж мой – в Москве, работает охранником, две недели там, две – дома. Вахтенный метод. Я зарабатываю примерно сорок тысяч, муж – пятьдесят. Жить можно. На завод не пойдем, там сейчас больше пятнадцати тысяч не платят. Это ни о чем!

На следующий день мы поехали с Наташей на окраину города, нас пригласил Михаил Петрович, ее дальний родственник. Михаил Петрович, пожилой дядечка восьмидесяти четырех лет, встретил нас со своей женой Валентиной Яковлевной, угостил домашними продуктами – курятиной (специально для нас зарезал куренка), солеными огурцами и помидорами и ядреным деревенским самогоном.

Домик у него небольшой, но со всеми удобствами, одна просторная комната, туалет, ванная и сени, в неотапливаемых сенях – козочка и куры, участок двенадцать соток, там – картошка, капуста, клубника, все свое.

– Пенсия у меня повышенная – двадцать тысяч, – пропустив рюмашку, начал рассказывать Михаил Петрович, – я получаю как ветеран труда. Конечно, это неплохая пенсия, но и расходы у меня большие – вот в этом году крышу перестилал, не сам, конечно, силов-то уже нету, нанимал.

– Молодежь-то остается в городе? Или все в Москву бегут? – спросил я.

– Остается. У нас на улице много молодых. Но и продают дома. Если хошь, мы и вам подберем. Мне тут нравится. Я тут, в Рассказах, давно живу, хотя сам я платоновский (Платоновка – соседний населенный пункт, железнодорожная станция. – Е. С.), это рядом, всю жизнь проработал шофером...

– А вы-то как там живете, в Москве-то и за границах? – поинтересовался Михаил Петрович. – На рыбалку-то хоть ходите?

– В последний раз я рыбачил на океане, в Америке, год назад, – честно признался я. – Поймал камбалу и двух морских окуней. А в Москве только работаю. Там не до рыбалки.

– Нету, тут камбалы не поймать, – вздохнул Михаил Петрович, – но карась берет. И карп. Еще остался в прудах.

– Я помню, – поддержал я беседу, – я раньше тут на прудах частенько рыбу ловил.

– А не жалкуете, что уехали отседа? – вдруг спросил нас Михаил Петрович.

Наташа задумалась и ничего, как обычно, не ответила.

– Трудный это вопрос, Михаил Петрович, – сказал я. – Жалеть я ни о чем не жалею, дело это пустое, но кое-что, приехав сюда спустя тридцать лет, я понял. Понял, что если бы у меня было пять жизней, одну из них я бы точно прожил здесь, в русской провинции, на своей земле. Работал бы в школе, воспитывал бы своих и чужих детей.

– А что же, в других местах это не получилось? – уточнил старик.

– В других местах почему-то не получилось, – признался я. – Я считаю, что тридцать лет моих странствий по земному шару, все эти мнимые успехи, университеты, написанные книги, диссертации, полученные награды и материальные приобретения на самом деле яйца выеденного не стоят. Единственное оправдание нашего отъезда – то, что за эти тридцать лет дочка вышла замуж за хорошего человека и родила ребенка. Все остальное – чепуха.

– Мда, – вздохнул Михаил Петрович, – ты, наверное, преувеличиваешь, но жить дома в самом деле хорошо. Возвращайся!

– Спасибо, отец, – сказал я, – я вернусь.

Владимир РОМАНОВ

Родился в 1959 году. Учился в Арзамасском сельхозтехникуме. После службы в армии работал на приборостроительном заводе. Получил высшее педагогическое образование на отделении физической культуры, работал тренером по легкой атлетике в спортивной школе. В настоящее время тренер по пожарно-прикладному спорту.

Публиковался в альманахах «Арина НН» и «Земляки». Живет в Арзамасе.

ПОБЕГ

1

Таня вышла во двор с белым оцинкованным ведром, выгнала корову из хлева под яркую лампочку, кинула ей под ноги охапку свежей травы, погладила рукой крутой бок из гладкой черной шерсти. Она шептала ей на ухо короткую молитву и говорила ласковые слова, шевеля полными подвижными губами. Корова стояла смирно, пережевывая траву, опустив вниз голову с белым пятном и острыми рогами. Таня села на низкий табурет с правого бока у вымени, смазала руки вазелином, погладила набухшие соски, размяла их ладонями и стала дергать вниз плавными движениями. Молоко белыми струйками полилось вниз, звеня о края наполняющегося ведра.

В дверь заглянул младший брат Ванечка. У него через плечо висел лук, в руках он держал стрелы:

– Танька, к тебе пришла Светка Улыбина. Она тебя ждет.

– Скажи, сейчас иду.

Таня подобрала с пола куриное перо, взяла серп на поленнице и отрезала им конец шпагата, висевший на металлическом шкворне. Поцеловав пухлую щеку Ванечки, обвязала шпагат вокруг его стриженной головы, воткнула туда куриное перо:

– С этой минуты, ты не Ваня Терехов, а вождь Белое Перо. – Она прихлопнула ладошкой его чуть ниже спины, подтолкнув к двери. – Иди посмотри, что там делают бледнолицые на мотоциклах.

Ванечка убежал, а Таня полное ведро поставила на лавку, накрыла его марлей, завязав концы, как косынку на голове, потом полезла по крутой лестнице вверх, на сушила, проверить яйца в куриных гнездах. Она знала четыре места, где куры любили сидеть.

Сено ударило в голову пряным запахом сухих трав. В крошечное окно пробивался луч заходящего солнца. Слева от себя она увидела за-

бытые вилы и деревянные грабли. Таня стянула с головы белую косынку, уложив в нее еще теплые яйца. Яиц насчитала двенадцать. Оставив одно, она на четвереньках поползла дальше, в самый угол, низко пригибая голову.

Куры любили сидеть далеко, под самой раскаленной крышей с торчащими книзу гвоздями. Таня всегда боялась этих длинных гвоздей.

Здесь оказалось десять яиц, как в прошлый раз.

Разогнувшись, она пошла на противоположную сторону сушил, зацепившись ногой за что-то твердое, но живое.

– Ой! – вскрикнуло это живое и поджало под себя ноги.

– Мамочки! – в ответ закричала Таня, присев на месте.

Гибкая долговязая фигура резким движением отпрянула назад и застыла в темноте. Повисла страшная пауза. Тане казалось, что еще несколько секунд – и ее грудь разорвется на части.

– В-в... в-вы, к-к-то? – спросила она, заикаясь.

– Не подходите ко мне, а то выстрелю, – сказали из темноты дребезжащим, несформировавшимся голосом.

Темный силуэт стал медленно приближаться. Бледный луч света пересек кисти вытянутых рук, которые сходились на рукоятке пистолета. Запястье левой руки было обмотано грязным бинтом с красным пятном засохшей крови. Указательный палец дрожал на спусковом крючке.

– Мамочки, Царица небесная, Заступница! Помоги мне! – запричитала Таня и закрыла глаза руками.

– Не кричите. Пожалуйста, не кричите.

– Не буду. Я, честно, больше не буду. Вы только опустите эту штуку, а то страшно.

Руки упали вниз. На свет показалось худощавое вытянутое лицо молодого парня с испуганными глазами. Его узкие плечи судорожно подрагивали, кадык на шее ходил ходуном, открытый рот жадно ловил тяжелый от потревоженного сена воздух; от виска до угла рта отпечатались красная линия на помятом после сна лице.

– Таня! Тань! Ты где? – Светкин голос внизу заставил их замереть на несколько секунд.

Парень, вытаращив глаза, кивнул Тане, чтобы она ответила.

– Гм, гм, – издала она непонятные звуки, потом зашлась сухим кашлем и долго не могла остановиться.

– Что с тобой? – снова спросила Светка.

– Здесь очень пыльно. Я соберу яйца и спущусь, – через силу выдавила из себя Таня.

У парня на лбу выступил каплями пот. Он смахнул его рукой, которой держал пистолет.

Таня подошла к нему ближе и прошептала одними губами:

– Сидите здесь тихо. Я скоро вернусь.

– Вы ведь никому не скажете про меня, правда? – сказал ей парень куда-то в шею и случайно коснулся потными губами ее кожи.

Таня приподняла плечи, а голову втянула в себя, словно птица, промокшая под дождем.

– Нет. Не скажу.

– Тань, представляешь, они уже приехали на трех мотоциклах, и Коля приехал. – Светкин голос был возбужденным и нетерпеливым.

Таня молча спустилась вниз, обернувшись, посмотрела в черный квадрат сушил, куда упиралась деревянная лестница.

- Пойдем, Свет, в дом, – Таня еще раз обернулась. – Ты возьми яйца, а я ведро с молоком.
- Ты что какая? – спросила Светка.
- Какая?
- Тебя словно кипятком ошпарили.
- На сушилах очень душно.

2

Возле палисадника, у двух тополей, стояли три мотоцикла. На двух, упершись ногами в землю, сидели два коренастых парня. За спиной одного сидела Светка, за спиной другого – Ниночка Белкина. Они были бывшие Танины одноклассницы. Третий мотоцикл наклонился рулем набок, упираясь на откинутую подножку.

Парни курили, сплевывая перед собой. Они заразительно смеялись, не вынимая изо рта сигарет, показывая свои белые крепкие зубы.

Коля сидел на лавочке с Ванечкой, показывая ему, как надо стрелять в цель. Он натягивал тетиву пластмассового лука и выпускал стрелу в дерево. Стрела от дерева отскакивала. Он выпустил еще две стрелы. Парни ржали, давая советы. Ванечка бежал к тополию за стрелами:

– А еще?

– Сначала сбегай за Таней. Почему она так долго не идет?

Ванечка побежал в дом. Вскоре вышла Таня. Она села рядом с Колей, напряженно задумавшись.

– Иди надень что-нибудь, холодает, – сказал Коля. – Поедем в Ореховец, нужно кое-что выяснить с Котовым.

– Кто такой Котов?

– Человек, который считает себя... Нужно наладить отношения после прошлой потасовки. – Коля посмотрел в сторону парней.

Таня вернулась через десять минут в вязаном свитере и джинсах.

– Ты вроде как не хочешь ехать? – спросил Коля.

– Настроения нет, голова болит.

– Развеешься, повеселеешь. Ну пожалуйста!

Они долго ехали по полевой дороге, размытой после дождей, друг за другом. Мотоциклы таскало из стороны в сторону. Девчонки визжали, держась за парней. Выбрались на широкую луговину, изъеденную кротами. Лучи света от светящихся фар прыгали перед глазами. Они проехали берегом реки с густым ивняком; спустились вниз, к мосту; поднялись на дорогу из крупного щебня; остановились у дверей клуба.

Клуб делился на две части. Одну часть составлял длинный коридор с большими окнами и мощным деревянным полом, где два парня играли в настольный теннис, а возле бильярдного стола толпились несколько человек и громко спорили. В другой части клуба находился зал. Сегодня в зале все сиденья были сдвинуты и навалены друг на друга, чтобы освободить место под дискотеку.

Из комнаты, которая называлась гримерной, вышел высокий парень в кожаной куртке. Таня сразу поняла, что это Котов. Они с Колей прошли в самый угол и, склонив низко головы, долго говорили, потом выпили по глотку из плоской фляжки, пожали друг другу руки и вернулись.

– Живите пока, – сказал Котов в сторону парней. – Перед тем как кулаками махать, включайте голову.

Парни подошли к нему, пожали руки.

– Вы слышали, что солдат из части сбежал? – заговорил снова Котов. – Он вооружен пистолетом. Стрелял, но вроде никого не убил.

– Да. По телику показывали.

– Так вот. Он должен быть в нашем районе. Если что, звоните моему брату. Он у меня в полиции служит.

Котов продиктовал номер телефона своего брата.

– Его что, ищут? – спросила Таня.

– Ищут. – Котов посмотрел на нее сверху вниз.

– И что, найдут?

– Тань, ты чего? Ты чего так перепугалась? Конечно, найдут. Куда он денется. – ответил Коля.

– Колян, твоя барышня очень впечатлительная, – заметил Котов.

– Я пойду. – Таня направилась в сторону дверей.

Коля догнал ее и взял за руку:

– Куда ты пойдешь? Подожди. Ты чего так дрожишь?

– Мне надо домой, отвези меня.

Они молча проехали обратный путь. Подъехали к дому. Коля снял шлем, хотел обнять Таню, но она отстранилась от него.

– Да что с тобой?

– Я пойду, извини.

– Ты выйдешь? Я буду ждать.

Не ответив, Таня быстро скрылась за дверью.

3

Родители и Ванечка сидели у телевизора. Таня на носочках бесшумно прошла на кухню.

– Доченька, это ты? – спросила мама из темноты передней комнаты.

– Да, мам, я.

– Там ужин на плите.

– Хорошо, я поем.

Таня подняла крышку сковороды, поковыряла там вилкой. Есть не хотелось. Она открыла дверку холодильника, окинула все быстрым взглядом, снова закрыла, подошла к окну.

На столбе зажегся фонарь. Включили освещение на всей улице. Мотоцикл стоял на месте. В темноте, за топодем, красной точкой дымилась сигарета.

Таня снова подошла к холодильнику, достала кусок колбасы, два яйца вкрутую, две горсти помидор с огурцами, содержимое сковороды выложила в пластмассовый контейнер и все это уложила в пакет.

– Доченька, ты бы сегодня не ходила гулять-то? – снова прозвучал голос матери сквозь шум телевизора.

– Не пойду, мам.

– Вот и правильно. Страхи-то какие – солдат из части сбежал. По телевизору который раз показывали. Пистолет у него и патроны.

– Обстоятельства разные бывают, – тихо, как бы для себя, сказала Таня и посмотрела в комнату с телевизором.

– Зачем же бежать-то? Виноват, значит. Шутка ли, из пистолета по людям стрелять, – не унималась мать.

Таня не стала отвечать. Она бесшумно вышла в сени, потом во двор, отодвинула деревянный засов и высунула голову в приоткрытую дверь. С улицы потянуло летней прохладой. Кот Мурзик пробежал возле ее ног.

Она забралась на сушила, шагнула в кромешную темноту:

– Эй, где вы там? – спросила она и застыла без движения. – Отзовитесь, мне страшно.

Было тихо. Ни единого шороха. Где-то на улице работал мотор трактора, а внизу корова пережевывала сено.

– Да. Я здесь, – задрезжал голос из темноты.

– Разве так можно? Почему молчите?

– Вы одна?

– Одна. Я вам поесть принесла.

Таня включила фонарик, пошарила лучом по сторонам. Парень закрыл лицо руками.

– Уберите, пожалуйста, свет в сторону.

Она успела его разглядеть с головы до ног. На самом деле он был значительно моложе, чем показался в первый раз. Его коротко стриженная голова, с наивным взглядом, оттопыренными ушами, тонкими, капризными губами, сидела на длинной тонкой шее и упиралась в худое тело с острыми плечами. Его грязный свитер, местами изъеденный молью, нелепо сочетался с солдатскими штанами и ботинками, стянутыми шнурками на худых ногах.

Таня поставила пакет у его ног и отошла назад на всякий случай. Он стал есть, с трудом проглатывая пищу через пересохшее горло.

– Запейте молоком, а то подавитесь.

Парень, молча вытащив бумажную затычку из бутылки, запрокинул голову назад и стал пить молоко редкими, громкими глотками, не обращая внимания на белые струйки, которые лились по краям рта вниз на впалую грудь. Аккуратно положив пустую бутылку в пакет, он протянул его Тане.

– Спасибо!

– Теперь я могу узнать, кто вы и как вас зовут?

– Я – солдат.

– И это все?

– У вас могут быть неприятности.

– Это будут мои неприятности.

– Я ночью уйду.

– Не хотите говорить – не надо. Знайте – вас ищут. По телевизору показывали несколько раз. Уйдете в заднюю дверь, я ее оставлю открытой. Прощайте! – Таня подошла к лестнице и стала спускаться.

– Не уходите. Мне страшно.

Таня вернулась, присела возле него. Парень сидел, уткнувшись лицом в высокие коленки, подрагивая телом и всхлипывая, как провинившийся ребенок. Между ними свернулся клубочком Мурзик. Они потянулись к нему руками и стали по очереди гладить. Кот, выгибаясь в спине, стал издавать порывистые звуки, заполняющие все безмолвное пространство.

– Я сбежал из воинской части, где прослужил полгода. – Парень перестал дрожать, его голос наполнился силой, но глаза были опущены вниз.

– Почему?

– Мне там стало невыносимо находиться.

– Я слышала, что в армии часто издеваются и унижают. Может быть, у вас было нечто подобное.

– Нет. Этого не было, но... как бы вам сказать... я был всегда крайним... крайним во всем, даже в мелочах. Со мной служили обычные

парни. Они пользовались тем, что я не мог ответить, не мог ответить по природе своей, свойству характера. Я не могу поднять руку в принципе на человека. Бежать из части не было в моих планах. Это вышло случайно.

Мы, молодые бойцы, стояли на плацу. Сержант шел вдоль строя и заглядывал каждому в лицо. Он был латыш. К русским относился с неким высокомерием и пренебрежением. Сержант подошел и сильно ткнул меня в грудь: «Ты. Ты поедешь со мной за хлебом». Он сплюнул, и слюна попала на мой сапог. Я смолчал. Нужно было бы и дальше молчать, когда мы ехали на лошади до соседней деревни в пекарню, но во мне закипала кровь, бешено билось сердце, вынуждая меня огрызаться на каждую его реплику.

Мы загрузили хлеб на телегу, накрыли брезентом. Я пошел попросить воды у охранника, но того не было на месте. Возле стола был приоткрыт сейф с торчащими ключами. Внутри была видна кобура с пистолетом. Я взял пистолет и обойму патронов из коробки, спрятал в карман. Поехали. «Ты в кого такой урод? – сказал сержант. – Ничтожный русский интеллигент. Была бы моя воля...»

Я направил на него пистолет и выстрелил поперек его головы. Он упал лицом на брезент, задрожав всем телом. Привязав вожжи к телеге, я стеганул лошадь ивовым прутом так, что она быстро побежала в сторону части, сам направился в лес и долго бежал, не осознавая, куда и зачем? Бежал долго, пока силы совсем не покинули меня. Рано утром оказался здесь. Ворота были открыты.

– Мама выгоняла корову.

– Да, наверное.

– Вы хоть понимаете, чего натворили? – Таня, замолчав, сняла козынку с головы и положила ее возле своих ног. – Далеко не убежите, все равно поймают.

– И что же мне делать?

– А я знаю? Раньше надо было думать, – у Тани неожиданно проступили слезы. – Господи! Да что же это такое? Почему все так?

Внизу скрипнула дверь. Они напряженно замолчали.

– Ветром, наверное, – сказала Таня. – Я ее отперла.

– Мне домой нельзя, мне никуда нельзя.

– Вам надо звонить в полицию, немедленно, сию минуту, пока не поздно. Это вы должны сделать сами.

– Нет. Я не хочу в тюрьму. Лучше...

– И не думайте, я пойду за телефоном, он у меня дома.

Таня спустилась по лестнице в темноту двора; наткнулась на мешок с зерном; зашла по ступенькам в сени. В раскрытую дверь крыльца она увидела отца, курившего сигарету. Свет из сеней падал на его спину и голову, которую он задрал вверх, глядя на звездное небо. «Он еще совсем молодой», – подумала Таня и вздрогнула, когда он обернулся.

– Дочь? А я и не заметил, когда ты прошла. Пойдем чайку попьем?

Таня поставила чайник на плиту. Телефон лежал на столе, она его засунула в карман джинсов.

– Колин мотоцикл стоит у сарая, – сказал отец. – Ты выйдешь?

– Не знаю, может быть.

Они пили чай, разговаривая о завтрашнем дне; в передней комнате шумел телевизор; на стене тикали часы. У соседей залаяла собака. За окном слышались шаги, как будто кто-то пробежал. Крикнули совсем рядом: «Стойте! Не делайте глупостей!» Прозвучал одиночный

короткий выстрел. На какое-то мгновение все стихло. Потом послышался шум моторов подъезжающих машин и визг тормозов.

Таня с отцом выбежали на улицу, залитую огнем ярко горевших фар. Возле забора стояли вооруженные солдаты, один из них присел перед собакой. Он теребил ее за ушами; она, вытянув длинный язык, порывисто скулила. Вплотную подъехав к поленнице, стояли две полицейские машины; дверка одной была раскрыта. На переднем сиденье сидел капитан и что-то писал в блокноте.

К солдатам подошел офицер и сказал несколько слов; те, выстроившись в колонну, ловко запрыгнули в высокую машину с серым тентом. Они уселись на сиденья лицом друг к другу, растворившись в темноте кузова бледными силуэтами.

В пяти шагах от рябины Таня увидела своего случайного знакомого. Она подошла ближе. Он лежал в неестественной позе. Его худое тело распласталось вниз животом на зеленой траве. Голова с открытыми глазами запрокинулась назад, над правым виском запеклось небольшое пятно. Правая рука, с пистолетом, вывернулась назад, за спину. Левая рука вытянулась вперед, сжимая белую косынку окостенелыми кистями. По его молодому, совсем детскому лицу, полз муравей.

Таня отвела глаза в сторону, не в силах больше смотреть. Она увидела Колю. Он очень странно на нее посмотрел. В его взгляде была растерянность. Он к ней не подошел, но и не ушел, стоял с опущенными глазами. Таня все поняла. Она поняла, что это он сообщил в полицию.

У капитана она узнала, что солдата звали Андреем, было ему девятнадцать лет, выстрелил в себя сам.

На следующий день Таню, ее отца и мать вызывали на допрос. Таня рассказала всю правду, что знала.

От районного УВД Коля получил благодарность и премию. От премии он отказался и отнес ее обратно, чему в полиции очень удивились.

Вечером он с Таней не встретился. Они не встретились и через неделю, и через две.

В конце августа Таня помогла родителям убрать лук с огорода, вырыть картошку и уехала учиться в педагогический институт, в город. Каникулы закончились. Лето быстро прошло.

Денис ТРЕТЬЯКОВ

Родился в 1977 году. Детство провел в г. Рубцовске Алтайского края. Окончил физический факультет НГУ. Работает в одном из научно-исследовательских институтов новосибирского Академгородка. Публиковался в литературных сборниках. Живет в Бердске, Новосибирская область.

СТАРИКИ

По давней семейной традиции дед Степан каждое воскресенье с утра отправлялся на рынок за продуктами, в то время как его жена Марья готовила обед.

В один из таких дней глава семьи вернулся с базара в непривычно довольном расположении духа. Марья догадалась, что в походе со стариком случилось какое-то весьма приятное событие, однако чутье ей подсказывало, что для нее это событие не окажется столь же приятным.

Марья была старушкой тихой, почти незаметной, она не стала приставать к Степану с расспросами, а продолжала хлопотать на кухне, по опыту зная, что муж сам скоро все расскажет.

И вот под конец дневной трапезы дед, степенно помешивая чай, сообщил жене следующую новость:

– Представь себе, мать, иду я сегодня по рынку, смотрю – навстречу мне Валька Прокофьева. Я ей, понятное дело, кричу: «Валентина! Привет, мол!» А она остановилась, смотрит на меня и не узнает. Выяснилось потом, что борода моя ее смутила. Хе-хе... Десять лет с ней не виделись. Надо же...

Он глубокомысленно покачал головой и стал пить чай с пряниками. Закончив, Степан отодвинул кружку, вытер рот, прокашлялся и продолжил:

– Ну, перекинулись мы с ней парой словечек про то да се. Наших повспоминали – кто где сейчас. Пообщаться, конечно, толком не удалось: базар все-таки, сама понимаешь, – не место для разговоров.

Тут он сделал многозначительную паузу. Марья терпеливо ждала развязки. Дед сцепил руки на столе, вздохнул и деловито произнес:

– Тут такое дело, мать, Валентина нас в гости к себе позвала. Что думаешь? Пойдем? Я лично считаю, что надо сходить, а заодно проветриться малость. Я вот, к примеру, уже и забыл, когда мы в гостях-то в последний раз бывали.

– Ну а что же? Можно и сходить, – согласилась Марья. – А что за Валька-то?

– Как что за Валька? – удивился дед. – Ну, началось в колхозе утро! В СМУ у нас работала. Крановщицей. Забыла, что ли?

– Забыла.

– Ну, понятное дело, склероз, – Степан постучал пальцем по лбу. – Ладно. Сейчас вылечим. Давай, мозжечок-то напрягай. Помнишь, как юбилей нашего прораба Василь Васильича отмечали?

– Помню.

– Уже лучше. А помнишь, с кем ты рядом весь вечер сидела?

– Валька, Валька... – старушка задумчиво наморщила лоб. – А! Так эта та, у которой муж алкоголик?

Дед цыкнул и недовольно закатил глаза кверху.

– Что значит «алкоголик»? Ты только вот словами не бросайся! Ну, выпивал человек. Ну и что? Время-то какое было? Да там любой в два счета сопьется. Я ведь, между прочим, тоже не без греха был. Сколько раз ты меня до дому таскала, а? Вот. «Алкоголик»!

Степан замолчал, смахнул со стола крошки и добавил:

– Тем более что скончался он...

Марья сочувственно вздохнула:

– Ох, Царство Небесное... А живет-то она где?

– В частном секторе. Улица Пушкина, дом 38. Она после мужниной кончины трехкомнатную квартиру в микрорайоне продала и свой дом купила поближе к центру.

– Пушкина, 38, – Марья в раздумье наморщила лоб. – Это возле милиции, что ли?

Дед опять закатил глаза.

– Возле какой милиции? Язвы ж ты! Всю жизнь в городе прожила и такое несешь. Это там, где бани раньше стояли!

Старушка в ответ только вздохнула, а потом спросила:

– Ну и когда она нас ждет?

– Завтра к шести.

– Как к шести? По темноте, что ли, шарахаться?

– По какой темноте? Между прочим, в городе освещение электрическое имеется, – тут дед начал вставать из-за стола, показывая, что разговор подходит к концу. – Она нас раньше принять не может, дела у ней там какие-то. Валька, она ведь такая, дома не сидит целыми днями, как некоторые. Активная женщина!

* * *

На другой день Степан долго выбирал рубашку, потом тщательно ее выглаживал. Достал из шкафа стародавний коричневый костюм и где-то откопал разноцветный галстук. Из зеркала на него с недоверием глядел старик в костюме и с окладистой серо-желтой бородой.

– М-да, – сказал Степан, поглаживая бороду, – хоть рясу надевай.

В конце концов он надел рубаху с длинным рукавом и черный жилет, приобретя отдаленное сходство с кулацким элементом. Марья же особенно наряжаться не стала и оделась в обычное серенькое платье.

Вышли из дому в шестом часу, когда уже начинало смеркаться. Недавний снегопад обильно завалил дорожки, которые еще не успели расчистить, и Степан в тулупе и валенках шел впереди, как вездеход, прокладывая путь. Марья еле поспевала за ним. Дед изредка останавливался, чтобы подождать супругу, и как только она приближалась, двигался дальше. Пока добрались до частных домов, совсем стемнело.

Впотьмах дошли до первой улицы, которая хоть как-то была освещена. Под ближайшим фонарем на перекрестке дед остановился.

– Пушкина, 32, – прочитал он на стене углового домика. – Ага! Слышь, мать? Вот она – улица Пушкина! Язвы ее. Хорошо. Так-так. Теперь нам куда? Направо или налево?

- Направо. Там милиция, – махнула рукой Марья.
– Тьфу, опять ты со своей милицией! Я же тебе говорю, это где бани старые стояли, – и он повернул налево. Старушка покорно поплелась за ним. У очередного фонаря дед опять затормозил.
– Та-ак! А это чего у нас? Пушкина, 28. Язви тя! Ничего не понимаю. Он постоял, как бы в раздумье, пооглядывался, потом скомандовал:
– Ладно! Р-рота! Кру-угом!
Вернулись к 32-му дому.
– Вот теперь считай. Третий дом от этого, – подсказала Марья.
– «Считай!»! Я тебе что, Счетная палата, что ли? Ты у нас бухгалтер – ты и считай! – парировал дед.

Наконец отыскали нужный дом. За высоким забором звякнула цепь, и глухо пролаяла собака. Старик решительно нажал на кнопку звонка. Вскоре послышались торопливые звуки щелкающих замков и открывающейся двери.

- Иду, иду! – раздался женский голос. – Сейчас собаку уберу! Фу, Альма, фу! Свои!.. Ты, Степан?
– Я, Валентина, я! Мы то есть. Отворяй ворота!

* * *

Пока хозяйка, бойкая крепкая женщина немногим моложе гостей, накрывала на стол, Степан с Марьей сидели на диване и рассматривали альбом с фотографиями. Вернее, рассматривал только дед, а старушка сидела с нейтральным видом и время от времени бросала взгляд то на хозяйку, то на окружающую обстановку.

В доме было чисто и все аккуратно прибрано. Современная мебель, бытовая техника, красивые обои, шторы, дорогая посуда, – все говорило о том, что хозяйка живет обеспеченно. Кое-где на глаза попадались вещи еще советской поры, которые Валентина, по-видимому, бережно хранила.

Степан то и дело толкал жену локтем и приговаривал: «Ты посмотри, а! Это же сам N-ов! Интересно, какой это год?» – переворачивал он фотокарточку. Или: «О! А вот он я! Скажи, какой красавчик! Так, а почему у меня этой фотографии нет?»

Между тем Валентина накрыла на стол и, накинув шаль, села напротив.

– Ну, давайте выпьем за встречу и за знакомство. Я ведь с Вами раньше не встречалась? – обратилась она к Марье.

– Как же не встречалась? – встрял дед, откладывая альбом и снимая очки. – А на юбилее у прораба нашего? Забыла, что ли?

– Ой, да столько лет прошло. Ну, ладно! Тогда за встречу – сколько лет, сколько зим!

Они чокнулись. Дед залихватски выпил водки.

– Эх, хорошо! Ну что, Валентина, рассказывай давай, как живетесь-то на пенсии? – спросил он, накладывая салат.

– Да как? Нормально живется. Грех жаловаться. Слава богу, пенсия хорошая, и дети помогают. Дочь моя старшая сейчас в Хабаровске живет. Ее мужа туда по работе направили. Конечно, не ближний свет, но раз в год они непременно ко мне всей семьей приезжают. Дочка у них, моя внучка ненаглядная, в этом году уже в школу пошла. Такие вот дела. А сын мой младший – в Москве. Женится. На хорошую работу устроился. Детей, правда, пока что нет.

– Да-а, – сказал Степан, уминая салат. – Наши вот тоже разъехались кто куда. Все не сиделось им здесь чего-то. А приезжают редко. Вот и кукуем вдвоем со старухой.

– Ну, вы хоть вдвоем. И то хорошо...

Дед что-то промычал в ответ. Потом наступила неловкая тишина, которую прервала хозяйка:

– Ладно, доедайте салаты, а я пойду посмотрю, как там курица в духовке.

Она встала и пошла на кухню, на ходу поправляя прическу.

– Что ты сказал, что наши редко приезжают? – прошептала Марья мужу. – Раз в год бывают, а то и два.

– Все равно редко! – отмахнулся дед.

* * *

Загорячим блюдом Степан продолжал расспрашивать хозяйку про жизнь:

– Целыми днями, поди, вертишься? Дома-то не сидится, небось? Помню, на работе ты заядлой активисткой была. И как только все успевала? И в профсоюзе, и спортом занималась, и по партийной линии. Еще и детей двое. Я только диву давался.

Валентина засмеялась.

– Да уж, общественница я была боевая! А сейчас что? Ну, летом на базар хожу. Продаю свой урожай с огорода. А зимой вяжу, шью. Под заказ в основном.

– Молодец! Полезным делом занимаешься. Моя ведь тоже шьет. Только вот продать-то ума нет. Дарит всем направо и налево.

– Что-то ты, Степан, к супруге своей слишком строг.

– А ничего, с нее не убудет... А ты еще вроде как в хоре когда-то пела при нашем ДК?

– Пела.

– А сейчас как? Поешь где-нибудь?

– И сейчас пою. Не могу одна сидеть, – душа прямо-таки просится в коллектив. Хожу в тот же самый ДК в старушечий ансамбль.

– Да-а... – протянул дед. – Видишь, какая у тебя жизнь насыщенная. Не то что у нас. Никуда не ходим, ничем не занимаемся. Кроме телевизора, ничего и не видим.

– А огород держите?

– Да что ты! Огород продали давно. Уже не вмоготу там работать. И добираться далековато. Продали. Детям хоть денжат подкинули.

– Я помню, ты, Степан, славный огородник был! Малина у тебя была отменная. Ни у кого такой не пробовала.

– Это потому что у меня своя налаженная методика была. Годами ее отработывал. Так ко мне со всего треста бегали за саженцами. Помню, даже из горкома интересовался один товарищ. А я ничего – всем давал. Не жалко.

– А я вот с огородом вожусь помаленьку. Виноград даже выращиваю. Малина хоть и не такая, как у тебя, но тоже неплохая. На базаре ее продаю. Опять же детей вареньем снабжаю... Давайте, кстати, к чаю переходить. Кому какого? С травой, без?

– Да нам обычного, черного. Можно с травкой. Да, мать? Что молчишь-то?

– Да, с травкой, – подала голос Марья.

– Хорошо, – Валентина стала собирать со стола грязную посуду.

– Сейчас я тебе помогу, – вызвался дед.

Они вместе ушли на кухню, где о чем-то вполголоса переговаривались, гремя посудой и стуча дверками шкафчиков. Потом в комнату вошла сначала хозяйка с подносом, а за ней – Степан, неся перед собой на вытянутых руках большой электрический самовар.

Валентина разлила чай по кружкам.

– Вот, варенье пробуйте, – раздала она каждому отдельную розеточку.

Дед зачерпнул побольше, посмаковал во рту, проглотил и сказал с чувством: «Хорошо!» Марья взяла аккуратно пол-ложечки, попробовала и сказала: «Ничего».

Дед поперхнулся чаем:

– «Ничего»? Ты, Валентина, не обращай на нее внимания. Она что-то сегодня не в себе. Не с той ноги встала. Очень вкусно! О-чень! Ты, Валентина, просто молодец! А Машка просто ничего не понимает в вареньях. А я тебе как специалист говорю: варенье первоклассное. Дашь баночку?

* * *

Закончив ужинать, гости еще посидели с полчаса и стали собираться. Попрощавшись, вышли на улицу и некоторое время брели молча. Степан блаженно улыбался, вспоминая прошедший вечер.

– Ну, что? – вдруг спросила Марья. – Доволен?

– Чего говоришь-то? – добродушно отозвался старик, поворачивая к жене умиротворенное лицо.

– Я спрашиваю, доволен?

– Ну, а как же? Хорошо погостили!

– «Хорошо погостили», – передразнила его Марья. – Вот оставайся у ней теперь и живи!

– Чего-чего? – не понял дед.

– Ну, раз нравится она тебе, давай, топай! Я не держу!

– Да ты что, бабка, такое говоришь-то? – Степан совсем растерялся.

– А то говорю, что совесть надо иметь! Вот что! Вырядился он! Скачет вокруг нее, как петух! А она тоже! Мочалку свою выкрасила! Нацепила что попало! Нафталином вся пропахла, и туда же!

Марья продолжала говорить, отчаянно размахивая руками. Уйдя вперед, она даже не заметила, что Степан остановился и смотрит ей вслед с раскрытым от удивления ртом. Немного придя в себя, он стал мелко трястись от смеха. Сначала хихикая почти беззвучно, Степан под конец расхохотался во весь голос, согнувшись вперед и стуча руками по коленкам. Когда приступ смеха прошел, он бросился догонять Марью, но, как только увидел вдалеке маленькую сердитую фигурку жены, опять сорвался в хохот. Так всю дорогу и шел. Утирая варежкой слезы, он догнал бабку уже возле самого подъезда. Благоверная успокоилась и виновато молчала.

Весь оставшийся вечер старики не проронили ни слова. Дед уставился в телевизор, но тайком поглядывал на жену, качал головой и приговаривал: «Да-а...» Бабка делала вид, что сильно занята домашними делами и ничего не замечает.

Только утром за завтраком дед нарушил молчание:

– Да, Машка! Ну, ты вчера дала, – и он опять захихикал. – Ты смотри, а! Казалось бы, скоро уже того... (он показал пальцем в небо) вознесем, а она ишь чего удумала! Ну, бабка! Ну, Кармен!

Марья, с трудом скрывая улыбку, махнула на мужа рукой:

– Да ну тебя, старый!

Через неделю все забылось, и пошло по-прежнему.

Ирина ГРИШИНА

Родилась в 1984 году в городе Семенове Горьковской области. Окончила естественно-географический факультет Нижегородского государственного педагогического университета.

Живет в Нижнем Новгороде, работает методистом в Нижегородском институте развития образования.

КУХНЯ

Я живу на кухне. Слева от меня окно, если отодвигают занавеску, я слепну от солнышка, справа – почти никогда не закрывающаяся дверь, передо мной холодильник, плита, мойка, полки с чашками и тарелками. Меня зовут Ноут. Я умный, наблюдательный, понимающий, уже не первой свежести, но опытный компьютер. Я вижу все, что происходит рядом с холодильником, и слышу все, что говорят в доме.

Мою хозяйку зовут Мам. Мам почти всегда на кухне. Здесь она смотрит кино, читает книги, готовит. Каждое утро мы с Мам начинаем работать. Работает Мам много, часто говорит по телефону, у нее всегда открыты таблицы, отчеты, формулы. Мам может снять очки, протереть глаза, встать, походить, порычать, опять сесть работать. Иногда она включает музыку, поет криком и танцует. Между нами, ни то ни другое у нее не получается, но я молчу, смотрю и слушаю. Еще Мам каждый день готовит, варит суп, жарит котлеты, иногда сосиски к макаронам отваривает.

Рядом с Мам живут два взрослых одинаковых мальчика. Они уже не учатся в школе, курят в туалете, если Мам нет дома, меня просят показать телефоны пиццерий и фотки голых девушек. Мам считает, что взрослые мальчики могут помочь ей помыть посуду, заправить кровати, сходить в магазин, а два высоченных лба громко, иногда нецензурно, не соглашаются. Мам сердится, кричит, плачет.

Вечером приходит Саша. Ужинают в тишине. Бывает, Саша прикрывает глаза, клюет носом, почти падает, засыпает, а потом резко вскидывает голову, обводит мутными глазами всех, улыбается. Сашу раздражают любые шорохи.

Бывает, утром Мам ставит перед собой зеркало, красит жирным коричневым кремом лицо. Две щелки глаз рассматривают свое отражение. Плачут.

Я как могу поддерживаю Мам. Если она спрашивает про новинки кино, в первые строчки ставлю комедии, если новости – сначала про котят. Сегодня спросила меня: «Что будет там?» Что Мам имела в виду? Где это Там? Я ей показал море, солнце, пляж, горы, зелень. В общем, в местечке Там она будет счастлива.

Глаза, будто с чужого лица вставленные, долго на меня смотрели. Мам открыла документ, что-то набрала, стерла, оставила чистый лист, пошла к окну. Ворвавшийся ветер поднял занавеску и стал трепать, солнечные лучи ослепили меня. Сегодня Мам не приступила к работе.

Никита БРАГИН

Родился в 1956 году в Москве. Окончил геологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Геологического института РАН (Москва).

Автор одиннадцати сборников стихов, лауреат Всероссийского поэтического конкурса имени Сергея Есенина (2018), Международной литературной премии имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами» (2019), конкурса «Преодоление» МГО СП России (2020).

Член Союза писателей России. Живет в Москве.

...И СВЯТЫЕ СЛОВА ПРОЧИТАЙ НА СВОЕМ ЯЗЫКЕ

Хвоинка

Они бессмертны – так о мертвых говорят,
и представляешь изваяний ряд,
и слышишь звон латинских эпитафий.
Но прикоснись до белого листа,
почувствуй, что такое пустота,
и немота, и немощь – ты представь их!

В себе самом ты умер столько раз –
не меньше, чем в столетье лунных фаз
минуло – и ни дерева, ни стелы
на холмиках заброшенных могил,
откуда ты поспешно уходил
за будущим, в неизвестные пределы.

А будущее – кто его поймет?
Перемешались в нем и яд, и мёд,
и жгучее безвкусие отравы
все перебило, все оборвало,
все обратило в суету и зло –
все, что налево, вместе с тем, что справа.

И оттого разумнее – любить,
и у любви слезой и кровью быть,
и возвращать ей воздух, умирая.
Так хвоинка раскидистой сосны,
наверное, слетает с вышины
частицей неба без конца и края.

Комарово зимой

Как сумрачен твой сон, твой предрассветный снег,
в холодной пелене за тонкой пленкой век, —
он полон тишиной...

В мерцающем снегу на просеке пустой
крупинки белых звезд... космический покой
лежит передо мной.

Как льдинка на листе, как шепот в пустоте,
как бледная ладонь на белой бересте —
любви моей следы
по ровному пути, где небо так легко
спадает и плывет к тебе, как молоко,
над панцирем воды.

А где-то рыболов, усевшись, как баклан,
соседу прокричит, и слово сквозь туман
заключением зазвенит,
скользя по тишине, такой привычной нам
раскатываясь вдаль по дюнам, валунам,
на хвою и гранит.

* * *

Не слушать пьяных истерик,
и дверь не пинать, входя,
но видеть пасмурный берег
сквозь пелену дождя,
и знать, что нет Белогорья
и Шамбалы тоже нет,
и оспу не путать с корью
даже за давностью лет.

Идти по заросшей тропинке,
сминая крапиву и сныть,
в сыром и скупом суглинке
горе свое хоронить.
И пусть кирпичной стеною
окажется путь закрыт,
и пламя берестяное
душу мне закоптит,
и щебень не станет пухом,
и свет не сойдет с высот...
Но слово пребудет Духом,
и, умерев, прорастет.

Виноградье

Где же ты, песенное виноградье,
красно-зеленое, сладкое,
Там, где вдали, за озерной гладью
дремлют луга с лошадаками?

Или за тем поворотом проселка,
где ели пышны как пагоды,
откуда вернешься с полной кошелкой
красной ядреной ягоды?

Или за этой лесной лужайкой
увидишь избу высокую,
где тебя ласково встретит хозяйка,
северным говором цокая?

Или вон там, у старой часовни,
где горстку землицы высохшей
возьмешь, отправляясь к Москве чиновной
отцу на могилку высыпать?

Где бы то ни было, все с тобою
в сердце, в горе и радости,
красно-зеленое и голубое,
словно кругляш радужный.

* * *

Переменится мир,
переполнится мера,
потемнеют цветы,
помертвеет вода,
одинокий огонь
затаится в пещере,
может быть, на века,
может быть, навсегда.

Может быть, мы уснем
во младенческой зыбке
с утомленной Землей,
преклонившей главу,
и седая луна
озарится улыбкой
и уронит росу
на сухую траву.

Или шепот дождя
на мгновенье разбудит,
отворится и снова
закроется слух,
и пребудет в ночи
только память о чуде,
только легкая грусть,
словно пепельный пух.

И не в бронзе литой,
не на каменных стелах,
а в ночном ручейке
и дыхании крон

навсегда прозвучит
все, что сердце напело,
до последнего дня,
до скончанья времен.

* * *

Слов осенняя зрелость подобна дыханию яблок,
что вот-вот опадут и насытят сырую землю –
дай, еще повторю, и отчалит летучий кораблик,
и к заморским краям полетят беспокойные птицы.
Мне же здесь оставаться хранителем горького сока,
заточенного в памяти, в темных подземных пластах,
в самородной мечте, и в тоске, словно полночь, высокой,
в огнецветных кристаллах и ветхих поклонных крестах.

Это твердь и огонь обращаются кровью и плотью,
зреют правдой запретной, горючей слезой набегают,
то вот-вот обовьются упругой и жалящей плетью,
то вот-вот задрожит стебелька сердцевина нагая...
Это вечная музыка вышла на свет из темницы,
и щебечущей птичкой сидит у тебя на руке...
Вулканический пепел смахни с пожелтевшей страницы,
и святые слова прочитай на своем языке.

Александр КАБАНОВ

Украинский поэт, пишущий на русском языке. Родился в 1968 году в Херсоне. Окончил журфак Киевского университета.

Автор тринадцати книг стихотворений и многочисленных публикаций в журнальной и газетной периодике. Лауреат «Русской премии», премии Antologia, Международной Волошинской премии, специальной премии «Московский счет», премий журналов «Новый мир», «Интерпоэзия», Международной литературной премии имени Великого князя Юрия Долгорукого и других.

Стихи переведены на английский, немецкий, нидерландский, финский, польский, сербский, грузинский и другие языки.

Главный редактор украинского журнала о современной культуре «ШО». Живет в Киеве.

ЖИЗНЬ БОЛИТ, ДА НЕ ПРОХОДИТ...

2 мая

Был майский день, сгущались облаки,
привоз гудел к дождю или к пожару,
одной рукой готовя шашлыки,
другой рукой поглаживая сару.

На куликовом поле из кулька –
рассыпаны, как семечки, вороны,
был майский день, сгущались облака
и оперялись ангелы и дроны.

Жил человек – бесценный минерал,
хрустальный гриб, который ляжет в кузов,
но в этот день никто не умирал,
все вышли из роддома профсоюзом.

И далее, пошли наверняка –
в театры, в рестораны, в магазины,
счастливые, не зная языка
и под ногой не чуя украины.

Они молчали, как молчал бы я,
сменяя память на каменоломню,
вот помню: расстрелял парубия,
а кем он был, помилуй бог, не помню.

* * *

Апокалипсис, лето, развалины, как роман,
внутри скелета гудит вибратор, вокруг – туман,
а я – пуаро в восточном экспрессе эспрессо пью,
смотрю на то и смотрю на это, и всех люблю.

Твои обмылки, мои обмолвки, деревья мчат,
заходят волки и в кофемолки кладут зайчат,
но поезд длится, и на стоп-кране: июнь, июль,
ты в вечной течке, моя волчица, а я – эркюль.

Деревья мчат за окном вагона, в листву мыча,
как жаль, что кофе без кардамона и эль – моча,
найди для мертвых слова простые, слова земли,
воскреснут вновь города пустые, а ты – замри:

покуда счастьем не отравился в последний час,
я на иконку твою молился и кошку спас,
а день – варенье из ежевики, а ночь – корсет,
и нет убийцы, но есть улики, как тьма и свет.

Ты понимаешь, что в фильме омен – финал фуффло,
мир уничтожен и ты – виновен, не повезло,
агаты кристи бессмертным братом уйти в лонгрид,
по ком в скелете гудит вибратор, гудит, гудит.

* * *

Я на кухню зашел, напоить растение,
а какое – не помню, прости, ну что ж:
у ножей весеннее обострение,
вилки в шахматах, ложки и вправду – ложь.

И пора приготовить себя к грядущему,
ко всему, что сжигает сей мир дотла,
к сладко жрущему, лгущему, горько пьющему,
в пустоту звенящему из стекла.

Разучившись любить, а такое надо ли,
если дети, как гречка, опять в разнос,
перелетные птицы текли и падали,
словно черные капли с твоих волос.

Облака опустевшими бензобаками
прогремели, и звездная даль видна,
навсегда подружились коты с собаками
и ушли на восток – это их война.

А на кухне поет молодое, спелое,
необъятное, будто чужая боль,
это, мать его, красное или же белое...
...неожиданно вспомнил: желтофиоль!

* * *

Как выгодно опустошенным быть:
сатрапа ненавидеть, и любить
себя, звонить какой-то пьяной бабе
и обрести покой на порнохабе.

Но за окном взрывается сирень,
перебивая мысли о запасах,
и этот ваш имбирь – такая хрень,
и бродят кошки в медицинских масках,

и зеркало в прихожей отразит
все то, что полагается скотине:
опухший и небритый паразит,
посредственный поэт на карантине.

Гуляешь по балкону во тцете,
нахмуришь лоб и задницу почешешь,
вокруг – ворье, но чем его утетишь,
и мы – разнообразные, не те.

А те спешат по маленьким делам,
спасают мир, ведут войну в реале,
они цветы ломают пополам
на кладбищах, чтоб их не воровали.

И надо мной соседка бьет меня,
внизу меня просверливают дрелью,
а справа – пьют за царство и коня,
а слева – пахнет похотью и прелью.

То вишня зацветет, то абрикос,
небесная подрагивает сфера,
и на своих троих, наморщив нос,
опять вступает в болдино холера.

* * *

Один шпион в саду лежит
и засыпает в вечном спаме,
а рядом с ним – пион шипит
на розу белую с шипами.

Другой шпион сидит в кино:
и улыбается, как плачет,
все кончено, предрешено,
но это – ничего не значит.

А третий, в драповом пальто,
стоит на кухне с чашкой грога,
в окне взрывается авто,
и это значит очень много.

Четвертый, раненный в плечо,
бежит, преследуя коллегу,
и это было бы ничо,
картина маслом, кровь по снегу.

Вдруг показался летний сад,
в котором он настиг злодея –
шпиона первого, расклад,
его судьба – моя идея.

Вот так и я, не вспомню, где:
на паперти, на биеннале,
когда, в какой земле-воде
они меня завербовали.

Я был оторван от сохи,
от родины, от бедной мамы,
я публикую не стихи,
я публикую шифрограммы.

* * *

А когда в яйцеклетке меня повезут,
как везли пугачева на плаху:
по бескрайнему лону проложат маршрут,
и живой позавидует праху.

Я услышу сквозь пенье и плач ямщика –
кислый запах слепого последа,
и большую тюрьму от звонка до звонка
над фонариком велосипеда.

Вижу скованных братьев своих, близнецов,
как бутан и пропан из баллона,
почему я не вижу конвойных, стрельцов –
потому, что сползает корона

на глаза, а поправить ее не могу,
всюду пепел да снега охапки,
остается шептать, не смотря на пургу:
мама, мама, не бойся, я – в шапке.

* * *

Был черный снег, и я бродил под коброю,
чей капюшон меня решил согреть,
но вдруг с небес вспорхнуло что-то доброе,
красивое, как музыка и смерть.

Я подходил к окну, вдыхая коконы,
облизывая губы от вины,
снег падал, как остриженные локоны,
сползал с твоей кокосовой спины.

А ты глядела в зеркало двуглавое,
припудривала память о зиме,
и в пустоте осталось только главное –
твое письмо отравленное мне.

А был ли снег, когда каштаны маются
и в коконе две бабочки не спят,
то руки не доходят и ломаются,
то ноги над подушками летят.

* * *

Это кто там громыхает, дует в глиняный рожок:
тарантино отдыхает, не буди его, дружок,
что с тобой случилось летом, расскажи нам без обид,
пастернак лежит валетом, а навстречу – бродский спит.

В этом мире овдовелом, где любая мразь видна,
как любил ходить я в белом, в чистом платье из говна,
и насвистывать чечетку и поигрывать мышцей,
но ценил я только водку вместе с салом и мацой.

Я бродил с одним целковым за похлебку и кровать,
я сто раз сидел с цветковым и молчал, а что сказать,
засыпай, мой милый хоббит, спит мужик и баба спит,
жизнь болит, да не проходит, как гандлевский и бахыт,
нецелованную воду – погасил и вновь разжег,
чтоб достался мне, уроду, этот глиняный рожок.

Ярослав КАУРОВ

Родился в 1964 году. Окончил Горьковский медицинский институт. Работал невропатологом, врачом линейной бригады скорой помощи, на кафедре патологической анатомии, токсикологии. Доктор медицинских наук, автор 32 изобретений, 2 монографий и 1 открытия.

Автор 13 стихотворных сборников, печатался в газетах, журналах и альманахах «Наш современник», «Нижегород», «Правда», «Москва», «Литературная газета», «Юность», «Молодая гвардия», «Московский вестник», «День поэзии» и других. Шеф-редактор литературно-поэтического журнала «Холм поэтов».

Член Союза писателей России. Один из создателей «Театра поэтов». Живет в Нижнем Новгороде.

ВЛЕКУТ ПРОРОЧЕСКИЕ СНЫ...

* * *

Закат пылал, как будто из пещеры,
Как жерло вулканической беды,
Но миг прошёл, и склон небесной сферы
Возвел на небе райские сады,

Расположил дворцы и башни замков
И притворился берегом морским.
Потом позолотил из сосен рамку
И обратился в серебристый дым.

Зачем тысячелистник здесь посажен?
А здесь кистями пажитник расцвел,
А тут репейник на косую сажень,
А тут могучей ели клейкий ствол?

Вы говорите, всё вокруг случайно.
Вы верите серьёзно в этот бред?
И то, что зарождалось изначально,
И то, чего еще в помине нет!

Для одного мгновенья, блика, ноты
В которых слился миллиард причин,
Немыслимая сделана работа!
И результат от сна не отличим,

И от мечты, которой имя ВЕЧНОСТЬ!
Закат струит расплавленную медь,
И всё вокруг меня так человечно,
Что имени не может не иметь!

Августовская карамельная

Синие грабельки, красная леечка,
Раннее сонное утро...
Девочка в шляпке на старой скамеечке
С полной корзиночкой фруктов.

Самые яркие, самые сладкие
Долго она выбирает.
Непостижимой вселенской загадкой,
Словно под нимбом святая.

Сирень в сентябре

Сирень цветёт и в сентябре!
Но это – чудо, чудо дивное!
Цветы увидеть на заре
Способна лишь душа наивная.

И не дают нам небеса
Предположить хоть на мгновение
Что это все – не чудеса,
Что это только совпадения.

Влекут пророческие сны,
И оживают вновь предания.
Плетут фату голубизны
Невидимые нам создания.

Любовь одна вольна цвести
В любое время и безвременье,
Любовью скрещены пути
И полднем, и ночью теменью.

И указующим перстом
Луна над церковью засветится,
Нахмурясь праведным крестом
И улыбаясь полумесяцем.

Муравьиные побасенки

Есть полоса препятствий на учебке,
Забитая вояками всегда:
Народ здесь бегают крутой и крепкий,
Не склонный без приказа рассуждать!

По-своему служа святой Отчизне,
Блюдя расчеты точные свои,
По этой полосе «дорогу жизни»
Упрямо проложили муравьи.

Им не страшны бессмысленные драки,
А то и настоящие бои, –
Бегут и дружно прыгают вояки...
Бегут и тащат грузы муравьи...

И командир одной секретной роты
(В чеченском побатрачивший плену),
Сказал: «Малявки тоже ведь пехота!»,
И пива контрабандного плеснул!..

Из поэмы

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ»

Никола-ключ

Пономарёво, Улыбино –
Лес вырастает стеной,
Строгоново да Ковригино –
В сторону Ковернино.

Возле села Белоглазово,
Как при иконе свеча,
Щедро одарит алмазами
Тайна «Никола-ключа».

Церкви душа не разгадана –
Как над рекою звезда
Дышит божественным ладаном
В ней не огонь, а вода.

Воды в купели прозрачные,
Камушки видны на дне.
Нет для людей предназначенной
В мире воды холодной.

Но окунись в струи чистые,
В мягкий серебряный лёд –
Сразу испарина выступит,
Сердце стремится в полет!

Вот и паломников тысячи
Видели здесь чудеса.
Сколько недугов он вылечил,
Скольких от смерти спасал!

Сколько измученных странников
Бога приводит рука,
Чтоб ощутили избранники
Тут поцелуй ледника!

В мире подземном, таинственном
Жилами струи сплелись,
Путь пробивая единственный
К нам в многотравную высь.

В мареве воздуха сочного,
В дивной лесной красоте
Сходятся воды источников
В солнечной руне-кресте.

Как же немного нам надо-то,
Чтоб отступила тоска!
Сбросить ненужные тяготы –
Воду в лесу отыскать!

Радости все не перебраны!
Ангелы нас привели:
В чаще хранится серебряный
Ключ от Заволжской земли!

* * *

А вечерами над нивами,
Над перелеском густым
Да над приречными ивами
Звёзды встают, словно дым.

Их мириады... В безветрие
Светят они, как костры –
Синие, красные, светлые,
Словно на небе пиры.

Слепят смарагды и яхонты.
К мосту бегут по реке,
Край озаряют непахотный
В тёмном забытом мирке.

Там метеоров сияние
Падает в речку, на дно...
И загадаешь желание –
Сбудется точно оно!

Валерий СУХОВ

Родился в 1959 году в селе Архангельском Пензенской области. Окончил Пензенский государственный педагогический институт им. В.Г. Белинского и аспирантуру при Московском педагогическом университете. Кандидат филологических наук. Работал учителем в сельской школе, преподавателем литературы в университете.

Автор пяти сборников стихотворений. Стихи публиковались в журналах «Нижний Новгород», «Сура», «Наш современник», «Молодая гвардия», «Подъем», «Русское эхо», «Странник», «Простор», «Нижегородская провинция», в «Литературной газете». Лауреат Всероссийской премии имени М. Ю. Лермонтова и Международной премии имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами». Живет в Пензе.

И ЛИШЬ ПОД КОНЕЦ ДАЛЁКО ЗАБРЕЗЖИЛ НОВЫЙ ЗАВЕТ...

Февральская позёмка

Кто «покоренные державы»
И все потери посчитал?
Освобождение Варшавы.
Наград посмертных ритуал.

Солдаты стынут на снегу.
Кому «Звезду»? Кому – «Отвагу»?
Они и мёртвые бегут
В свою последнюю атаку.

Метёт февральская позёмка
И оmyвает валуны.
А им – ни зябко и ни колко.
Они устали от войны.

Ни крышки нет у них, ни гроба.
Одна лишь яма на троих...
А толерантная Европа
Запишет в оккупанты их.

Последний юбилей

Деду

Наркомовских сто грамм
Мы у могилы пьем...

Не тронут твой стакан,
Накрытый сухарем.

Поклонимся в молчанье.
Утраты – всё острей...
Вот так и отмечаем
Последний юбилей.

Русская душа

Зима. Год сорок пятый. Русь.
Война идёт к закату.
И трудно верить в «Cott mit uns»
Немецкому солдату.
Несладко и ему в плену:
Морозы, снег и голод.
Он понимал свою вину,
Ведь был уже не молод.
Белели из берез кресты
В безмолвии суровом.
И до деревни полверсты
Добрел он по сугробам.
Ввалился в избу, как скелет,
Худой и несуразный.
По похоронке на столе
Все немец понял сразу.
У горя милостыню ждать –
В боль сыпать соль солонкой...
Но поднялась седая мать,
Как тень, над похоронкой.
Сказала: «Погоди, сынок...»
Рукой в набухших жилах
В солдатский мятый котелок
Краюшку положила...

Выпускники сорок первого

Выпускники вернулись в город утром,
А в полдень, среди мертвой тишины,
Их разбудил охрипший репродуктор...
Война! Без объявления войны...

И поняли встречавшие рассветы –
Пришла беда, которой нет страшней!
Четыре года было до Победы.
Никто тогда не сомневался в ней!

Одним порывом общим все объять,
Вдруг возмужали «мамкины сынки».
И добровольцами пошли в солдаты
Десятиклассники-выпускники.

Так, в сапоги солдатские обуты,
Они шинельный встретили рассвет.
Окопы заменили институт им.
А артобстрелы – университет!

Новобранцы

Давно окопы стали осыпаться...
«Ура!» – над ними раздавался крик.
В атаку здесь ходили новобранцы.
К войне солдат готовил фронтовик.

Их в сорок пятом в армию призвали
На смену старшим братьям и отцам.
За них мальчишки отомстить мечтали.
Немного оставалось до конца.

«Бегом! Огонь!» – был мат окопный страшен!
Ах, как они «любили» старшину,
Который был их на немного старше.
Ушел он в сорок первом на войну.

Когда винтовки били мимо цели,
Как лютовал над ними старшина!

.....
Героями погибнуть не успели.
Как фильм, без них окончилась война.

Эхо

Душа напиться не успела,
Как горло холодом свело.
И небом полное ведро
Сорвалось в сруб заледенелый.

Ударив в колокол колодца,
Я слышал гулкий взрыв на дне.
И эхо боли отдается
Во мне, как память о войне.

Открылась и сомкнулась бездна.
Журавль колодезный парил...
Скрипел разохшимся протезом
ИОВ – мой дядя Михаил.

Война

Было вначале слово.
И слово было: «Война».
По-библейски сурово
Внимала ему страна.

Жизнь поменялась круто
И стала до боли проста.
Раструбом репродуктора
Отверзлись пророка уста,

Голос гнева возвысив!
И кровь была солона.
С ветхозаветных истин
Начиналась война!

Так было: «Око за око».
И ярость застила свет!
И лишь под конец далёко
Забрезжил Новый Завет.

Не звери мы – человеки.
«За други своя» – помин.
И опустили веки
Волкодавы...
«Аминь».

Дмитрий ТЕРЕНТЬЕВ

Родился в 1987 году в городе Горьком. Окончил Нижегородское речное училище им. И.П. Кулибина, юридический факультет Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Работал на теплоходе, заводе «Красное Сормово», в системе правоохранительных органов, юристом в частной компании.

Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Невский альманах», «Север», «Великороссь» и других периодических изданиях. Автор сборников стихов «Человек дождя» (2012), «Мозаика раненой нации» (2015).

Участник Форума молодых писателей России, СНГ и зарубежья и совещаний молодых писателей в Москве.

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

КАЖДЫЙ ИЩЕТ ОГОНЁК ВО МГЛЕ...

* * *

Шепчи меня.
Шепчи. Шепчи. Шепчи.
Так говорит река, и мне приятно
шептать её. Тянуть её лучи
и, преломляя, возвращать обратно.

Я человек воды, и мне легко
уплыть-приплыть, стекаться-растекаться,
цедить из глаз на берег молоко,
у пирса в шутку с лодками толкаться.

Когда проснусь я рыбой золотой,
не буду знать ни радости, ни грусти.
Я стану сам стремительной водой,
движением от ручейка до устья.

Я буду путать лески рыбаков,
играть в пинг-понг цветными поплавками,
тревожить плавниками сон богов,
сверкать на солнце жёлтыми боками.

Я научусь невидимо всплывать
в любой реке от севера до юга.
Как за меня обрадуется мать,
реликтовая мудрая белуга.

Не страшно опуститься и на дно,
не страшно быть зажатым берегами.

Все рыбы в мире сходятся в одном:
куда приплыть мы выбираем сами.

И страх один у рыб: посмертно стать
куском в ухё, на противне котлетой.
И есть одна у рыбы благодать, –
осесть в реке, что называют Лета,

без памяти, без боли, без следа.
...В ладонях долго не удержишь реку.
Течёт вода.
И это навсегда
дарует жизнь речному человеку.

* * *

Нас с тобой зимой согреет дом,
мы его вдвоём согрели сами.
Я смотрю, пришиблен февралём,
в сумерки, как в щель между мирами.

За окном неслышно ходит снег.
На окне мерцает керосинка.
Будто за окном двадцатый век,
пепел Нагасаки с Хиросимой.

Каждый ищет огонёк во мгле.
Зажигать огни – святое дело.
Вновь метёт, метёт по всей земле,
как сто лет назад, во все пределы.

Свет несущая, приди к одру
да избави мя от жизни пресной.
Этой ночью навсегда умру.
Поутру, как водится, воскресну.

Буду снова раздувать в душе
смолкнувшее пламя по старинке.
Главное, что в нашем шалаше
на окне мерцает керосинка.

* * *

А. Г.

Широко молоком растеклась Идель
по овсяным лугам и левадам,
наводнила терпеньем сердца людей,
посулила покой и отраду.

Утонувшего в дрёме, меня река
вдохновенным простором манила.
Я услышал, как в ней говорят века,
как волнуется прадедов сила.

Я услышал, как память воды влечёт,
ведовство погруженьем проверив,
как в тебе мировая река течёт
половодьями тюркских поверий.

Вот мои рукава, вот твои рукава.
Если хочешь, мы в шутку поспорим:
чьи длиннее.
Зачем? В этом ты права:
реки равными встретятся в море.

Я и ты.
Идель, аки Ак-Идель, –
сопричастие рек в новом русле.
При стремлении к целому, наш удел, –
протекать от истока до устья.

* * *

От орехового спаса
хлебом проводил Отец
куполами Арзамаса
в Бор, Ветлугу, Городец.

Мчит стрелой «Борис Корнилов»
в сонме волжских голосов.
Заманила, заманила
синь семёновских лесов,

где хранит о предках тайну
заповедный Светлояр,
граде Китеже... Где станет
тихой бухтой Красный Яр.

И привидится: беляна
об Ветлугу точит борт.
Ткёт царевна Несмеяна
в небе хохломской узор.

Позабытыми слогами
домовинный сон прорву,
прошагаю вверх ногами
по небесному ковру.

Сергей МИРОНОВ

Родился в 1970 году в Калининграде. Окончил факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. Работал в газете «Вечерний Петербург» и калининградских газетах.

Автор романа «Домочадец», повестей и рассказов, цикла интервью с художниками петербургского андеграунда. Публиковался в журнале «Нижний Новгород», альманахе «Ойкумена», сборниках «Молодые голоса».

Живет в Калининграде.

ИЗОБРЕТЕНИЕ СЧАСТЬЯ

Когда-то давно, в пору моих занятий наружной рекламой, к нам в офис зашел высокий молодой человек. Выглядел он старше своих лет: бурое, рыхлое лицо, в уголках рта точечные пунктиры коричневого налета – чрезмерное употребление кофе, табакокурение.

– Толик, – представился он. – Мастер-универсал. Делаю все сам.

Мы были заняты срочным заказом, но все же отвлеклись на худого незваного гостя; внимательно рассмотрели его нейлоновую куртку с капюшоном, растянутую горловину бордовой водолазки, затертые, некогда престижные кроссовки.

Держался Толик вполне уверенно. Сказал, что наружной рекламой начал заниматься на Камчатке, когда о существовании композитных материалов никто еще не знал, так вот, фанерой, оклеенной виниловой пленкой, он с товарищами обшил пол-Петропавловска – и ничего: конструкции выдержали испытание холодом, дождями и, видимо, временем.

Подобное утверждение прозвучало весьма подозрительно, но мы не стали спорить – рекламщики народ с ярко выраженным чувством уязвленного самолюбия – и записали номер мастера-универсала.

Наше агентство набирало обороты. Лаконичный почерк «Зебры» становился узнаваемым. Основные заказы тогда поступали по каналам Павла – нашего директора и учредителя, но далеко не последнюю роль в выборе подрядчика клиенты отдавали наработанному имени компании, а оно у нас в городе звучало достаточно громко. Случалось, мы засиживались в цеху допоздна или вообще ночевали на работе – сроки приходилось выдерживать, особенно если звонили по-

стоянные заказчики или люди по их рекомендации. В один из таких авральных дней, когда нас ужаснула безрадостная перспектива завалить открытие универсама, мы вспомнили про Толика. Звонок таинственному умельцу с Дальнего Востока был рискованным, но мы все же пригласили его на помощь. Оказывается, Толик жил рядом с нашим офисом.

В цеху он появился после двух. Быстро вник в задание, попросил отдельный стол у окна и доступ к чайнику. Трудился он почти три часа с перекурами, около пяти засобирался. Объем работы, который мы ему вынужденно спихнули, Толик перемолотил оперативно – и оставил кое-что на завтра.

– Мне пора, – сказал он, закуривая на крыльце. – Завтра к часу все будет сделано. Готовьте еще.

Мы переглянулись в недоумении.

– Может, сегодня закончишь? – спросил озадаченный Павел. – Тебе еще тридцать табличек клеить. Послезавтра открытие магазина.

– Тут полтора часа работы, – успокоил нас Толик. – К обеду закончу. Что, кстати, с расчетом?

Павел несколько растерялся.

– Ты сначала выполни заказ, потом посчитаем.

– Надо договариваться заранее, – поучительно заметил мастер и, раскрыв зонт, растворился в людском потоке под осенним дождем.

На следующий день Толик заявился в двенадцатом часу. Осмотрел гору пластиковых заготовок, покурил в задумчивости на улице. Без пятнадцати два таблички были готовы.

– Что по деньгам? – спросил универсал, допивая остывший чай.

Павел озвучил сумму.

– Маловато, – пробурчал изменившийся в лице работник. – Два дня драгоценного времени, считай, прошли впустую.

– Мы платим по прайсу. Он одинаков для всех сотрудников, – настаивал на своем Павел.

– А качество и скорость вы учитываете? – не желал отступать Толик. – Другой бы три дня провозился с заказом. И непонятно, что бы из этого вышло.

По-своему он был прав. На эту работу мы бы затратили времени больше, правда, без ущерба для качества. За уровнем продукции мы следили.

Павел поступил дипломатично. Учитывая, что в дальнейшем Толик мог нам пригодиться, директор отправил его в бухгалтерию за небольшой премией.

В следующий раз мы обратились к Толику за пару дней до открытия автосервиса. Он согласился нас выручить, но предупредил, что работать будет дома, поскольку застудил спину и больше недели не появлялся на улице. Мне пришлось взять заготовки и поехать к нему.

Толик жил в квартале немецких домов предвоенной постройки, в десяти минутах от нашего офиса. Деревянная дверь с характерной прорезью и шильдиком Briefe und Zeitungen* сохранилась в первозданном виде от прошлых хозяев, не считая грубых слоев краски, затмивших великолепие резного полотна. Однако внутри квартиры все оказалось

* Письма и газеты (нем.).

неожиданно прозаично. В коридоре висел удушливый табачный смог, живший в доме на правах постоянного квартиранта. Пахло продуктами жизнедеятельности котелкового отопления и чем-то еще несвежим и неприятным. Было тесно и, мягко говоря, неудобно. Толик докуривал сигарету и ждал меня в коридоре, пока я таскал на третий этаж заготовки. Закутанный в бабушкин пуховой платок, он периодически потирал ладонью поясницу.

Я снял обувь и заглянул в комнату. За порогом протиснулся между низким креслом и журнальным столиком и выбрался на тропинку, усыпанную газетами и скомканными бумажками. По этой замусоренной стезе Толик просачивался к окну, если осмеливался отодвинуть тяжелую мешковатую штору и впустить свет в зловещий периметр своего обитания. В обстановке тотального погрома я собрался с мыслями и объяснил Толику требования к срочному заказу. Он слушал меня внимательно, изредка морщась и охая от внезапных резей в спине. Я же, на автопилоте проговаривая задание, хотел быстрее попасть на свежий воздух.

– Все ясно, – спокойно резюмировал Толик. – Завтра к вечеру забереете ваши таблички. Осталось решить вопрос с оплатой.

Я назвал сумму.

– Не пойдет, – поморщился размазанный спец, открывая новую пачку сигарет. – Работа срочная, ответственная. Надо добавить.

– Работа простая, непыльная, – уточнил я и осмотрелся по сторонам. Сквозь летучие туманные взвеси проглядывали очертания книжных полок и яркие, несмотря на расплывшийся полумрак рисунки, приколотые к выгоревшим обоям.

Я позвонил Павлу.

– Соглашайся на его условия, – бросил он недовольно. – У нас нет времени. – И приказным тоном добавил: – Проавансируй хлопца.

Я выполнил указание директора. Оставлять деньги в подозрительной конуре, хозяин которой мог сорваться с цепи в любой момент, было опрометчивым шагом. Павел об этом не знал. Своими впечатлениями о визите к Толику я поделился с шефом на улице, глотнув живительной прохлады.

– Думаешь, исчезнет с деньгами? – спросил он, терпеливо выслушав мой рассказ.

– Все может быть, – сказал я неуверенно.

На следующий день я позвонил Толику в пять вечера. Он не ответил. В течение двух часов я безуспешно набирал его номер, пока Павел не принял решение поехать к нему вместе со мной.

– Сколько раз зарекался давать деньги вперед, – сокрушался он, сорвавшись с места на «желтый». – Что мы за народ? Без денег работать не хотим, с деньгами работать не заставишь!

У квартиры Толика мы проторчали полчаса. Я истязал кнопку звонка, Павел долбил в дверь кулаком. Жители верхних этажей посматривали на нас с недоверием: к непутевому соседу пришли соответствующие личности. Наконец, когда мы умерили пыл и собрались уйти, за дверью послышались шаги.

– Кто? – спросил недобрый глухой голос.

– Мы из «Зебры», – пояснил Павел. – Толик дома?

Ключ в замке дважды провернулся против часовой стрелки, дверь приоткрылась и уперлась в натянутую металлическую цепочку.

– За табличками? – спросил Толик, как филин, часто моргая большими глазами, из крошечной темноты. Казалось, он разглядывал нас из другого, потустороннего мира.

Повторная экскурсия по закоулкам бытия странного персонажа меня не прельщала, но я проследовал за Павлом. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что вряд ли стоило вступать с Толиком в деловые отношения – можно было выгрести со срочной сдачей заказа как-нибудь по-другому.

В отличие от меня Павел оказался не столь восприимчивым к беспорядку. Он сделал вид, что погруженная в сумрак, насыщенная неприветливыми ароматами квартира его мало беспокоит. (Впрочем, скорое открытие автосервиса действительно волновало директора намного больше обстановки, в которой он неожиданно очутился.)

– Вот ваш заказ, – безразлично сказал Толик и, зевая, шлепнулся в кресло.

Павел пересчитал таблички, затем покрутил их под тонким лучом света, проникавшим в комнату сквозь прожженную дыру в складчатой шторине, похожей на большую летучую мышь.

Похоже, он остался доволен исполнительским мастерством Толика.

– Звоним тебе с пяти часов – не отвечаешь. – Успокоившись, Павел освоился в незнакомом помещении и сел на край неубранного дивана.

– Спал я. – Толик потянулся, издав дрожащий мурлыкающий звук. – Всю ночь корпел.

– А это что? – спросил Павел. Взгляд его привлекли сочные рисунки на ватманской бумаге, рассеянные по бугристой стене.

– Это мои эскизы, малая часть эскизов, – сквозь зубы процедил Толик и с трудом закинул ноги на журнальный столик. Спина все еще его беспокоила. – В серванте на верхней полке лежат три папки. Можете посмотреть.

Подойти к стеклянной дверце, за которой вразнобой пылились картонные папки и книги, не представлялось возможным. Павел отодвинул второе кресло, заваленное непонятным хламом, и следом – нечто массивное, издавшее резкий металлический скрежет.

– Осторожно, швейная машинка. «Зингер», – предостерег директора от резких движений Толик. – Предвоенная модель, досталась от немцев.

Из-под толстых книг Павел вытащил две папки, набитые разноформатными листами. На ватмане, иссеченные тонкими линиями фломастера, были вычерчены модели автомобилей из далекого будущего: хищные, обтекаемые силуэты, аэродинамические формы, авангардная флуоресцентная раскраска, в общем, каламбур смелых авторских идей, заключенных в профессиональном графическом дизайне.

– Ого! – вырвалось у Павла. – Смелый полет фантазии.

– Это все твое? – спросил я, раскладывая на диване впечатляющие наброски.

– Мое, – шепнул сонный Толик.

– Внедрить не пробовал? – поинтересовался Павел.

– Пытался. – Толик заворочался в кресле. Он был в мохеровом банном халате, надетом на спортивную кофту. – Без толку все. По крайней мере пока. Два года назад отправлял в «Пежо» эскиз задней форточкой для малолитражки. – Толик слегка оживился. – Недавно залез в интернет: моя форточка пошла в производство на рестайлинговой модели.

– Патентовать надо, – поучительно заметил Павел.

Я спросил:

– Ты уверен, что украли твою идею? Может, эту деталь разработали до твоего изобретения?

– Идея моя, от и до, – поежился в кресле Толик. – Что с расчетом? Мне надо в аптеку за мазью. Спина замучила.

Павел протянул деньги. Личность мастера, как и его профессионализм, не вызывали больше сомнений.

Так Толик постепенно прижился в нашем агентстве.

Начал он достаточно лихо. Приходил около десяти, перекуривал, мелкими плотками дегустировал капучино и решительно подходил к столу, заваленному чертежами и пленками. Работал он быстро. Порой наш снабженец, увязший в пробках, не успевал подвозить ему материалы. Транжирить свое время Толик не любил. Ему было проще уйти домой или по делам, чем дремать в цеху, как это делали другие. Утром, дорвавшись до материалов, он наверстывал упущенное.

Через пару месяцев после начала трудовой деятельности Толик потребовал повышения зарплаты.

Павел в очередной раз задумался, на выходные взял тайм-аут, а в понедельник пошел на уступки. Мастер гипнотизировал его своими способностями, но главное – скоростным выполнением заказов. С виду трудился Толик не спеша, без видимых усилий, в процессе работы несколько раз выходил в магазин за соком, шоколадными батончиками и сигаретами. После обеда, часа за два, за три до окончания рабочего времени, начинал переодеваться – план был выполнен; мы же продолжали копошиться в цеху.

Как-то после монтажа Толик сказал:

– Моя должность – минимум исполнительный директор. Работаю за троих – и никакого поощрения. Пол-агентства у вас – откровенный балласт. – Толик нервно курил. – Никакой культуры труда, собрались одни бракоделы, – он предъявил мне сточенное сверло по металлу, – портят инструменты, переводят дорогой материал, а зарабатывают больше меня.

– Ты работаешь меньше других, – пытался вразумить я ворчливого мастера.

– При чем тут рабочее время? – рассвирепел Толик. – Я выполняю все быстро и качественно. Есть возражения?

Я не ответил.

Толик продолжал кипеть:

– Еще и рассекретил несколько технологий ускоренного монтажа. За авторскую разработку надо платить.

Собственно, на этой разработке он и погорел. Мы так и не поняли, почему пластиковые буквы над мебельным салоном ветер под корень вырвал с утепленного фасада. Подобный способ крепления был доведен у Толика до автоматизма. После ЧП споры разгорелись жестокие и драчливые. Новатор грешил на клей, который ему подсунул снабженец, не потрудившийся заранее съездить на отдаленный склад. Заказчик, знавший Павла персонально, направил в наш адрес грозную претензию. Толик отбивался как мог, валил все на клей, снабженца и дождливую погоду, а когда узнал, что из его зарплаты вычли внушительную сумму, затребовал экспертизы. Сделал это он зря. Технологию признали непригодной для монтажа полимерных изделий в фасадные утеплители. Толик не согласился с вынесенным вердиктом – в своих разработках он был уверен.

Взвинченный и гордый, мастер оседлал любимый велосипед и, пригрозив нам неприятными последствиями, укатил в неизвестном направлении.

Через два года Толик вновь зашел в «Зебру». Он заметно располнел, отпустил стильную колючую бородку, коротко подстригся. Выглядел он как всегда: мятущейся личностью без определенных занятий.

– Готов взяться за любую работу, – виновато пробубнил Толик в кабинете у Павла. – Деньги нужны.

– По тебе не скажешь: округлый, упитанный, – верно подметил директор.

Толик отнесся к себе критически:

– Немного раздался. Отъелся на бабушкиных обедах. На Камчатку летал.

К тому времени в городе расплодилось полно рекламных агентств. Конкуренция была жесточайшей. Заработки упали. Безработные рекламщики кочевали по фирмам в поисках заказов, и тут к нам заглянул еще один озабоченный специалист, да еще с подмоченной репутацией.

Добродушный Павел смилостивился над Толиком.

– Могу взять только на сделную работу. Времена сейчас непростые, – сообщил он без особого энтузиазма. – Штат сокращаем, обороты падают. Будут заказы – позвоним.

Авралы тогда случались нечасто, но все же после введения торгов на поставку материалов и подрядные услуги мы цеплялись за выгодные предложения. Павел неоднократно выигрывал аукционы, правда, для победы ему приходилось существенно снижать цены. Работали мы на минимуме собственных интересов.

Толику Павел позвонил, когда нам выпал заказ для миграционной службы. Больше сотни стендов с установкой в областных отделениях. Сжатые сроки, минимальная выгода.

С прежним усердием Толик взялся за дело. Работал в своем стиле. Резво и четко. Только на сей раз его хватало максимум на два часа. Потный, запроваженный крепким кофе, после обеда он откладывал заготовки и, отвечая на звонки новых друзей, исчезал до утра, которое у него начиналось в двенадцатом часу дня. В дверях Толик говорил: все будет сделано вовремя, оснований для беспокойства нет.

Павла это не убедило. Он повел себя умнее. В итоге часть работы Толика перепала стажеру.

Утром Толик зашипел на шефа:

– Ты кого больше ценишь? Меня или этого сопляка? Сколько раз я вас со дна вытаскивал, – не успокаивался буйный умелец. – Говорю, успею.

– Я больше по твоим правилам не играю, – огорчил Толика Павел. – Хочешь, сейчас получишь расчет. – И, не отвлекаясь от монитора, подождил: – Рабочее место за собой убирай.

На следующий день Толик явился в одиннадцатом часу и дотерпел до трех. С потерей части заказа ему пришлось смириться. Уборку рабочего места он также изобразил: подмел пол вокруг стола, к бардаку на столешнице не прикоснулся, объясняя нагромождение пластика, фольги, кофейных стаканчиков и всевозможных обрезков творческим беспорядком.

Друзья Толика заезжали за ним обычно к обеду. Все они были похожи друг на друга: катались на гремящих раздолбаных машинах и главное – ничем особо не занимались. Свободного времени у них было полно, но ждать Толика они не собирались. Дождаться приятеля, когда в планах значилась групповая поездка на дачу, в их кругу считалось дурным тоном. Звонки другу сыпались один за другим, если он «задерживался»

на работе. В такие моменты Толик ускорялся, традиционно обещал вовремя сделать работу и мгновенно испарялся, как уайт-спирит, которым мы стирали разметку с табличек.

Он очень ценил свое время – и особенно время, проведенное в компании. Если свалившийся заказ вступал в противоречие с интересами коллектива, Толик выбирал выезд на дачу. Шашлыки среди недели в окружении перспективных друзей он считал верхом блаженства, на дорогие ликеры тратил последние деньги. Нередко друзья приводили ему юных леди, иногда преподносили их в дар по праздникам и в дни рождений. Как правило, они приглашали к нему вчерашних школьниц, худощавых и плоских, так сказать, без сучков, но с задоринкой.

Объясняя рискованные интимные похождения, Толик как-то признался:

– Выхода нет, без бабы живу.

– Женщину нужно уметь содержать. У тебя это не выйдет. Ты элементарно ленив, – расстроил я холостого коллегу. – Поищи разведенную даму с ребенком. У таких обычно есть какой-то бюджет: алименты, помощь родителей, подруг. Молодую, смазливую не осилишь. Да и сам ты далеко не плейбой, без жизненного задела, хоть и с идеями.

Толик воспламенился:

– Жить со старухой? Да еще воспитывать чужих детей... Ты обо мне не лучшего мнения.

Я не стал продолжать эту тему. Спорить с ним было бессмысленно. После возвращения с Камчатки Толик стал удивительно упертым. Лишать себя жизненных удовольствий ради отдаленного материального благополучия он не планировал. Папки с разработками концепт-каров, катков, движущихся на потайных колесах к местам укладки асфальта, дизайнерских стульев и кресел валялись в подвале вместе с макулатурой и старыми книгами, а может, бесследно исчезли.

Активность Толика угасла в преддверии отъезда Павла в Германию на ПМЖ. Мастер понял, что цедить крохи из увядающего бюджета фирмы – занятие бестолковое, и в очередной раз гордо исчез. На этот раз навсегда.

Недавно я встретил его на улице. Не виделись мы лет десять, если не больше. Поначалу я задумался, Толик ли это: толстый, щекастый, подпоясанный широким ремнем, страхующим полусферу грузного живота.

Мужчина вел за руку говорливого мальчугана, который вприпрыжку следовал за отцом. Рядом вышагивала мать – полная, широкоплечая, окрашенная в цвета поздней осени. Она дымила сигаретой и неохотно общалась с мужем.

– Толик? – спросил я, приблизившись к невеселой семейке.

Мужчина обернулся.

– О, старик! – узнал меня мастер-универсал. – Бывают же такие встречи! Я думал, ты где-то далеко, выпорхнул на волю из нашей консервной банки.

– Я – здесь. Уехал Павел. Живет в Берлине.

Толик подтолкнул сына к жене:

– Иди к маме. – И, подтянув пожеванные, протертые штаны, живо поинтересовался: – Чем занимаешься? Рекламой?

– Пишу статьи, рассказы, веду блог, интересуюсь копирайтингом, – поделился я своими пристрастиями. – А ты чем занят? Внедрил что-нибудь?

– Стою на распиле ДСП. – Толик продемонстрировал четырехпалую кисть правой руки. – Вот, распиловочным диском указательный снес. – Он на мгновение замялся. – Изобретения, внедрения... Да вот мое изобретение, – притянул он к себе румяного сопливого мальчугана. – С радостью внедрил по самое не хочу!

Тут в разговор влезла жена.

– Спицын, кончай пошлить! – Она наградила Толика смачным подзатыльником. – Изобретатель хренов! Щели на балконе заделать не можешь! Быстро домой! Придешь – сразу за работу!

Не сказав ни слова, Толик снова прижал к себе сына и коряво усмехнулся.

– Вернись – проверю! – пригрозила жена. – Она достала из сумки смятый полиэтиленовый пакет и зашла в продуктовый магазин.

Толик молча протянул мне травмированную руку:

– Ладно, брат! Еще свидимся как-нибудь. Может, пива хлебнем вдали от баб.

Я смотрел вслед удаляющемуся папаше.

«Как много у нас таких счастливых изобретателей», – пронзила меня внезапная мысль, и я заспешил домой, где меня ждал неоконченный рассказ об ударном прошлом нашего агентства.

Сергей КУЛАКОВ

Родился в 1964 году в Архангельске. Поэт, прозаик, драматург, переводчик. Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Сибирские огни», «Студия» (Германия), «Союз писателей» (Харьков), «Урал», «Журнал Поэтов», «Волга» и других, в американской, немецкой и украинской периодике. Живет в Ялте.

ПЕРВЕНЕЦ

Выдался славный денек. Солнце по-осеннему грело, а небо было чистым от облаков. Из окна виднелись горы с округлыми вершинами, поросшие темным лесом. Листва начала опадать. Облетевшие листья лежали повсюду, не успев высохнуть и сморщиться. В такой теплый, солнечный день хорошо смотреть на опавшие листья и приятно ходить по ним, слушая, как они шуршат под ногами.

От видов в окне отвлек шум подъехавшей машины. Из автомобиля вышел мужчина и направился по асфальтовой дорожке, усыпанной опавшей листвой, к входной двери под плоским бетонным козырьком. Когда мужчина скрылся под козырьком, опять стал смотреть на деревья и горы. Легкий ветер покачивал верхушки деревьев, птицы пересвистывались в ветвях. Мягкое солнце светило сквозь пожелтевшие, но еще тугие листья, и они блестели на солнце, точно начищенные медные пластинки. Было тихо, безлюдно. Автомобиль, стоявший за окном, казался одиноким, забытым.

Человек, который приехал на автомобиле, шагнул из-под козырька, точно из иного мира. Рядом с ним была женщина. Мужчина поддерживал ее. Позади шла сестра в белом халате. Сестра держала в руках одеяло, свернутое так, когда в него заворачивают ребеночка. Они втроем ступали по нападавшим на асфальтовую дорожку листьям. Мужчина помог женщине устроиться на заднем сиденье, затем сестра передала ей обернутого одеялом ребенка, закрыла дверцу машины. Мужчина сел за руль. Автомобиль завелся, из выхлопной трубы вырвалось облачко газа. Мужчина выплянул из машины, что-то сказал сестре. Она засмеялась. Автомобиль тронулся с места. Сестра помахала им рукой, повернулась и быстро пошла по опавшим листьям к двери, держа руки в карманах своего халата.

Отошел от окна, уселся в старое кресло с деревянными подлокотниками. Их полированная когда-то поверхность была истерта множест-

вом локтей и ладоней. Не знал, чем занять себя: журнал с оторванной обложкой, стыдливо лежащий на журнальном столике, покрытом паутиной мелких трещин, точно кожа у стариков, был давно пролистан, газетные истории, новости, сплетни состарились, как и сами газеты; смотреть в окно тоже надоело. Устав от ожидания, он не знал, когда этому придет конец. Он привез жену утром. Она сказала, что схватки стали сильнее и чаще. Он позвонил. Ему сказали приезжать немедленно.

Пригревало солнце, с деревьев легкий ветер срывал подсушенные осенью листья. Листья летели, весело кувыряясь или медленно, плоско падали. Небо было синим. Над горами, взбитой ватой висели облака. Поглядывал на заднее сиденье, где сидела жена. Она стонала, когда ребенок ворочался там, внутри. Оборачиваясь к жене, спрашивал: «Ну, как?» Она улыбалась в ответ, но, если ребенок ворочался там, в животе, стонала, и глаза ее блестели от возбуждения и боли, и обеими руками поглаживала живот, желая утихомирить того, кто причинял ей эту боль. Когда боль отпускала, она коротко, часто дышала и смотрела на лицо мужа, который хотел помочь, но не знал как, и от этого был растерян, а потом переводила взгляд на зеркало, в котором отражалось лицо водителя с тонкими, черными усиками. Водитель внимательно смотрел за дорогой. Он вспомнил, как его жена рожала, и как он вез ее в родильный дом, и как она стонала от боли... Еще припомнил он радость, когда впервые взял на руки маленькое существо со сморщенным лицом, и то, как это существо, вдруг проснувшись, напугалось, стало кричать, захлебываясь собственным криком. Эти воспоминания и сейчас волновали. В ожидании сигнала светофора он спросил:

– Это у вас первый?

– Да.

– Понимаю. У меня двое – взрослые уже...

Светофор загорелся зеленым сигналом. Водитель, включив скорость, тронулся с места. Они подъехали к небольшому парку. По асфальтовой дорожке, на которой едва могли разминуться два автомобиля, направились к зданию из красного кирпича с белыми карнизами. Обогнули здание слева. Он расплатился. Водитель пожелал им удачных родов. Жена застонала – ребенок опять заворочался внутри. Переждали, пока пройдет схватка. Помог ей выйти из машины, поддерживая за руку.

– Не волнуйтесь, – сказал водитель, выглядывая из окна автомобиля, – у вас будет чудесный ребенок.

Машина тронулась с места, повернула за здание, пропала из вида. Не спеша пошли по выметенной асфальтовой дорожке. Он все время поддерживал ее. Один раз остановились, потому что ребенок опять начал двигаться. Пока не кончилась схватка, он крепко держал ее руку, чувствовал, как рука подрагивала от напряжения. Она закрыла глаза, а другая рука ее гладила живот, пытаясь смягчить боль. Видел, что ей больно – капельки пота выступили на верхней губе, на висках. Не знал, чем помочь. Потом боль ушла. Вошли внутрь здания.

Помог ей сесть. Подошел к дежурной сестре. Та сказала, что все устроит. Она хорошо управлялась со своими обязанностями. Скоро к ним подошла другая сестра. Она была очень привлекательна.

– Пойдемте со мной, – сказала она.

Втроем поднялись на второй этаж. За это время схватка у нее была лишь однажды, когда поднимались по лестнице. Шли по коридору с высоким потолком. Остановились у двери, выкрашенной белой краской. Стены тоже были белыми, опрятными.

– Подождите здесь, – сестра указала на небольшой холл, обставленный старыми креслами и журнальным столиком, – я позабочусь о вашей жене.

Они скрылись за дверью.

Она говорила, что хочет ребенка, а он считал, что им хорошо вместе. На следующий год решили отправиться в путешествие. Начали строить планы. Планы были разные, но они рассыпались после того, как она сказала, что ждет ребенка. Было раннее утро. Они лежали в постели...

– Правда? – спросил он.

– Да. Ты рад?

Зима подходила к концу.

– Да.

Кажется, он сказал не совсем то, что чувствовал.

– Правда?

– Конечно, ты же этого хочешь...

– А ты?

– Я тоже. Только это как-то неожиданно.

– Мы говорили об этом...

– Да... – старался подобрать слова, – но мы хотели путешествовать...

– Придется отложить. Это были не просто разговоры, пойми.

– Кажется, я растерялся. Ты же знаешь, как я тебя люблю.

– Ты такой хороший.

Он обнял ее. Кожа – такая теплая, гладкая.

– Извини, я думал, что нам хорошо вдвоем...

– Нам и втроем будет хорошо, правда?

– Да, – соврал он.

Сидел в кресле, листал журнал с оторванной обложкой, когда в коридор вышла сестра. Отложил журнал, поднялся...

– Как она?

– Все в порядке, не беспокойтесь.

– Это будет долго?

– Кто знает? Не волнуйтесь, все будет хорошо.

– Я могу повидать ее?

– Нет, сейчас ее готовят к родам. Извините, мне нужно позвать врача. Как только ваша жена родит, я сообщу.

– Спасибо.

Опять сел в кресло. Немного погодя появился доктор, сестра шла позади. Доктор был в белой шапочке. Лоб его, под шапочкой, прорезали две глубокие поперечные складки. Глаза за стеклами в тонкой золотой оправе казались уставшими. Доктор был очень серьезным.

Он боялся, что с появлением ребенка все, что было, может дать трещину: часть ее любви, которая должна принадлежать ему, будет отдана ребенку, время, которое она проводила с ним, будет отдано ребенку... Эти мысли приходили и приходили, и он не мог отогнать их, жил с ними, не мог избавиться от них. Он видел, сколько любви и нежности молодые матери отдают детям, и думал, думал: если у нее столько любви отойдет ребенку, что же достанется ему?

надо не думать об этом не думать это случается с другими это случается со всеми это случилось с нами это ничего это должно быть мужчина должен иметь ребенка должен воспитать его любить его

должен это его дитя его плоть его кровь вот, что следовало думать!

В дверях вновь появилась сестра. Она улыбнулась.

– Как там? – спросил он.

– Рано говорить о результатах. Ваша жена держится молодцом. Вы должны ею гордиться.

– Я ею очень горжусь, только мне казалось, что это происходит не так долго.

– Бывает по-разному. К тому же у нее первый ребеночек. Думаю, скоро все закончится. Если вы голодны, в парке есть закусочная. Извините, мне нужно идти.

За стойкой бармен смотрел телевизор, негромко играла музыка. Под стеклом холодильной витрины стояли закуски. Он заказал бутерброд с сыром и чашку кофе. Сел за столик у окна. Через невысокую каменную ограду перелезал мальчишка в ярком свитере, дальше виднелись дома, над ними – горы, освещенные солнцем. Там, где на вершинах лес был не очень густой, можно различить отдельные деревья, темневшие на фоне неба, точно иероглифы на голубой бумаге. Кофе был невкусным. Он заказал бутылку пива и еще бутербродов.

– Жена рожает? – спросил бармен, подавая заказ.

– Откуда вы знаете?

– Хм... Вы бы здесь поработали – тоже бы знали.

– Да, вы правы.

Налил пиво в стакан, выжидая пока осядет пена. Негромко играла музыка. Пиво было неплохим. Бармен устался в телевизор. За окном светило солнце. Листья на ветвях трепетали от ветра. На вершинах гор темнели деревья. Небо – синее. Горы – далекие. Деревья – темные. Кассета в магнитофоне кончилась. Бармен смотрел телевизор. Музыка не играла. За окном светило солнце. Одинокая каменная ограда, уже без мальчишки. Одинокие деревья. Одинокие горы. Одинокое небо.

Возвращаясь по парку, думал: пускай будет ребенок все будет хорошо было прекрасно когда было двое она сказала втроем будет хорошо я не верил теперь хочу верить пускай хорошо будет втроем Господи пускай все получится может будет немного трудно ничего что будет немного трудно ничего потом изменится потом все изменится пусть нам будет хорошо втроем

У входа в родильный дом пропустил незнакомую сестру, вошел за ней. В коридоре знакомый врач беседовал с женщиной, около них вертелась девочка. Часы показывали три четверти третьего. По лестнице спустилась сестра, лицо у нее было растерянное.

– Увидела вас из окна и решила не дожидаться наверху.

– Я ходил поесть.

– Я решила, что вы отправились домой, но потом увидела вас из окна.

– Она родила?

– Да... – сказала сестра. Он понял: это не все. – Вы должны выслушать то, что я вам скажу.

У него внутри что-то сжалось.

– Что с ней?

– Все дело в ребенке. Мы старались исполнить свой долг, но он появился на свет мертвым. Нам всем очень жаль. Мы ничего не могли поделать...

– Она знает?

– Ваша супруга утомлена родами, ей лучше пока не знать о несчастье.

– Можно ее увидеть?

– Она очень устала, ей нужен отдых. Приходите завтра, после обеда.

Она будет чувствовать себя лучше.

Он молчал.

– О ребенке вы ей скажете или это сделать нам? – спросила сестра.

– Скажите сами.

– Могу я чем-нибудь помочь вам?

– Нет, – сказал он и вышел на воздух.

Какие-то мысли носились в голове. Ни одна из них не могла завершиться. Мысли носились, точно обрывки бумаги в ветреный день. Сначала подумал о жене. Постарался представить, как она лежит, уставшая от родов, и не знает, что все напрасно. Не получилось. Потом подумал о том, сколько же мертвых детей видела эта сестра. Может, ее манера говорить официальными фразами оттого, что ей доверяют сообщать мужчинам, что их ребенок мертв? Но и эта мысль оборвалась. Вдруг подумал, что не узнал, кто родился – мальчик или девочка. Стал думать: кого же ему хотелось иметь, и не пришел ни к какому решению. Мысли спутались, перемешались, и тогда точно кто-то сильный ухватил нутро в кулак и крепко сдавил. Стало больно, слезы выступили из глаз. Он побрел, ступая по опавшей листве, которая придавливалась под тяжестью тела.

ЖЕНА ХУДОЖНИКА

Впрочем, мы были знакомы задолго до этой, никем из нас не чайной, встречи: когда, выгружая съестные припасы из магазинной корзины, я был потыкан пальцем в плечо, а женский голос за спиной поднял легким фальцетом окончание моей фамилии и подкрутил в знак вопроса. Обернувшись, был пойман внимательным ожиданием, лучившимся из темно-блистающих глаз с крошечной ртутной капелькой в зрачке. Ответив кратким согласием, я недоуменно глядел в эти масляные очи. Она назвалась по фамилии, как представляются давным-давно не встречавшиеся знакомцы.

Пока я рылся в глубинах памяти, пазлами вытягивая её облик из разного хлама, следы прожитых лет на лице напротив разглаживались; коротко стриженные крашенные волосы удлинялись, завиваясь каштановыми кольцами; начинающая собираться в морщины кожа у глаз подтянулась, и создавшийся образ юной женщины был такой знакомый, что я вымолвил имя её так бережно, точно пугался разбить вдребезги.

Образовалась неуклюжая пустота узнавания, заполненная переключением обилия продуктов из вместительной никелированной колесной корзины в шуршащие брюха ненасытных пакетов; перемещением этих раздувшихся, шуршащих пакетов к иноземному авто на площадке за углом магазина, торопливым росчерком на отодранном с лощеным треском блокнотном листе, позже обернувшимся её адресом, требованием обязательно быть в воскресенье к обеду (к своему удивлению, я ответил согласием) и коротким, будто точка после затянувшейся фразы, прощанием. Я подождал, пока она вырулила, и, прежде чем укатить прочь, взбросила и снова уронила пальцы обращенной ко мне руки, точно пыталась ухватить давно ускользнувшую нить, которая когда-то удерживала нас рядом.

Дни, отделявшие эту встречу от воскресного обеда, миновали. Наверное, я бы слукавил, если бы стал уверять, что тянулись они нескончаемо, – вовсе нет. Но мне было интересно посмотреть, как она живет, познакомиться с мужем, просто поговорить. После стольких лет осталось только легкое любопытство. Прежних чувств давно не было. Были обрывки размытых воспоминаний, холодные останки перегоревших отношений, которые при встрече зачем-то пытаемся раздуть, радостно вопрошая «а помнишь?», и разговор соскальзывает в прошлое, потому как здесь, в настоящем, мы стали совсем чужими людьми (что бы там ни мнили себе, поддерживая эту радостно-пустую иллюзию: «а помнишь?»). Помнить-то мы помним, а толку? Все истлело, осыпалось, унеслось прочь.

Сказать по правде, не знаю, зачем я согласился прийти, и вовсе не могу понять, зачем все-таки пошел. Проснувшись в воскресенье, лежа в теплой постели, заломив руки за голову, глядел на картину в бронзовой раме на противоположной стене, гоняя по кругу мысль: идти – не идти... Не прийти показалось невозможным – получалось не очень красиво, после того как пообещал, а оправдываться казалось мне глупым ребячеством. Решил: пойду!

Муж оказался намного моложе ее. Он отпер дверь, я принял его за молодого родственника. Потом появилась она в темном брючном костюме, который очень шел ей, и спросила: «Успели познакомиться или еще нет?» Я понял: этот человек с печально красивым лицом, с вьющимися волосами, как на гладко-мраморных головах римских патрициев, и был ее супругом.

Обедали мы вдвоем – за печально-красивым супругом зашла девушка со складным мольбертом, которая была представлена мне Мариной. Оказалось, по выходным они вместе ходили на этюды.

За обедом она рассказала о себе, о муже: познакомилась на выставке, она представляла организацию, которая сделала возможным эту выставку, он выставял там свои работы... кстати, в квартире – только его полотна. Он много работает, ей нравится его картины. Я огляделся, на стенах висели картины в простых рамах. Картины мне понравились, особенно хороши были натюрморты.

Она рассказала о себе, о работе, о жизни – обычные женские разговоры. От выпитого вина немного раскраснелась, темные, с ртутинками, глаза поблескивали. Затем справилась о моих делах, о здоровье супруги (так и сказала по-мужски: «супруги»), все ли у нас в порядке... Кажется, начали пить кофе. Ковыряя вилкой кусок торта, не поднимая глаз, я сказал: она умерла. Я боялся заплакать, как на похоронах, когда слезы лились помимо всякой воли, если была какая-то воля, и все, что я делал: кусал губы, плотно сжимал или широко раскрывал глаза – было без толку. Пугался я напрасно – все обошлось. Может, я начал привыкать к мысли о ее смерти?

– Извини, я правда не знала.

– Пустяки, – сказал я, слегка надувая губы, вымолвляя это шелестящее, подобно вылущенной от семечек коже, словечко. – Такое случается, и ты, кстати, не могла об этом знать.

– Ты ее любил?

– Да, – сказал я и наколол кусочек торта.

Случилось мне стать очевидцем одного щепетильного момента, и, сказать по правде, лучше бы этого не произошло – я не из тех, кого увлекают подробности чужой жизни. Только насмешливый случай мало вникает в такие тонкости, а может, и вникает – и весьма основательно! – чтобы сдернув, в последний момент, невидимую завесу, столкнуть нас с тем, чего мы тщательно и упрямо сторонились, потешаясь над нашей уверенностью в том, что именно с нами ничего подобного произойти не может.

Была какая-то вечеринка, одна знакомая попросила меня пойти вместе с нею. Мне не хотелось, но ей удалось убедить меня, что полезно изредка оживлять мое одиночество обществом... В общем, сам не знаю, как очутился там. Из собравшихся я был знаком только с печальным красавцем-художником и его этюдной коллегой, самым чудесным образом оказавшимися здесь. Он тоже припомнил меня. Пожав руки,

перемолвившись несколькими пустячно-обязательными при встрече малознакомых людей вопросами, на которые всегда готов ответ, мы разминулись, чтобы уже не надоедать друг другу.

Мне скоро стало скучно. Я жалел, что пришел, но надо держать внешние приличия. Миновал час, приличия были соблюдены, и я отправился одеваться. В длинной темной прихожей наткнулся на художника с его подругой. Они целовались, прижимаясь друг к другу. Меня они не заметили. Я вернулся к шумному столу. Домой я не пошел и напился, как все в тот вечер. Вот такие у них были этюды.

Я долго думал: стоит ли рассказывать ей о том, что мне открылось? Стоит ли мешаться в чужую жизнь? Пришел к выводу: да, должен! Ведь когда-то мы были близки... Я позвонил, попросил встречи, чтобы обсудить важный вопрос.

– Какой вопрос?

– Не по телефону, об этом лучше поговорить наедине.

– Хорошо. Послезавтра, к восьми вечера...

Она была одна. Выглядела очень устало. Я сказал: долго не задержу... Она ответила: сначала выпьем кофе. Я согласился. Сидя за кофейным столиком, помешивая ложечкой в густом, пахучем кофе, я поинтересовался ее мужем.

– Кажется, поехал к друзьям-художникам.

– Вероятно, вместе с этой девушкой?

– Не знаю, может быть.

Она смотрела на свои руки. Кажется, она догадалась, о чем пойдет речь. Она всегда быстро понимала, о чем я хотел говорить. Я допил кофе, вытягивая губы, чтобы не обжечься. Кофе был вкусным. Она сидела, сложив руки на коленях, не поднимая глаз. Она была готова. Я собрался духом, поставил чашку с остатками кофе на блюдце и сказал, что муж изменяет ей. Она молчала. Я рассказал, как, сам того не желая, стал свидетелем сцены в прихожей.

– Думаю, у них зашло гораздо дальше поцелуев.

– Знаю, – сказала она очень тихо, не поднимая глаз.

Я подумал, что мне послышалось.

– Что?

Она подняла голову и, глядя прямо мне в глаза, громко повторила:

– Я давно знаю.

Я не нашел ничего умнее, как промолвить:

– А-а-а... – ничего не понимая, кроме того, что напрасно завел этот разговор.

Ее вдруг точно прорвало; будто все мешавшее говорить – исчезло, разбилось, изничтожилось, и чувства, которые копились в ней, разом освободившись, хлынули на волю.

– Да-да-да: знаю и не показываю виду! Думаешь, женщине трудно догадаться о том, что муж ей изменяет? А тебе раньше в голову не приходило? Он ведь почти в сыновья мне годится...

– И ты с этим живешь?

– А ты когда-нибудь жил один? Ах да, ты ведь у нас одинокий вдовец... Только ты хоть вспоминать можешь, а мне о чем вспоминать? Что после тебя пять лет никого видеть не могла, все думала: может, вернешься. Потом, правда, были мужчины, только ни имен, ни физиономий не помню. Он давно бросил бы меня, как ты когда-то, если бы не мои деньги; да, может, еще помнит, что помогла ему стать тем, кто он сейчас. Видно, пока жалеет. Так по мне, лучше эта жалость, лучше

пусть будет эта девка, чем возвращаться домой в пустую квартиру. Об этом ты не думал?

– Что с тобой стало?

– Стало? Это ты сделал! Разве я была такой, ну-ка припомни. Слишком давно было, все забыл со своей женушкой?

– Я ведь любил ее...

– А я, я тебя не любила?

Она вышла из комнаты, едва сдерживаясь, чтобы не расплакаться. Я остался один. Было очень тихо. В тишине раздавался мерный звук старинных часов, за стеклянной их дверцей мотался неутомимый маятник. Я знал: всякие наши отношения кончены, после этого разговора мы стали чужими людьми. Нужно было попрощаться, но я не смог – не хватило духу. Взяв куртку, осторожно затворив за собой дверь, вышел на улицу. Было темно и прохладно. Высоко в небе мерцали далекие созвездия. Я побрел домой.

Там, где горели фонари, звезд становилось меньше, а где фонарей не было, в темном, ночном небе виднелось множество, множество звезд... Я шел домой и думал, как мы похожи на них: отдаленным взглядом связаны в прекрасные созвездия, а на деле – одинокие, маленькие осколки навсегда разбитого целого, и ничего, ничего с этим нельзя поделать.

Виктор ВЛАСОВ

Родился в 1987 году в Омске, учился в Московском институте иностранных языков (Омский филиал). Работает учителем английского и немецкого языка в школе.

Автор нескольких книг прозы, лауреат молодёжной премии им. Ф.М. Достоевского за повесть «Красный лотос», победитель нескольких литературных и публицистических конкурсов. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «День и Ночь», в альманахе «Земляки» (Нижний Новгород), в газетах «Литературная Россия», «Литературная газета», «День литературы».

Живет в Омске.

ТРАКТОР

Никому не уступать, приключения искать! Знакомо? Это был наш принцип, когда мы собирались вместе. Мы – это я, Андрей, Серёга, Вася. Если точно знали, что кто-то из другой компании бывал в местах поинтересней – бежали туда стремглав, нисколечко не думая об опасности. Мы исследовали заброшенный кирпичный завод, свалки под мостами на болоте, территорию гаражного кооператива, заставленного в закутках старыми аккумуляторными батареями, играли на «кладбище погребов» – название мы придумали такое, представляете? Не перечислить всех потрясающих мест, открывающих простор детскому воображению.

Я смотрел в окно на омытую дождём землю и нежно-синее небо – в груди бурлило беспокойное желание сорваться и лететь туда, роняя тапки. На улицу. На волю! Но порою, созвонившись с «боевыми товарищами», смутно догадывался – нас могут поймать и побить.

Нам, мелким хулиганам, даже нравилась опасность. Нравилось обзывать, а потом убежать. Так, с упоительным восторгом, мы «боялись» тех, кто мог бы наказать нас, но никогда не догонял: заядлого курильщика Вулкана, он же Паровоз, цыгана из «Ремонта обуви» Жигана – у него был длинный ножик-шило, токсикомана Африканца, косоного на два глаза, курчавого как негритёнок и зачем-то постоянно жующего гудрон, дородного и раздражительного Бульбаню, который просто разговаривал на матерщине и т. д.

Всерьёз же мы боялись банды «камышей». Их называли так за идиотскую манеру поджигать коричневые «сигары» соцветий рогоза и носиться по дворам, воняя дымом. По-моему, они лишь портили собою

воздух: ругались матом, отбирали у ребят игрушки, велосипеды, мелочь, раздавали тумачи – глумились, одним словом. На них мамыши слали жалобы в полицию, но все визиты участкового им, негодьям, были нипочём. Всех зная поимённо, мы ненавидели «бандюг», нарочно даже нашли дохлую собаку и провели обряд заклęcia на «кладбище погребов»: да попадитесь вы огромному садисту-мяснику – как в «Диабло»!

Однажды мы попались сами «камышам». Причиной стала увлечённость настоящей техникой и нашей новой, «взрослой», ролью в жизни. Нас наняли охранниками трактора, оставленного на пустыре.

Как не отправиться исследовать загадочный объект! Неподальёку от магазина в частном секторе, где пацанва из нашего двора бывала редко, он зарывал канаву и вдруг застыл надолго, «задремал», словно собирался трансформироваться. По крайней мере, так я фантазировал.

– Слышь, мальчиши, присмотрите за техникой? – пузатый мужик в кепке и шортах, возившийся в моторе, протягивал нам пару сотенных. Ого, а мы устроились впервые в жизни СТОРОЖАМИ!

Куда и почему ушёл работодатель, нам было всё равно. Мы для приличия дождались, чтоб добрый дядя скрылся с глаз подальше, и приступили охранять. Пока его широкая спина маячила среди кустов, ходили по периметру, присматривались к шевелению травы, швыряли туда кусками глины из канавы как гранатами, чтобы решительно и однозначно пресечь любое «покушение на поползновение» к охраняемому объекту и отработать трудовые рубрики.

С ковшом и длинной выхлопной трубой, торчащей кверху, испачканного подтекавшим маслом «автобота» мы с Васей оккупировали поплотнее, едва Андрюха и Серёжка помчались в магазин за чупа-чупсами и колой. Вернулись с кислой миной – магазин закрыт.

В итоге наша дружная команда облазила весь трактор. Мы рылись в бардачке и под поролоновым сиденьем, открывали пахучий бензобак и ржавую канистру с водой. Танцевали на крыше «автобота» и на его чёрном продымленном «носу», скрывающем загадочные металлические внутренности: мотор, карбюратор и прочие замысловатые узлы и агрегаты. Охранять покой этого дизельного монстра нам понравилось.

– Стоять, салабоны! – раздался грозный крик. Это был Мишка Орлик, главарь «камышей» по кличке Бес.

– Щ-щас з-зарезем! З-зак-к-копаем! – услышали мы заику Стёпку Черешко – Чеченца. – М-мус-сора н-не н-найдут!

Побежали мурашки. Страшно – до недержания на ногах. Серый обмарался, по-моему, душок поплыл. Мы вертели головами, молчали.

Дюжина злобных гадких шалопаев окружила нас, по-хозяйски обыскали, отобрали деньги. Потом нас мутузили руками и ногами, матеря и оплёвывая. Били просто так – для ощущения собственной власти. Били куда попало, ничуть не думая о последствиях. А что им будет? Несовершеннолетние неподсудны, а их родителям не привыкать выслушивать от полицейских. А если что, шалопаи и на родителей чихали.

Андрею тогда крепко попало по голове – он сидел, не двигаясь, тупо смотрел в землю. Его попинали, обтёрли об него ноги и оставили в покое. Васе жестоко досталось мыском сандалиии в живот, он плакал. Мне и Серёжке – не припомню, но мы там умылись слезами. Больше всех молотили нас белобрысый главарь Мишка Бес и Стёпка Чеченец.

Остальные больше угрожали и почти не били – толкали, дико издевательски смеясь. Они считали себя крутыми бандитами.

Когда глумление закончилось, уродливые человекообразные «муравьи» перебрались на трактор. Мгновенно вытащили и шумно разделили сигареты из-под сиденья, выплескали воду из канистры, раскидали вещи из бардачка. Тракториста я жалел сильнее, чем себя, и Васька глядел на трактор влажными от слёз глазами. Бежать мы не пытались, да от страха и не могли.

Неожиданно раздался крик, и, медленно опустившись на землю, Мишка Бес сквозь зубы процедил:

– Чу-ума, с-сука! Офигел что ли... а-а-а, мля...

– Я нечаянно, Бес, прости меня!

Паша Чубаров, он же Чума, закрывая дверь, не заметил Мишкиных пальцев. Теперь Мишка катался по земле и выл. Представляя себе кровавые обрубки, я застыл. И вдруг услышал спокойный голос:

– Слышите, ребята, проводите мальчика в больницу... не дай бог гангрена – полруки отнимут.

Мимо на велосипеде «Урал» проезжал невысокий худой паренёк замызганного вида.

– Глист... – пронеслось по «камышам».

На том и разошлись. Шалопаи ретировались. За ними исчез Серёжка, унося миазмы.

– Видите, как плохо быть негодниками. Бесом назовись – бес к тебе и придёт, и тебе же и напакостит. Я Пётр, – серьёзно сообщил паренёк, протягивая каждому из нас руку.

Он был старше нас, старше даже всякого злодея из Орликовой банды. Невысокий, худенький, с тощими ногами, в огромных шортах. На маленькой голове чудом держались прозрачные прямоугольные очки в серебристой оправе. Поношенная рубашка, протёртая до дыр на спине. Он зарабатывал на жизнь грузчиком. А ещё он был пономарём.

У разграбленного трактора остались мы втроём и Пётр. Он достал целлофановый мешочек с барбарисками, поделился с нами.

– Давайте погляжу раны, – предложил он. – Не смертельные, думаю. Вы ещё легко отделались – в других местах бьют так, что скорая помощь не нужна.

Пётр через свои очки внимательно осмотрел наши ссадины и заключил:

– Жить будете – всего лишь несколько синяков... Значит, за вами иудейский царь палачей послал, – добавил он авторитетно. – На этот раз у них не получилось избиение младенцев. Потому что моя молитва помогла!

Мы не поняли, при чём тут какой-то царь и младенцы. Не младенцы мы! В школу ходим. И вообще, у нас президент, а не царь. Пётр начал объяснять. Рассказал, как злomu правителю древнего царства предсказали рождение того, кто его уничтожит, и царь, испугавшись, велел убить всех детей. И так далее...

За рассказом спасителя тяжесть обиды и грусти как рукой сняло. Ни у кого ничего не болело. Он медленно ехал на велике, провожая нас домой. Рассказывал об Иисусе Христе, которому пришлось претерпеть гораздо больше нашего. Через некоторое время я ощутил боль в коленке, Андрей нащупал шишку на голове и тёр её. Вася тоже заволновался, погладив себя по животу, и на локте обнаружил огромный синяк.

– Этого спускать нельзя, ведь трактор разворовали они, а будут думать на вас, горе-сторожей, – заметил Пётр серьёзно. – Молва разнесётся быстро. А шелупонь, между прочим, не первый раз на кражах попадается!.. Слышал, они в соседнем дворе сарайку взломали и деда пьяного избили. Сделаем так... Я одного знаю – соседского. Но вы мне назовёте ещё пару фамилий, а я дам знать тётъ Тамаре, чтоб её муж, участковый, их построже допросил, и они бы покаялись. Дальше – посмотрим! А вообще рад знакомству. Я каждый день молюсь за детей, как батюшка учил. Приходите ко мне завтра к магазину после пяти...

Дома, конечно, меня ожидал допрос с пристрастием, и я всё рассказал как на духу. Вспокоились и родители всей побитой компании, телефон звонил весь вечер. Андрюху и Васю возили в больницу, проверяли, не стрясли ли одному мозги, у другого целы ли кишки. Нас с Серёгой сводили в травмпункт «снимать побои».

Всё несколько успокоилось, когда на следующий день Пётр объявил нам, что план приведён в действие и ждать остаётся недолго. Но моя мама негодовала, мол, детей избили, а бандюг намерен наказать один какой-то непонятный грузчик.

– Пономарь... – уточнил я.

– Ещё чище, – отмахнулась она, – иду в полицию! Правда, сомневаюсь, накажут ли кого или опять с хулиганья как с гуся вода.

И тут раздался стук в дверь.

– Простите нас грешных, не подавайте заявление, пожалуйста, – на пороге стояла измученная женщина, а рядом – насупившийся Орлик этот, белобрысый, и теперь вовсе не геройский, а жалкий, с забинтованными пальцами. – Проси прощения, кровопийца!!! Пьёт из меня жизнь, понимаете? – причитала в подъезде Мишкина мама. – Его посадят скоро, говорю. Я не справляюсь с ним!

Мишка повернулся и попросил прощения...

С этого случая «камышы» поутихли. Петра мы встречали не раз – он возвращался с работы на велосипеде, и всякий раз непостижимым образом его маршрут был там, где мы с приятелями шлялись. Его любимой темой была вера. Он интересно рассказывал о Боге, его сыне Иисусе, отдавшем жизнь за нашу суетливость. Или суетность – я недослышал. Вёл речь и об апостолах – так, скажем, «боевых товарищах» Христа, учения которых живут как будто где-то в каждом из нас, но мы к ним не прислушиваемся. Пётр каждый день молился, просил Всевышнего помочь нам, людям, особенно детям. Он, когда колотил в колокола, буквально пел псалмы. Без слов – одним лишь состоянием души.

А ведь тогда Всевышний нам помог, поторопив Петра с работы! Наш друг объяснил, что всё бывает неспроста. Кто-то, Богу приятный, молится за нас всех, старается, угождает.

Зачем угождать Богу, я понимал так: он нас сотворил, и ему от нас чего-то надо, а мы его расстраиваем, не оправдываем надежд. И кто-то должен всё время Богу «ездить по ушам», чтоб отвести от нас, балбесов, божий гнев, вполне заслуженный. Как в школе. Класс накосячит, а классный руководитель бегаёт к директору разруливать. И как-то даже прикольно: такое чувство, что я – киборг, как терминатора, меня «сотворила» Небесная Сеть. Пётр на это отвечал, что я глупый и ничего не понял.

И всё же хорошо, что грузчик-пономарь поделился тогда номером своего телефона, хотя, просил звонить лишь по делу. А мы в знак при-

знательности частенько провожали его до дома – он жил в старенькой бревенчатой избе вместе с родителями. Его отец служил в храме, был, если выговорить, «православным священнослужителем».

Другу Петру, помощнику православного батюшки, носящему жёлтый стихарь, мы и звонили строго по делу. Дела были важнейшие, в которых без молитвы никуда. К примеру, мне нужно было победить в забеге наперегонки вокруг школы – преодолеть два круга, – а я боялся, что новенький длинноногий Иннокентий Кукарцев обгонит. Я всех победил, придя первым – Кеша попросту не явился на физкультуру. Чудо? А как же! Петру звонил Серёга, просил помолиться – ему нужно было достойно выступить на соревнованиях, подняв тяжёлую штангу над головой. Серёга победил, войдя в тройку. Андрей буквально требовал помощи молитвой, чтобы на неделе написать контрольную работу, не повторяя материал. Написал. На «тройку». Вуаля! Вася ни о чём не просил, ни разу не звонил – запрещала мама. Оказалось, она вообще не верила ни в какое «мракобесие» и была партийной большевичкой.

Жизнь текла мутно-зелёной рекой. Банда «камышей» распалась – шалопаи выросли, разъехались по стране: кто-то взялся за ум, кто-то сел в тюрьму, кого-то обидели на зоне, кого-то посадили на перо.

С Петром я общался чаще остальных, звонил не всегда, конечно, по делу. И сейчас, когда он получил священный сан и служит в одном из омских храмов, я обращаюсь к нему с просьбой посоветовать мне интересного собеседника: священнослужителя, о котором можно рассказать в СМИ. Да, я пишу в газеты понемногу. Удивлены? У каждого свои погрешушки.

Мне запали в душу давнишние пояснения Петра о детях в Царствии Небесном – пономарь-молитвенник сказал, что дети просто верят и потому его достигают, а взрослые сомневаются – и остаются неудовлетворёнными. Фразу из Библии «Будьте как дети» понять несложно, когда в любой момент ты можешь расспросить священнослужителя, но в светском обществе поверить в эту истину куда трудней.

Из друзей детства в Омске остался Василий – он работает на железной дороге. Ему 33 года – возраст Христа, но Вася в рядах компартии, неверующий. И лишь недавно, вспоминая в прошлом яркое, товарищ Вася спросил о пономаре Петре, ставшем священнослужителем.

Серёгин отец говорил, что в Омске нечего ловить, и когда Сергею сделал выгодное предложение питерский работодатель, заметив его на соревнованиях по бодибилдингу, тот из города уехал. Серёга работает инструктором в модном спортивном зале, куда приходит бегать на эллипсоиде Михаил Боярский. Андрей тоже уехал – к тётке в посёлок Долгопрудный.

Омского батюшку Петра они не забывают. Сергей словоохотлив, он как-то мне признался, что голос отца Петра поднимает ему настроение, возвращает в беззаботное время детства. Андрей редко делится новостями, но когда речь заходит о «Петре-спасителе» и расплющенных пальцах Мишки Орлика, он заметно оживляется и шутит. Не хватает ему воспоминаний из детства. Наверное, всем взрослым не хватает.

Что до Мишки Орлика и Степана Черешко – мне стало жаль их через много лет. Мстить я и не думал, и, слава богу, такие мысли вообще меня обходят стороной. Один наш общий знакомый поведал, что, ещё далеко до совершеннолетия, их непутёвые отцы ушли из жизни.

Степана – злоупотреблял алкоголем, умер от цирроза печени, а Михаила – у него была тяжёлая невротическая патология, – покончил с жизнью в тюрьме. Их детская злоба была неприемлема, но понятна.

Молитв я выучил несколько, одна из них «Отче наш», «универсальная», как называют молодые омские священнослужители. Когда на душе лежит груз, одолевает печаль, я проговариваю заветные слова, иногда вслух, чуть слышно. Господь помогает и – гнетущие мысли отступают. А иногда молюсь как тот мытарь – просто и без лишних слов каюсь, в грудь себя бия.

Отец Пётр недавно позвонил мне и пригласил на спектакль, посвящённый событиям Великой Отечественной войны. Я прибыл на репетицию перед их выступлением в Омской духовной семинарии. Зашёл в класс, где одни дети повторяли роли, а другие рисовали. Как вы думаете, милые читатели, какой рисунок я взял и рассматривал с тёплым и щемящим чувством из своего детства?

Рисунок трактора, живого, накрытого пледом, изображённого по-детски сказочно. Тракторёнок наработался в поле, где росли ромашки, и словно собирался прикорнуть, прикрывшись пледом. Оказалось, это нарисовал сын отца Петра, вы представляете! Как потрясающе бывают сотканы людские жизни!

ДЕЖУРНЫЙ У ВЕЧНОГО ОГНЯ

Конец июля. Стояла сильная жара. Люди облепили фонтаны у Музыкального театра, на Тарской и на улице Гусарова. Пары постарше приходили и мирно сидели на парапетах, время от времени кидая монетки, среди ребят помладше нашлись смельчаки, которые искупались. Я бы тоже окунулся в прохладную воду фонтана, лихо бы нырнул, словно амфибия. Но я выполнял важную миссию, – был свидетелем на свадьбе лучшего друга. Прожив год со своей пассией, наконец-то тёзка решил жениться, а мой отец подрабатывал в качестве шофера. По сложившейся традиции молодожёны посещали значимые места нашего города – самим посмотреть и себя показать. Последнее место, куда перед свадебным пиршеством привёз нас отец, – мемориал «Вечный огонь», памяти событий Гражданской войны. Свидетельница отлучилась за гвоздиками, а мы троём пошли фотографироваться на площадку. Изнывая от жары, жених выглядел замученным. Улыбался через силу и случайно наступил на красивое пышное платье жены.

– Витя, как слон!

Передав фотоаппарат отцу, я подошёл к Вечному огню и засмотрелся на него. Кончик пламени ярко синел, бился, как живой. Вокруг полыхавшего жерла алели цветы: букеты роз и гвоздик. Незаметно около меня оказался человек на коляске. Ссутулившись, он будто не хотел, чтобы его видели.

– Не обращайтесь внимания, – грустно улыбнулся он, пальцами спустив тёмные очки на нос. Он посмотрел на меня внимательно, и показалось, хотел что-то сказать. Лоснились тёмные седеющие волосы зачёсанные назад. На загорелом широком лбу и на бритых щеках покоились волны морщин. Белый платок выглядывал из кармана потёртого серого пиджака, на котором поблёскивали металлические пуговицы. На них изображался серп и молот. У незнакомца не было ног – брюки заворачивались под самый живот.

Моё нутро заныло, я сочувственно посмотрел на беднягу. Промокнув пот на шее платком, он подмигнул:

– Вечный огонь – полезная штука! Вы об этом не задумывались, но сейчас расскажу!..

Вытащив пятьдесят рублей, я протянул ему. Глядя то на красавицу-жену, то на цветы, которые принесла свидетельница на постамент, он лихо повернул коляску. На её спинке висела капроновая сумка. Оттуда выглядывали два шампура.

– Есть и сковородка, – добавил он. – Пожарить сосиски на огне – милое дело, прямо шашлык. Да, мы до сих пор не знакомы? Василий Фёдоров.

Он крепко пожал мою руку, и мельком посмотрев на неё, заключил:

– Не любишь физически трудиться, Витёк.

– Предпочитаю умственно... – ошарашенно ответил я.

– Умственно – тоже необходимо, – иронично ответил он.

Василий привлёк внимание молодожёнов, мой отец слушал удивлённо, только свидетельница нахмурилась.

– Вчера меня отсюда выгнали, – признался он, вскинув редкие дуги бровей. – Подходит нетрезвый молодой парень и говорит: «Катись по-доброму-поздорову» – мол, дед воевал, а я катаюсь... Я отвечаю: сейчас подсолю яичницу и покачусь... Эх, люди мои, – покачал он головой, глядя на огонь отрешённо. – Суп варю на огоньке, жарю-парю!..

Он перехватил взгляд свидетельницы и печально проговорил:

– Кладите дежурному Фёдорову цветы, кладите, барышня, – Василий проделал жест рукой. – Или можете мне отдать их сразу, ведь они завянут и никому не помогут. Я их аккуратно возьму и продам, а вам пожелаю здоровья. Чему вы удивляетесь, я потерял ноги, но обманывать людей не привык.

– Держи, дружище, – новобрачный тоже подал инвалиду пятьдесят рублей.

Он обрадовался, выпрямившись в коляске. Блеснули агатами его глаза.

– Вы знаете, с кем говорите? – вдруг спросил он, гордо подняв подбородок.

На миг мне показалось, что новый знакомый – совершенно здоровый человек.

– С чемпионом Паралимпийских игр, – сам же ответил Василий, стрельнув огненным взглядом в меня. – Давай наперегонки? Дам тебе фору. Снимешь пиджак, ботинки. Босиком легче.

– Извините, – тихо произнесла Олеся, жена друга. – Мы торопимся – гости ждут.

– Человек этикета! – радостно продекламировал Василий, широко улыбнувшись. – Последний трюк позволите, прекрасная мадам?

– Только последний, – согласилась она.

Он вытащил длинный самодельный ремень из сумки и туго привязал себя к сиденью коляски. Раскачавшись, он встал на руки, поднял и скрипучую коляску. Стоя вниз головой, он покраснел и с трудом спросил:

– Слабо... повторить?

Повернувшись несколько раз, не удержался. Завалившись на бок, выругался.

– Что стоите, помогайте, родимые! – попросил он.

Я оторопело переглянулся с отцом, молодые, свидетельница стояли в замешательстве.

– Сам поднимусь, – лёжа на боку, отмахнулся он. – Пятьдесят рублей дайте.

Мой отец сунул акробату купюру. Василий, кряхтя, рывком выровнял коляску. Попрощавшись, глядел нам вслед. Мы забралась в машину. На обратном пути молчали, каждый думал о своём.

Как причудлива жизнь! Историческая память сохранила прекрасное место в городе. Вечный огонь – напоминание о погибших в страшном горниле братоубийственной Гражданской войне. Иногда может казаться, что пора забыть о событиях столетней давности? Кого согреет Вечный огонь? Но притягивает он своим теплом и сегодня – в радости – как моих друзей, так и в горе – помогает немощным и согреться и приготовить пищу. Огонь – великая стихия. Пусть он горит долго-долго, для каждого со своим смыслом.

Погулял я на свадьбе лучшего друга прекрасно. Пищу эти строки, и вновь стало мне грустно, живо представил картину у Вечного огня. Будь здоров, чемпион Василий!

Михаил СМИРНОВ

Родился в 1958 году в городе Салавате Башкирской АССР. Образование среднее техническое. Печатался в изданиях «Литературная газета», «Литературная Россия», «Молодая гвардия», «Новая литература», «Сибирские огни», «Север», «Бельские просторы» и других.

Автор ряда книг прозы. Лауреат международной премии «Филантроп», Международного конкурса детской и юношеской художественной и научно-популярной литературы им. А. Н. Толстого, международного конкурса Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» и других. Живет в Салавате.

МЕСЯЦ ЗВЕЗД И ТУМАНОВ

Наступил август, и опять я начинаю в свободное время колесить по округе, ночевать возле рек, озер и речушек, чтобы вдосталь насладиться видом иссиня-черного неба, по которому рассыпаны мириады ярких звезд, да полюбоваться утренними туманами, что поднимаются над поверхностью, закручиваясь в фигуры фантастические. Месяц звезд и туманов...

Ближе к полудню, перебравшись через брод узенькой речушки, что протекала вдоль села, впадая в Белую, надел легкий рюкзак и направился в дальний угол острова. Там, за высоким старым осинником, находилась речная коса, дугой охватывая большой плес.

Много лет прошло с тех пор, когда случайно наткнулись на это место, проезжая вдоль реки в поисках дороги, чтобы выбраться на трассу, ведущую в сторону города. Заметив просеку, решили посмотреть, что находится за лесом. Увязая в песке, нанесенном половодьем, кое-как проехали несколько десятков метров и остановились, оказавшись на краю пологого берега, где впервые увидели этот речной плес. Часто ездили сюда, чтобы насладиться его красотой и безлюдьем. Место, где уходят все заботы, исчезает тяжесть с души, словно унесенная чистой речной водой, и здесь всегда найдешь время для раздумий, оставаясь наедине с природой.

Добравшись до косы, я медленно обвел взглядом плес и направился в дальний его конец, где кусты и деревья спускались до воды полукружьем. Там было наше место, где виднелись следы кострища, торчали металлические рогулины для котелка и рядом лежал большой запас сушняка.

Присел на толстое бревно и по привычке осмотрелся, прислушиваясь к птичьему гомону, к бормотанью большого переката, что растянулся

на многие десятки метров ниже по течению, тихому и веселому журчанию глубокого родника, в котором под напором воды поднимались и опускались мельчайшие частички песка. Раньше он был небольшим. В маленькой ямке пробивалась еле заметная струйка воды между крупным галечником, да узенький ручеек впадал в реку и все. Мы дали ему новую жизнь. Углубили, расширили и, не поленившись, сделали маленькие порожки к реке. И зазвенел наш родник, заиграл, словно колокольца малые в тиши зазвучали. И радовались случайные путники, забредшие сюда, утоляя жажду чистой ключевой водой. Никто не посмел осквернить его, никто. Ибо вода – это сама жизнь, дающая силы всему живому.

К вечеру, когда тени от деревьев легли на водную гладь, а последние лучи заходящего солнца осветили противоположный берег реки, заросший непроходимым лесом и в нем тоннель – устье реки Нугуш, что впадала в Белую, я услышал резкие щелчки кнута, хруст галечника и увидел, как к костру, где закипал котелок с водой, подъехал на скрипучей телеге, полной пахучей травы, дед Петро, житель села, которое недалеко находилось.

– Тпру-у-у, милая! – хрипловатым, прокуренным голосом скомандовал он, осторожно слез, сбросил вилами несколько охапок скошенной травы поближе ко мне и только после этого повернулся, и сказал: – Здоров, Санько!

– Здрасьте, дед Петро, – ответил я, когда он подошел и присел рядом, взглянул на старика, продолжая чистить картофель. – Чего тебя на плес занесло? Уже вечереет, баба Груня потеряет, на поиски кинется, – я тихонечко хмыкнул, не отрываясь от дела.

– А-а-а, не беда, – отмахнулся старик, поправил кургузый пиджачок, скрутил сигарку, прикурил и выпустил большое облако едучего дыма. – Куда я теперича денуся? Мимо избы не проеду. Скинуть бы годков пятьдесят... Эх, кровушка играла, ешь твою медь! А сейчас... Так, водичка... Что я здесь появился, говоришь? Так издали узрел, как ты шел. Враз скумекал, что с ночевьем явился. Травки тебе притартал, чтоб слаще спалось. Ух, хороша она в этом году уродилась! А пахучая! Вдохнешь, как стопку опрокинешь, ешь твою медь. Душенька радуется. Ты это не поймешь. Городской! – сказал он, плюнул на заскорузлую ладонь, затушил окурок и бросил его в костер. – Не уразумею, что в городе хорошего? Суэта, да и только...

– Почему так думаешь, дед Петро? – я усмехнулся, зная, что старик сейчас начнет спорить о жизни, доказывать, что он прав в своих размышлениях.

Так было всегда, с той поры, как с ним познакомились.

Я продолжал готовить похлебку, радовался встрече со стариком и ждал, когда он начнет рассуждать.

Старая кляча понуро стояла возле костра, искоса посматривая на яркие языки пламени.

Достал хлеб из рюкзака, отломил краюшку и протянул ей. Всхрапнув, лошадь потянулась, щекотнула ладонь мягкими губами, ухватила хлеб и задвигала челюстями, перемалывая лакомство.

Дед Петро прикурил, натужно закашлялся, вытирая выступившие слезы и, взглянув на меня хитроватыми глазами, задал любимый вопрос:

– Скажи-ка, Санько, кто больше пользы государству приносит: сельчане или городские?

– Ну, опять ты, дед Петро, за старое взялся...

– Всякому докажу, что мы главнее, а от вас вред один, как от сорняков. Любого профессора могу за пояс заткнуть. Ответь мне, кто живет в городе? Не-е-ет, милок, не люди, а лодырюги! Во как, ешь твою медь! – старик гордо взглянул на меня.

– Ну, дед Петро, скажешь, – рассмеялся, глядя на ершистого старика.

– Погодь, погодь, – перебил дед Петро, хлопнув в ладоши, – сейчас я тебя на лопатки раскладу. Взять моего сына, Ваньку. Да ты знаешь его, оглоеда. Приедут с жинкой и стонут, что они устали, много работают, а у самих рожи – во! Из-за стола не выгонишь и помочь не дозовешься – отпуск! Они отдыхают... От чего, а?

– Не знаю, – пожал я плечами.

– Прямо скажу – от городского безделья, – старик с победным видом посмотрел на меня. – Живете как у Христа за пазухой. Скока часиков в день тратите на работу, а, Санько? Угу... Сбегали в свои конторы, восемь часов лясы поточили, и все. Скока изделий выпустите? С гулькин нос! А денюжки огромнющие получаете, ешь твою медь. В сельпо... тьфу! в магазины зашли – глаза разбегаются. Все есть, что душеньке угодно. И никто не пошевелит мозгами, откуда всяко-разная снедь взялась. А домой пришли, сразу на диваны завалились, телевизоры понавключали и цельные вечера в них таращитесь. Разве не так, Санько? Так! Солнце еще не закатилось, а вы уже спать укладываетесь.

– Дед Петро... – я хотел остановить его.

– Погодь, не перебивай! – старик шлепнул по коленке, обтянутой старыми засаленными штанами. – Скока вы, городские, имеее детишек? Одного, может, двух. Да и те хиляки. Разве не так? Так, ешь твою медь!

– Дед Петро, – не выдержал я. – Мы же в квартирах живем, в общагах. Да и деньги все улетают на детей и всякие расходы...

– Так сами же в города подались за легкой жизнью, – перебил меня старик. – Как в муравейнике... В нем хоть порядок, а у вас... тьфу, даже соседей не знаете. Был я у сына. По ступенькам поднимаюсь, а навстречу идет мужик. Я, как принято, с ним поздоровался, а он зыркнул на меня глазами, что-то пробурчал, может, обматерил, я так его и не понял, и мимо прошмыгнул, будто у него милостыню попрошу. Разве это жизнь?

– Разные соседи попадаютоя.

– А-а-а, не мельтеши, – отмахнулся дед Петро. – А теперь возьми сельчан. Они сызмальства к любой работе приучены. Уходят затемно и вертаются, когда звезды высыпают на небе. Зри на мои руки. Как кирза! Столько пахал да тяжести таскал, думал, жилу надорву. Ан ничего, выдюжил. В избу вернусь, надо еще за своим хозяйством присмотреть. Ну там курятки с гусятками, коровки, овечки да с пяток свинок. Всех надо накормить, напоить, навоз убрать из сараюшки, молочка сдоить да на сепараторе перегнать. А картошка – тридцать соток? Да еще сена животинам наготовить. Скока на это уйдет времени? У-у-у, не просчитывать, ешь твою медь! Так мы еще успевали полную горницу ребятни настрогать. И никто не жалился, что устал. Потому как силушку нам земля-матушка дает. А вы, городские, силу зазря по пустякам тратите. Вот такая моя философия, Санько! Как я вас разделал под орех? По-моему и вышло. Значит, мы больше пользы приносим, чем вы, городские.

– Дед Петро, а кто для вас делает комбайны, косилки, тракторы, а? – засмеялся я, глядя на разгоряченного разговором старика.

– Тю! – с превосходством посмотрел дед Петро на меня. – Поставь заводилки возле сел-деревень, и мы будем сами их мастрячить. И работать не по восемь часов станем, а сутками. Вот еще от нас прибыль будет. Вот такая тактика и стратегия, ешь твою медь! Получается, зря вас государство кормит. Переводите добро на... кхе, кхе... навоз. Такая моя политика жизни, Санько. Ладно, засиделся с тобой, – сказал он и, закряхтев, сел в телегу, – кости ломит. Выяснило небо. Кутайся теплее, Санько. Утро будет росным. Ну, покелева. Но, милая! Пошла, старушка...

Давно затих колесный скрип и голос деда Петра, понукающего старую лошадь. Я вычистил котелок, подбросил в костер сушняк, разложил привезенную траву, поверх нее расстелил спальник и улегся, вспоминая старика и наш разговор. Смотрел на яркие звезды, что горели на иссиня-черном небе, на темный загадочный лес на другой стороне реки.

Лежал, вдыхая духмяный запах подвядшей скошенной травы. Глядел на язычки пламени, что плясали в ночной мгле. Прислушивался к редким шорохам, всплескам хищной рыбы, нарушающей темную речную гладь, взбалмошным крикам птицы, что спросонья не удержалась на дереве, и думал про старика, про его размышления о жизни, где все должно делаться во благо человечеству, несмотря на затраченное время и силы.

Черные тени деревьев легли на предрассветную серую поверхность реки, где клочкастый туман, завихряясь, на быстром течении, поднимался над рекой, образуя фантастические фигуры, которые скрывались вдали, и на их месте появлялись другие – туманные стражи духа речного. И там, внутри, раздался первый сонный всплеск крупной рыбы, извещая о приближении нового дня. Поблекшее небо начало постепенно окрашиваться в бледно-розоватый цвет, трава и сено, что лежало на земле, покрылось росным матовым налетом, обещая хорошую погоду.

Пора и мне собираться. Поднявшись, поеживаясь от утренней прохлады, подкинул немного в затухающий костер веток, чтобы подогреть чай в котелке, и налив в кружку, начал пить небольшими глотками, поглядывая на часы. Скоро появится брательник, обещавший за мной приехать. Но еще много раз мы будем сюда возвращаться – в ночное царство тишины и раздумий. Лежать, смотреть на звезды, ждать расвета, чтобы полюбоваться августовскими туманами, и каждый раз к нам будет приезжать дед Петро, курить свой самосад, неторопливо и размеренно рассказывать про ту жизнь, которой должен жить человек. А мы, удобно устроившись на духмяном сене, будем слушать умудренного опытом и прожитыми годами старика, слова которого всегда задевают за живое и заставляют смотреть на жизнь его глазами, его взглядом на насущные проблемы. Взглядом потомственного крестьянина...

Михаил ТЯЖЕВ

Родился в 1974 году в городе Горьком. Сирота, учился в школе-интернате. Окончил Нижегородское театральное училище, работал актёром в театре; потом была учеба в Литературном институте им. Горького (семинар С.Н. Есина), затем магистратура ВГИКа. Работает сценаристом, снимается в кино.

Публиковался в журналах «Октябрь», «Новый мир», «Знамя» и других. В 2020 в электронном виде вышел сборник рассказов «Фейерверк». Лауреат Бунинской премии, премии имени О. Генри «Дары волхвов», премии журнала «Новый мир». Живет в Твери.

ДЕД ДЕНИС

На берегу стаями мальчишки и рыбачили. Один вдруг вытянул руку и как закричит: смотрите! По реке плыли яблоки – разноцветные, и их было много.

Дед Денис, ходивший по высокому берегу, остановился, привлеченный зрелищем, и задумался.

Волга в том месте когда-то доходила до самой железнодорожной линии. А когда возвращалась обратно, в свое русло, то оставляла после себя множество мелких озер. Сады тут были, яблоневые, вспоминал он. Яблок много было, окуривали их, и часто туман с реки поднимался, и тогда в саду было страшно.

Два-три мореных почерневших от времени бревна, которые, может быть, остались от сада, теперь вросли в берег и стали его частью, образовался мостик, с которого ребята ловят на донку больших лещей с кровавыми шишками.

Отец рассказывал, правда это или нет, он до сих пор не знает, хотя сколько уже времени прошло, лет семьдесят, как его нет, что главный лещ впереди всех идет, а когда натывается на сеть, бочком ложится и приподнимает ее носом, чтобы остальные могли пройти.

Старик тронул свой крючковатый с сухим кончиком нос, вздохнул глубоко, поднял голову, и в его белесых, выцветших от времени глазах поплыли облака.

Про старика говорили, что он внука, которого тоже звали Денис, ждет из тюрьмы.

Единственный сын старика давно умер, тоже в тюрьме сидел. Сам старик тоже, как будто это наследственное у них.

Внук Денис завалился рано утром. Всю ночь он кутил у кореша по зоне, с которым пересекался в электричке, где тот работал «на кармане».

Старик встретил внука и прослезился.

– Какой ты стал.

– Какой?

– Совсем взрослый.

– А ты все тот же! Я думал, ты помер уже давно.

– Есть будешь или что?

– Да прошвырнусь.

– Я тебя вчера ждал.

Старику хотелось поговорить. А Денису – побыстрее свалить отсюда на свежий воздух. Он переоделся в белый залатанный в некоторых местах «австрийский» спортивный костюм «Адидас».

– Далеко ты?

– Ты как следователь, дед! – брякнул Денис и выкатил нижнюю губу лепешкой, он всегда так делал, когда упрявился, но тут же растянулся в улыбке и улыбнулся, и лицо его приобрело какое-то наивное выражение. Дед Денис подумал, глядя на него: все мы такие, наша порода!

А вслух произнес:

– Ты к ней не ходи.

– А то че?

– Не ходи. Оставь ее. Они живут. Семья у них.

– Дед! – не стерпел Денис. – Я знаю, к кому мне ходить, а к кому не ходить!

Он не стал дожидаться лифта, сбежал по ступенькам. Ему не терпелось увидеть Верку. Сидя там, он слышал, что она замужем как пять лет уже. А до этого четыре года ездила к нему, на свиданку, оставалась. А потом как будто что-то произошло. Вот он и хотел узнать: что?

Вера работала директором продуктового магазина. Она сидела у себя в кабинете и прикладывала к голове мокрое полотенце.

– Может, еще одну? – спрашивала она кассиршу Алевтину.

– Я, когда такое случается, терплю, – ответила кассирша – миловидная, но с каким-то жестким огоньком в глазах. – Их пить... Никогда не знаешь, что от них.

Вера выдавила из фольги, которая покрывала брикет цитрамона, таблетку, разломала надвое и закинула в рот. Запила водой.

Увидела в окно Дениса и вскочила, испугавшись.

– Меня нет! Ясно?

Алевтина глянула туда же и встретилась глазами с Денисом.

– Что же делать? Как он тут оказался! – Вера судорожно искала мобильник, который лежал под стопкой отчетных бумаг. – Где он? Куда я его дела? – Она почти психовала.

Алевтина увидел край розового чехла и вытянула мобильник из-под ведомости.

– Иди. Что стоишь? – сказала Вера, сама начал судорожно набирать мужа.

Алевтина прошла в зал. В это время как раз входил Денис. Он оценил Алевтину – соседку, жившую на их площадке. Тринадцать лет назад, когда его только-только закрыли, она была еще ребенком, сколько ей там было: пятнадцать, шестнадцать? А сейчас?..

– Всем салют! О, малявка! Алька, ты ли это! – сказал он громко и поднял руки, как победитель, когда увидел ее.

– Я. Привет, Денис! – вспыхнула она, и на ее скулах показался румянец. – Ты не забыл! Ты меня всегда так называл. Как твои дела?

– Как сажа бела! Живем, не тужим, лавашки кружим! А ты ничего, гляжу! Замуж вышла?

Алевтина смутилась.

– Ничего, найдем тебе жениха.

Он прошел через турникет. Охранник уже был предупрежден и встал у него на пути.

– Не понял? – остановился перед ним Денис.

– Вам нельзя.

– В смысле санкции, что ли?

– Нельзя, и все.

– Я, может, кефирчика хочу.

Охранник помялся и пропустил его. Денис ринулся в директорскую. Но Веры там не было. Она закрылась в туалете.

Охранник вынул дубинку. Денис развернулся на него.

– Уходи! – сказал он Денису.

– Уходи-ТЕ!

– Уходите. Иначе я вызову полицию.

– Где она?

– Нет ее. На совещании.

Денис взял со стеллажа ватрушку и вальяжно проковылял к кассе. Там стоял какой-то тип в футбольной майке с номер 10 и клячил, чтобы ему продали чекушку водки. Алевтина не отпустила ему.

– Нет, – говорила она. – Не раньше десяти. Федеральный закон.

– Ну дай, трубы горят! Сил нет! Чего тебе стоит?! Будь человеком!

– У нас везде камеры. Мне потом по шапке. Уволят.

Номер 10 тогда схватил чекушку и ломанулся было к выходу. Охранник в это время стоял у директорской.

– Э! Земель! – окликнул его Денис. – Тебе же русским языком сказали, верboten.

– Чего?

– Верboten! Запрещено! Ясно?

– А ты кто?

– Конь в пальто!

Денис забрал у него бутылку и отдал Алевтине. Номер 10 помялся у входа и вышел.

– Спасибо, – сказала Алевтина. Денис лишь подмигнул ей.

Номер 10 стоял у стены. Завидев Дениса, он окликнул его.

– Ты че, Робин Гуд?!

– А ты шериф Ноттингемский?

– Меня Яша зовут. Яша Татарин, слышал? – он подошел к Денису, его сильно мотало.

– А меня Диня Медведь, слышал?

Тот сузил и так свои раскосые глаза.

– Ты – Медведь? – выпалил он и полез обниматься.

Потом они шли в кабак, который находился через дорогу.

– Я же спрыгиваю, сечешь? – рассказывал Яша Татарин. – С наркоты. А эта?.. Я же «четверку» хотел только взять. А боярышник тоже не хочется пить, я же не алкаш.

Диня слушал его и думал о Вере.

– А ты же сидел? – остановился тот.

– Вчера откинулся.

Яша Татарин снова полез обниматься.

– Молодчага! – лез он целоваться. – Сколько отмотал?

– Тринадцать и восемь.

– Слышал, за разбой вам дали. Банда-то у вас серьезная была!

Денис промолчал.

Кафе было закрыто. Яша Татарин дергал дверь, колотил кулаком.

– Сука! Ну просто твари!.. Кто о бедном алкаше замолвит слово!

– Яша, они же через полчаса откроются.

– А мне что делать?! У меня трубы. Да что трубы, саксофон и тромбон в одном флаконе!

В стороне от них стояли столики на одной металлической ножке. На них сидели птицы, тут же в мусорном баке рылась ворона, раскидывая вокруг себя пакеты из-под чипсов. Кавказец смахивал тряпкой птичий помет со столов. Затем развел огонь в мангале.

Яша Татарин подвалил к нему.

– Брат, – сказал он, – у тебя вмазать есть чего?

Тот посмотрел на него сердито и внимательно и выставил перед ним бутылку водки. Яша отсчитал ему деньги и тут же отвернув крышку, начал пить.

Он жадно глотал из горлышка.

– Ты будешь? – рыгнул он; рот его был влажный и бордовый, и блестел. Денис отказался. Он все так же наблюдал за входом в магазин. Увидел Веру. Она спускалась к джипу, который подкатил к входу.

Села в машину.

– Где он? – спросил водитель средних лет лысый, с каким-то квадратным затылком.

– Ушел. Поехали быстрее.

– Так вернется. Надо бы переговорить с ним. Где его найти?

– Прошу тебя, Саша, не нужно!

На заднем сиденье джипа полу спал брат ее мужа Гера.

– Все будет пучком, Вер! – прогнусавил он тонким голосом.

Джип развернулся на площадке перед магазином, чтобы выехать, как вдруг резко встал: дорогу ему перекрывал Денис.

Вера побледнела. Саша посигналил.

– Это он! – вжалась она в кресло.

Денис подвалил к водительской дверце, окно было открыто, и сказал:

– Ну как? Шпилишь ее?

– Денис, не надо! – Вера кидала взгляд с мужа на Дениса. – Умоляю, прошу тебя!

Гера выскочил из джипа и сразу же начал его бить. Денис не сопротивлялся, упал сразу. Гера метелил его ногами. На асфальте появилась кровь. Вера просила мужа, чтобы он остановил Геру.

– Ты же сама хотела? – ответил Саша.

– Я не этого хотела! Не этого! Останови! Прошу тебя, Саша! – билась она в истерике.

Денис улыбался, когда ее муж выглянул из машины и сплюнул:

– Еще раз увижу! Угондошу! Лады?

Алевтина все это время наблюдала за ними, стоя у окна.

Когда джип уехал, она спустился на площадку и помогла Денису подняться, утерла салфеткой кровь.

– Малявка! – промямлил он. – А что ты сегодня делаешь?

– Работаю.

– А после?

– А что?

– Тут есть кафе. Там кавказец с бородой, как у Деда Мороза, готовит отличнейшей шашлык.

– Я согласна.

– Значит, здесь, на этом месте «в тот же час».

Вера молчала. Ее муж посматривал на нее.

– Забудь! – сказал он.

– Зачем ты так?! Можно же было без рук.

С заднего сиденья отозвался Гера.

– Ладно ты, Вер. Он зек. Не знаешь, что у него на уме. Ты бы видела, какой у него костюм. У людей тик-ток в мобилах, а он все в старом «Адидасе» ходит.

– Кто носит фирму «Адидас», тот настоящий пидорас! – гаркнул муж Веры и засмеялся. Гера подхватил его смех.

– Останови!

– Куда ты! – рявкнул ее муж.

– Останови!

– К нему? Давай! Про дочь только забудь. Сама ведь тогда ко мне легла. Я тебя не заставлял.

Он притормозил у обочины, Вера решительно вышла, и на автобусе она вернулась к магазину.

Еще издали она заметила, что Алевтина помогает Денису, и заревновала.

– Ты почему не работаешь? – сказала она Але, когда подошла к ним. – Марш на место!

Алевтина была недовольна таким обращением, однако ж ушла.

– Пряма строгая такая! – начал Денис.

– С ними по-другому нельзя. Зачем ты искал меня?

– Увидеть хотел.

– Увидел?

Денис лыбился, когда смотрел на нее. А она, наоборот, сердилась.

– Я замужем, понятно?

– А чего ко мне четыре года ездила?

– Надо было.

– А потом не ездила.

– Потом нет.

– А чего не ездила?

– Хватит глупые вопросы задавать!..

Денис поморщился, когда тронул бок. Вера сразу поменялась.

– Не сильно он тебя?

– Пустяки! До нашей с тобой свадьбы заживет!

– Дурак ты, Денис! И не лечишься. Говорю же, я замужем. У нас дочь, – она вынула влажные салфетки и стала оттирать с его щеки кровоподтек.

За ними из окна наблюдала Алевтина. Денис заметил ее взгляд. Взял Веру за руку и привлек к себе, поцеловал. Потом еще.

– Хватит! Я уже другая. Пожалуйста, не ищи со мной встречи. Ты не знаешь моего мужа.

– Приходи сегодня ко мне.

– Нет.

– Придешь. Я буду ждать.

Он вернулся домой. Дед Денис сидел на балконе и строгал чопик.

В туалете на полу лежали полки.

– Дед, а у нас че, Мамай побывал?

– Шуруп сгнил. Хочу ящик заново повесить.

Денис прошел в зал и плюхнулся на диван, включил телевизор; показывали новости. Денис понял, что где-то в мире идет ремонт дорог, был редкий попугай, считавшийся вымершим, а еще где-то идет война.

– Дед, скажи, что общего между дорогой, попугаем и войной?

– А хрен его знает.

– И я не знаю.

– Тогда что спрашиваешь.

– Интересно.

– Ты мне скажи лучше, видел ее?

– Да.

– Я же просил.

– Что бы ты понимал, дед! Знаешь, мне один рассказывал там. Говорит, я люблю, когда обувь не новая, мне надо, чтобы кто-то уже разносил. Так и с женщинами. Понимаешь, дед?

– Я твою бабушку чистой взял. Мне вторчермет не нужен. Как с зоны вернулся, завязал. И ты завязывай.

Денис представил Веру и уснул.

Было четыре часа дня. На перекладине выбивали ковер, и эхо разносило удары. Старик прикрыл балкон. Прошло еще с полчаса, в дверь позвонили. Он открыл, на пороге стояла Вера. Она не ожидала его увидеть. В ее руках был пакет со знаком торговой марки магазина, в котором она работала.

– Денис дома?

– Нет его.

Она пошла было к лифту, но вернулась и протянула сумки.

– Я принесла тут немного.

– Нам не надо. Мы не бедные.

Он закрыл перед нею дверь. Проснулся Денис.

– Кто там?

– Ошиблись. К соседям приходили, – сказал старик.

Денис не поверил ему, открыл дверь и увидел пакет из магазина Веры. Он кинул взгляд на деда и ломанулся вниз.

Выбежав из подъезда, он окидывал взглядом улицу, искал ее. Бросился бежать к магазину, но и там ее тоже не было. А тут к нему подошла со спины Аля и закрыла ему глаза ладошками.

– Вера?! – обернулся он.

Это была Алевтина. Она была в розовой майке, на груди которой красовалась Минни Маус и поблескивали стразы.

– Позвонить ей можешь? – спросил он. – А то у меня мобилы пока нет.

– Я стерла ее телефон.

– Почему?

– Она уволила меня. Зато я могу с тобой в кафе пойти.

– Куда? – не понял он.

– Ты же сам пригласил. Я теперь свободна. Эта дура, прости... короче, она меня уволила, после того, как я помогла тебе.

– Малявка!.. А что, почему бы и нет! В кафе так в кафе!

Он обнял ее за плечи, и они пошли в сторону дороги.

В кафе было шумно и накурено, поэтому они вышли на улицу. Все тот же кавказец жарил шашлык, мясо брал из алюминиевого бака, над которым кружили осы.

Денис заказал бутылку красного и по двести мяса, еще какой-то салат из капусты.

Кавказец узнал его.

– Друг твой умер, – сказал он.

– Что?

– Номер 10. Он еще водку брал у меня.

– Яша Татарин.

– Сожалею. Скорая приехала слишком поздно.

– А что с ним?

– Он бутылку водки выпил. Один.

– Ясно.

Денис вернулся к столику и сказал Але:

– Идем отсюда.

– Что случилось?

– Идем, – потащил он ее, зацепив бутылку и тарелки с мясом.

– Куда мы?

– Телефон дай!

Она вынула. Он достал из кармана бумажку с номер мобильного. Позвонил корешу с зоны, но тот был занят. Тогда он повел ее к себе.

У подъезда на корточках, кружком, сидели ребята, один из них прокручивал между пальцев костяные четки.

Ребята сплевывали в центр, так что там теперь образовалась лужа. Тут же у их ног стояло по бутылке пива.

Один из них узнал Дениса.

– Медведь. Денис! – поднялся он, широко растягивая свое лицо и обнажая зубы. – Я Алик.

– Алик?!

– Вы, когда уходили, я еще вот такой был.

– Я под вами живу.

– Алик.

Алевтина сделала шаг в сторону и вошла в тень, которую откидывал «пазик», припаркованный у тротуара.

Алик приблизился к нему.

– Она же наркоманка.

– Да? – Денис обернулся на Алю. Она помахала ему.

– Она за дозу любому даст! Знатная давалка. Ее на районе все знают, – добавил Алик.

– Не может быть.

– Так что полегче. Может, она еще спидозница.

– Она же в магазине работает. А там строго. Медкнижка.

– Мое дело предупредить, – сказал Алик и сел в кружок.

Денис позвал Алевтину. Она быстро пробежала мимо ребят, стараясь не смотреть на них.

Когда он открыл дверь, дед спал, а телевизор работал. Какой-то ведущий спрашивал приглашенного гостя:

– Наши зрители интересуются, правда, что Плутон считается планетой?

Приглашенный гость губастый с залысинами, промэкал:

– Э-э-э!.. М-м-м! Плутон, как один из многих небесных объектов, э-э-э, входит в Пояс Койпера. Его масса, э-э-э...

Денис нажал кнопку дистанционного пульта, и телевизор погас.

– Давай туда! – скомандовал он. – Тут дед спит.

Они прошли на кухню. Алевтина засучила рукава и переложила шашлык в стеклянные тарелки, поставила в микроволновку.

– Мы переехали отсюда, – сказала она, мило улыбаясь ему. – Разменялись с братом. У меня комната в гостинке.

Денис недоверчиво поглядывал на нее. Заметил на ее сгибе локтя синяки. Вера быстро закатала рукава обратно, смутилась.

– Колешься?

– Раньше.

Он прокрутил штопором пробку и выдернул ее, разлил вино по бокалам.

– Давай за Пояс Копейра.

– А что это такое?

– А я что, знаю?

Они чокнулись и выпилили. Подоспел шашлык. Денис взял шмат и сунул в рот. Жевал и посматривал на Алю. Она все так же тихо улыбалась ему. Он вытер пальцы полотенцем, губы и взял ее за руку и повел в свою комнату.

– Ты куда, Денис! – делала она вид, что не понимает.

Он не стал включать свет, толкнул ее на кровать.

– Раздевайся.

– Денис.

– Не слышала, что я сказал? – рявкнул он.

Она стояла спиной к окну, за которым светила луна, и раздевалась. Денис не видел ее лица, лишь фигуру. Оставшись в одних трусиках и бюстгальтере, она обхватила себя руками, как будто мерзла. Он подумал, какое у нее хрупкое тело, хотя в одежде другое. Она подрагивала ляжками то ли от холода, то ли от страха. Он повалил ее.

Ему долго не удавалось расстегнуть ее лифчик, тогда он стащил его через верх, разорвал на ней трусики. Денис как будто куда-то торопился.

Она боялась его. Глаза его были безумны. Он ослабился, и у него ничего не получалось, от этого он злился. Она успокаивала его. А он нервничал еще сильнее.

– Может, подождать?! Ты же давно этим не занимался! Отдохнешь!

Его бесил ее тонкий нежный умоляющий голосок. Это выводило его из себя.

– Это ты такая! Поэтому у меня так!..

Ей не понравилось то, что он сказал; она попыталась подняться, уйти. Но он навалился всем телом.

– Пусти! – пролепетала она.

– Куда, сучка?

– Нет.

Он ударил ее.

– Тварь! Обмануть меня хотела! Все вы такие!

И он ударил ее снова. Она вскрикнула, попыталась вновь вырваться. Но он держал ее руки перед собой, а сам сидел на ней. Он сунул руку в карман и выщелкнул нож.

– Пусти! Денис! Не надо! Пусти!

Дверь приоткрылась, просунулась голова старика.

Алевтина не сразу поняла, что произошло. Денис рухнул на нее ничком. Старик стоял у кровати и держал в руках табуретку. Ею он ударил внука.

Одевшись, Алевтина выбежала из их квартиры.

Потом уже появился участковый, следователь, который осматривал место происшествия.

Дед Денис сидел в зале, чуть раскачивался взад-вперед и бубнил: «В тот год мороз сильный был. Мы с матерью думали, яблоня погибнет. А тут отец из тюрьмы вернулся и каждый день у антоновки костер жег. Я смотрел на него через окно. А он глядел на пламя. Оно менялось, прыгало перед ним, танцевало. А потом он кого-то убил. Кто-то ночью пробрался в сад с топором. Отца утром снова забрали. Там он сгинул. А весной дерево зацвело. Мать не знала, куда яблоки девать. Сносила ведрами в реку. Они плыли, разноцветные, как конфетти. А я думал об отце. И не верил, что из-за какой-то яблони можно так, чтобы навсегда».

Елена АЛБУЛ

Поэт, музыкант, модельер, дизайнер. Родилась и живёт в Москве. Окончила ГМУ им. Гнесиных по специальности «скрипка». Автор и ведущая программ на сетевом литературном телеканале «Литклуб.TV». Участница Форума молодых писателей России в Липках.

Автор книг для детей. Публиковалась в «Литературной газете», журналах «Москва», «Октябрь», «Мурзилка», «Костёр», парижском литературном альманахе «Глаголь», альманахе «Семейка» (Германия), сборниках фонда СЭИП.

Лауреат национальной литературной премии «Поэт года» (2014) в номинации «Детская литература». Неоднократный дипломант Всероссийского фестиваля юмористической и сатирической поэзии и песни «Ерш» в различных номинациях.

САНТЕХНИК НИКОЛАЙ РЫБКИН И ЕГО ПУТЬ В ИСКУССТВО

У слесаря-сантехника Николая Рыбкина совсем разладились отношения с женой. Разладились вот именно совсем – то есть до такой степени, что стало непонятно, как он мог прожить с этой во всём чуждой ему женщиной целых двадцать лет, да ещё и считать эти годы счастливыми.

Причин сложившейся ситуации было, видимо, много, но не последней из них – а с точки зрения Рыбкина первой – были претензии, постоянно предъявляемые Рыбкину его супругой Катериной. Будучи человеком по природе честным, Николай внутренне признавал, что некоторые её упрёки, да, могли быть в чём-то справедливыми – всё ж таки он, что ни говори, не святой. Ну, допустим, позволял он себе иногда выпить больше нормы. Но это было такое «иногда», которое случалось только по очень уважительным поводам вроде победы нашей футбольной сборной – а кто, скажите, такое не отмечает? Отчасти неправ он был и в вопросе покраски их дачного домика. Катерина считала, что дом совсем облупился и надо срочно красить, а Николай возражал, что облупился не совсем и можно ещё подождать. Поскольку эту тему Рыбкины обсуждали уже четвёртый год, дом постепенно склонялся к точке зрения хозяйки и почти потерял первоначальный вид.

Были и ещё всякие мелочи, совсем вроде бы несущественные – здесь забыл, там не успел, что-то не учёл, с чем-то не поздравил – в общем, ерунда совершеннейшая. Но постоянные придирки хоть какого стойка доведут до того, чтобы хлопнуть кружкой по кухонному столу, встать и

рявкнуть – доколе же, Катерина, ты будешь испытывать моё терпение? И если бы Рыбкин вот так встал хоть разочек, то даже и в джинсах и в любимой майке очень был бы похож на древнего римлянина, потому что и профиль у него был хоть куда, и осанка гордая благодаря регулярному посещению спортклуба, и одно это могло бы убедить Катерину, какую ценность он представляет как муж, не говоря уже о том, что в своей строительной конторе он слыл лучшим специалистом и руководимая им бригада сантехников была нарасхват.

Но никогда не вставал так Николай, никогда не обращался к жене с патетической фразой, подобную которой за две тысячи лет до проблем в семье Рыбкиных бросил сенату неведомый Николаю Цицерон. А всё потому, что был Рыбкин, как уже говорилось, человеком честным и понимал, что доля правды в её словах есть. Вот и терпел. Раздражался, но терпел. И ещё он жалел жену. После того как они выдали замуж дочь и та уехала с мужем чёрт-те куда в Сибирь, Катерина как-то сникла и когда не была на работе, то либо сидела в интернете, либо смотрела сериалы. И всё время изводила мужа упрёками.

Но вот последняя претензия – что Николай проявляет интерес к новой директорской секретарше Анжелике – была уж совершенно необоснованной. Николай не только считал себя верным мужем, но и был им. А что он смотрит на Анжеликины ноги – так в их конторе кто на эти ноги не смотрит?

Действительно, смотрели все, начиная с самого директора и кончая уборщицей, потому что Анжелика носила юбки, главным в которых было отсутствие длины, и из-за этого казалось, что вся Анжелика состоит из одних только ног. Смотрела, разумеется, и Катерина. Она работала в той же фирме бухгалтером, и у неё не было ни таких юбок, ни таких ног.

Николай появлялся в конторе нечасто, его работа была на объектах, но если появлялся, то сначала видел эти ноги, а потом осуждающее лицо жены. Это же лицо встречало его и дома. За ужином над столом всё чаще повисало угрожающее молчание. Потом молчание переползло в спальню, и Рыбкины стали ложиться спать в разное время – то Катерина засиживалась в своих ватсапах-фейсбуках, а Николай, не дожидаясь, засыпал, то сам он проверял сметы чуть не до утра и ложился уже на диванчике... А потом молчание переползло и на завтрак.

Когда-то завтрак был у Рыбкина любимым пунктом в расписании дня, теперь же это время превратилось в пытку. Иногда он даже мечтал о какой-нибудь аварии, чтоб утром срочно вызвали на объект и не пришлось бы начинать день с молчания.

В общем, ситуация сложилась патовая, и вот тут-то и нарисовался старый знакомец Рыбкина – Лёвочкин.

Знакомы они были ещё со школы, но после Николаевой женитьбы их общение постепенно заглохло. Катерина Лёвочкина не любила, считала, что он на мужа плохо влияет, называла проходимцем, бездельником, змеем-искусителем и даже бесом, хотя религиозностью не отличалась. Поэтому созванивались приятели редко, встречались и того реже, а дома у Рыбкиных Лёвочкин давным-давно не появлялся. Но с тех незабвенных времён, когда они вместе покуривали в школьном туалете, Лёвочкин был для Николая как парус одинокий, который просил бури в стихотворении Лермонтова – был то есть символом какой-то нездешней свободы. В его жизни всё время что-то происходило – бури не бури,

но рассказать было о чём. Поэтому в их редкие встречи Рыбкин в основном молчал и слушал, а Лёвочкин делился такими неправдоподобными историями, что Катерина после мужнина пересказа безапелляционно заключала: «Врёт он всё. А ты и рад уши развешивать!» И Николаю сразу становилось ясно, что да, конечно, врёт, и человек он никчёмный, и встречаться с ним – только время терять.

Но в этот раз Николай с радостью принял предложение приятеля провести вечерок в спортбаре, с пивом и креветками.

Оправдывая свою репутацию, Лёвочкин сразу стал искушать. Со времени их последней встречи он развёлся, женился, снова развёлся и сейчас был серьёзно увлечён дамой, работавшей в какой-то туристической фирме. Увлечение, как выяснилось, было не только любовным, а имело ещё и практическую пользу – дама, по его словам, могла обеспечить фантастически дешёвый отдых в любой точке мира. И вот сейчас Лёвочкин искал себе компаньона для поездки в Канкун по горячей путёвке.

– Это где это – Канкун? – спросил Николай, заказав ещё пива.

– Это, Коля, Мексика. Мексика, представляешь? Карибское море, текила, всё включено, а цена просто несерьёзная! Ну, и девчонки там, само собой, весёлые – у тебя вроде с женой-то проблемы? Соглашайся, братан!

И Рыбкин совершенно неожиданно согласился. И ведь не хотел – на кой ему эта Мексика? – а согласился. Правильно Катерина говорила – хитрый чёрт этот Лёвочкин. Вот откуда он знал о Николаевых проблемах? А ведь знал, зараза, в большое место бил. Николай тут же и пожалел, что так сгоряча согласился, но отказаться было уже не по-мужски.

О Мексике Рыбкин знал только то, что там все носят сомбреро и неплохо играют в футбол. На чемпионат мира в Москву приехали тучи мексиканских болельщиков, и Николаю они очень понравились: компанейские ребята и поют хорошо. Он даже выучил несколько слов по-мексикански – «Ола!» означало «Здорово, друг!», а «маньяна» что-то типа «да пофигу всё, само потом образуется». Ещё были, кажется, мексиканские сериалы, но это давно.

Сериалы напомнили о жене. Николай поморщился, мысленно сказал это самое «маньяна» и протянул Лёвочкину руку. Поездка в неведомый Канкун была скреплена рукопожатием над пустыми кружками и внушительной розовой горкой креветочных очистков.

Удачно подверстались отгулы, премия и тот факт, что в июне не все ещё разъехались по отпускам, и недельное отсутствие Рыбкина не должно было нарушить работу фирмы.

До последней минуты Николай не мог придумать, как сказать о поездке жене. Дело-то было неслыханное – за двадцать лет они почти не расставались, да и не хотелось. Жизнь Рыбкиных текла по годами отработанному сценарию и в целом повторяла и жизнь Рыбкиных-старших, и жизнь Катерининою семейства – патриархальную, размеренную и надёжную. И поехать на курорт в одиночку значило подорвать самые устои этой жизни.

Поэтому Николай всё больше мрачнел, доказывал себе правильность безумного этого шага, а жена, глядя в его нахмуренное лицо, всё больше убеждалась, что муж её – бесчувственный эгоист.

В день вылета, так ничего и не придумав, Рыбкин собрал сумку вроде как в спортклуб и у самой двери бросил жене через плечо:

– Я с другом отдохнуть ненадолго. Вернусь через неделю.

И быстро вышел на лестницу, оглушённый стуком собственного сердца. Что сказала жена и сказала ли вообще хоть слово, он из-за этого стука не слышал, но мелькнувшие потрясённые глаза её запомнил хорошо. Глаза эти смотрели на него всю дорогу в аэропорт и только там сменились нагловатыми глазами Лёвочкина.

Лёвочкин был возбуждён и суетлив.

– Двенадцать часиков перекантуемся – и всё, свобода!

И завёл свою песню про текилу, Карибское море и про то, что Рыбкин его ещё благодарить будет.

В самолёте Лёвочкин заигрывал со стюардессами, а Николай смотрел в окно и думал. Сначала он думал о Катерине, потому что в облачных сугробах за окном опять замелькали её глаза. Но с высоты нескольких километров так раздражавшие его упрёки жены как-то уменьшились в масштабе, а последняя претензия в лице секретарши Анжелики вообще померкла. Николай немного подумал про Анжелику, но кроме ног ничего не вспомнилось. Ходит, небось, сейчас этими ногами перед директором или главным инженером, а перед особо денежными клиентами ещё и наклоняется... Тьфу!

Потом он подумал, что завтра суббота и на дачу, значит, жена поедет одна. Да. Облака за иллюминатором постепенно раздвинулись, на земле стали видны аккуратные игрушечные домики, и Рыбкин со всей очевидностью понял, что красить надо было ещё в прошлом году. Жена опять оказалась права. Некоторое время он соображал, сколько времени и денег займёт покраска, и всё выходило меньше, чем он доказывал Катерине в спорах на эту тему.

Он раздосадованно отвернулся от окна. Тут на глаза попался экран с информацией о полёте, он увидел океан, который предстояло перелететь, и ощутил всю роковую безысходность своего положения. Куда он летит? Зачем? Ничего, ничего нельзя было изменить. Он был заперт в железном кожухе, который нёсся с чудовищной скоростью на чудовищной высоте, и чувствовал под полом, на котором стояли его ноги, каждый метр этой высоты, чувствовал как отдельную смертельную опасность, и позвонить было нельзя, и кричать бесполезно, и не с кем было поделиться... Ну не с Лёвочкиным же? Он скосил глаза на приятеля. Есть в нём, и правда, что-то такое... Но додумать эту мысль Рыбкин не успел, потому что принесли еду, и все переживания отодвинулись сначала за границы откидного столика, а потом и вообще улетучились – обед оказался неожиданно вкусным, сытным, и после него оставалось только заснуть. И Николай уснул и проснулся уже в Канкуне, где переживать было не о чем.

Мексика обрушилась на Рыбкина светом, цветом, звуками, запахами, но главное – жарой. В Турции, куда он трижды летал с женой и дочерью, жара бывала тоже неслабой, но тут сразу чувствовалось – тропики. То есть по градусам, может, выходило столько же, но по ощущениям совсем другое дело.

Пока добирались до отеля, гид всё гундел про каких-то майя, которые жили тут раньше, и что на то, как они жили, можно посмотреть на специальной экскурсии. Но Рыбкин не слушал, смотрел в окно, ведь другое полушарие тут, а это вам не в Анталию слетать. Постепенно, однако, он заметил, что шоссе – оно и в Мексике шоссе, и рекламные щиты по обочинам выглядят чуть ли не как в Москве, и даже в женщинах на этих щитах нет ничего сугубо мексиканского. Дорога была пустынной.

Николай надеялся на джунгли, но ничего интересного по сторонам тоже не было – ну кусты, ну деревья. Иногда попадались длинные нарядные стены, переходящие во внушительные ворота, близ которых были то фонтаны, то цветники. Из-за стен выглядывали крыши отелей для гостей совсем иного масштаба, но Николай не заинтересовался – немало такого он повидал и в Турции.

Но вот наконец шоссе превратилось в улицы, улицы – в переулки, и автобус завиялял между домами, останавливаясь и порциями выпуская туристов. Вышли в свой черёд и приятели.

Отель тоже не поразил. Он был, конечно, неплохой, но и только. К тому же в туалете подтекал бачок, и это задело профессиональную душу Рыбкина. Он в два счёта определил причину и устранил течь. Кондиционер, к счастью, работал исправно.

Они бросили сумки в угол и, разобравшись в местной топографии, вышли к пляжу. Вот тут-то Рыбкин и почувствовал разницу со всем тем, что видел до этого.

Море было сверхъестественно прозрачным и словно подсвеченным со дна, а песок белел, будто сахарный. Рыбкин даже постеснялся наступать на эту красоту босыми ногами и пожалел, что не принял после самолёта душ.

Три дня прошли в эйфории. Они купались, загорали, Лёвочкин ухлёстывал за туристками, а Рыбкин брал маску и часами плавал, разглядывая неправдоподобно белое дно и мелькающих над ним рыб. Ну и доплавался – сгорел так, что поднялась температура под сорок, и пришлось позорно прятаться от тропического солнца в номере, то трясясь в ознобе, то изнемогая от жара.

Когда после таблетки стало чуть полегче, он выполз в сад. В предвечерний час там было совершенно безлюдно. Лежать он не мог – болела сгоревшая кожа, но и ходить было трудно из-за головокружения, и когда в тени цветущих кустов он заметил скамейку, то очень обрадовался – сидеть было по крайней мере не больно. Он сел и стал бездумно смотреть на незнакомую цветущую растительность.

Если бы кто-то сказал Рыбкину, что он занимается медитацией, то Николай только отмахнулся бы – таких слов, а тем более понятий, в его обиходе не было. Однако в этот момент он, сам того не зная, именно медитировал – растворял, так сказать, своё «я» в окружающей среде, да так удачно, что без всяких затруднений сам в неё, в окружающую среду, и превратился, замерев не хуже статуи Будды. И через некоторое время заметил, что совсем рядом, возле усыпанной цветами ветки летает, зависая в воздухе, крошечная сверкающая птичка.

Зрелище было такое неописуемо прекрасное, что рыбкинское «я» немедленно вернулось и подсакало: это колибри.

К каким-то особенным красотам жизни слесарь Николай Рыбкин не привык. Он восхищался, конечно, великолепно забитым голом или филигранным пасом, ценил грамотно собранную обвязку котла, замечал некоторые наряды секретарши Анжелики и одобрял уверенные линии пивной кружки с собственным портретом, что была подарена ему бригадой на сорокалетие. Но такие неочевидные вещи, как картины или, скажем, скульптуры, его душу не трогали, хотя в школе он очень прилично рисовал, и это отмечали не только приятели, но и учитель черчения. «Тебе бы, Коля, сюжеты поразнообразнее», – говорил он с понимающей улыбкой, глядя, как девятиклассник Рыбкин старательно срисовывает

журнальную картинку с томно изгибающейся девицей. После женитьбы Николай рисование забросил, а посещение музеев или галерей в круг развлечений Рыбкиных не входило. Поэтому переливающаяся на солнце изумрудная птичка в окружении тропических цветов поразила его до глубины души. То же самое много лет назад чувствовал маленький Коля, заглядывая накануне Нового года в коробку с позабытыми за долгие месяцы ёлочными игрушками, – оттуда распространялся явственный запах грядущего чуда, и детское сердечко сладко сжималось.

Птичка словно танцевала перед цветком, погружая длинный клювик в самую его серединку. Её крылышки трепетали так быстро, что разглядеть их не было никакой возможности, и казалось, будто она окутана дрожащей вуалью. Вот она двинулась чуть вправо, потом чуть влево, потом – невероятно! – назад. Разве может птица летать назад? Да и птица ли это?

Волшебное существо совершенно не замечало затаившего дыхание зрителя, у которого как раз период озноба сменился жаром, и по спине пополз противный щекотный ручей, так что сохранять неподвижность стало ужасно трудно. Но Николай сейчас не шевельнулся бы и под пыткой.

Вот ведь удивительная вещь! Казалось бы, ну отчего тут замирать? Ну птица, ну маленькая – так сколько разных птиц он в жизни перевидал, и в зоопарке бывал, а однажды вообще ходили с двоюродным дядей на охоту – в десятом классе это было, уток стреляли. Ни в одну не попали, правда, а ему самому дядя всего разок дал пальнуть, но было ведь это, было! А вот не замирало сердце. А тут, понимаешь...

Конечно, ничего из вышеперечисленного Николай в этот момент не вспоминал – ни зоопарк, ни охоту. От потрясения мыслительные способности его временно обнулились, и даже если бы в запасниках мозга завалялась где-нибудь фраза «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!», он бы и её не вспомнил, потому что мгновенье-то как раз и остановилось – остановилось само, причём безо всяких просьб. А то, что произошло это в Мексике во время наблюдения за полётом местной пичужки, – так кто ж знает, где Господь приготовил тебе персональное чудо, после встречи с которым жизнь, даже самая пропащая, никогда уже не будет прежней?..

– Колибри, – раздалось за спиной.

Прокуренный голос Лёвочкина убил всё очарование момента.

– Ну ты чё, Коль? Оклемался малёк? Пойдём по пивку шарахнем.

Вспугнутая птичка исчезла среди ветвей.

На центральной улице, где одно кафе переходило в другое и тянулись справа и слева бесконечные лавки, было шумно. Темнеет в тропиках рано, и на каждом шагу заглялись уже всевозможные гирлянды, которыми изобретательные торговцы завлекали посетителей. В баре, где цветные лампочки были вделаны в чучела рыб и другой морской живности, Лёвочкин по-свойски подсел к компании весёлых сеньорит, одетых во что-то нестерпимо яркое, так что резало глаза. Как он с ними объясняться будет, без языка-то, вяло подумал Николай, осторожно устраиваясь на стуле так, чтобы ни к чему не прикоснуться горячей спиной.

– Друг мой Колька, – представил его Лёвочкин на чистом русском. Выяснилось, что сеньориты с Херсонщины, подвизаются в качестве танцовщиц в местном кабаре. – Пострадал, видите, на вашем солнце, надо полечить.

Девушки с сочувствием смотрели на опухшее лицо Рыбкина.

– Как бы не денге, – сказала одна.

– Какие деньги? У меня страховка...

– Не деньги, Коль. Денге. Это здешняя зараза зловредная, люди мрут от неё только так, – пояснил всезнающий Лёвочкин. – Но ты не бойсь, нашего человека она не берёт. Тебе какое пиво?..

Он призывно замахал рукой официантке.

У Рыбкина между тем жар сменился ознобом, и, когда на столе появились запотевшие бутылки, он содрогнулся. Где-то на окраинах памяти мелькнула рука жены с дымящейся чашкой малинового чая. Он тоскливо вздохнул.

– Пойду я...

– Да ты что, Коль? Погоди, вон и закуски несут, ты попробуй, к пиву самое то!

На столе появилось блюдо с чем-то неопознанным, похожим на большие коричневые семечки, и Лёвочкин сразу аппетитно захрустел. Рыбкин вгляделся и не поверил своим глазам. Неужели?.. И точно, это были кузнечики, видимо, жареные. Здесь организм бедного слесаря окончательно сдался, и в следующий момент Рыбкин уже стоял над ближайшей урной, извергая из себя съеденное за день.

Сквозь праздную толпу, вдоль сверкающих витрин, мимо музыкантов в расшитых блёстками сомбреро плёлся Николай к отелю. В переулках было потише, а до гостиницы вообще никакое веселье не долетало. Он вошёл в ворота и остановился – направо шла узкая дорожка в сад. Там было темно той особенной южной темнотой, от которой, кажется, густеет воздух и во рту возникает вкус шоколадных конфет «Южная ночь». Рыбкин любил эти конфеты с детства. Он заглянул в сад, но, конечно, ничего не увидел, кроме незнакомых серебряных звёзд.

Оставшиеся дни протекали однообразно. Лёвочкин ездил на какие-то экскурсии и в отель приходил поздно или вообще не приходил, а Николай днём прятался под кондиционером, а к вечеру выходил в сад и садился на скамейку – ждал. Но колибри не прилетала. Один раз он даже пересел на другую скамейку – пришла в голову шальная мысль, что птичке противен вульгарный материализм Лёвочкина, осквернивший прежнее место. Не помогло.

Чувствовал себя он уже получше и даже пару раз сходил на море – не купаться, конечно, а так, утром, встретить рассвет. Не понравилось. Рассвет в этих краях наступал с такой неприличной стремительностью, что никаких чувств не вызывал.

В последний день в сад он решил не ходить. Зачем? Только душу травить. Лёвочкин собирал сумку, а Николай хмуро смотрел на него и думал: не явись он тогда так не вовремя, можно было бы хоть смартфон достать, сфотографировать... Но в глубине души понимал: ни при чём тут Лёвочкин, никакой смартфон вытащить было невозможно, и чуда он получил ровно столько, сколько ему отмерено.

И ошибся! В последний момент, когда уже вот-вот должен был подойти автобус в аэропорт, Николай, махнув рукой на собственное решение, прямо с сумкой торопливо забежал в сад, и что же? Над кустом у заветной скамейки порхала сверкающая крошка.

Тут уж он не сплеховал – заснял-таки волшебный полёт. Получилось не очень, потому что на фоне веток птичка была не так заметна, да и руки у Рыбкина дрожали, но грело сознание того, что, так или иначе, а у него от этого волшебства что-то осталось. Хотя бы блеск изумрудных пёрышек.

На обратном пути, пока Лёвочкин спал, он разок посмотрел это видео – полюбоваться и подтвердить себе, что в Мексике всё-таки был, а то ведь всем известно это чувство: вернёшься из какого-нибудь далёкого далека, зайдёшь на родную кухню – и словно не уезжал никуда. В самолёте оно, чувство это, уже к Николаю подступало. Сахарные пляжи Канкуна постепенно растворялись в памяти, а из тёмного иллюминатора то и дело глядели на место 22А глаза Катерины.

Что сказать жене по поводу своего отсутствия, Николай придумать не мог. Выспавшийся Лёвочкин после приземления проницательно взглянул на приятеля и посоветовал:

– А ты ничего не говори. Чего это ты должен объяснять? Где надо, там и был. Пусть ценит, что вообще вернулся. А отдых от семьи любому мужику нужен. Хотя, как я понимаю, ты и не отдохнул ни фига, – добавил он с усмешкой.

Вот ведь бес. И правда, бес, подумал Николай, сухо с ним распрощался и поехал домой.

Из-за разницы во времени весь первый день на родине Рыбкин проспал как убитый. А назавтра выяснилось, что это выходной, и надо ехать на дачу. Катерина взглянула на мятое лицо вставшего с дивана мужа лишь мельком, но было видно – ждёт. Ждёт какого-то сигнала, взгляда там или жеста, чтобы понять, вернётся жизнь Рыбкиных после этого зигзага к прежней канве или... Рыбкин на такой вопрос отвечать был не готов, но руки автоматически сняли с вешалки дачную куртку, и мозг со своими сомнениями за руками не уследил. Пришлось ехать.

После мексиканских красок дачный домик встретил Рыбкина ещё печальнее, чем он себе представлял. Николай посмотрел в спину жены, которая независимой походкой пошла к дальним грядкам, и вздохнул. После его возвращения она не задала ни одного вопроса. Это было, с одной стороны, хорошо, а с другой – не очень. Правда, и виделись они всего ничего.

Получалось, что мексиканская передышка ничего не изменила. Однако жизнь в том виде, какой она была сейчас, Рыбкину не улыбалась. Сомнения навалились на него с новой силой. Чтобы хоть чем-то себя занять, он обошёл вокруг дома и поковырял отслаивающуюся краску. Да... А ведь и забор тоже: как повесили сетку временно, пока нормальной ограды нет, так она и болтается, и все кому не лень ходят, заглядывают...

Про забор он подумал, потому что мимо как раз проходил и, понятное дело, заглянул местный рабочий Саша. Настоящее имя у Саши было заковыристо-таджикское, но за многие годы летней жизни в Подмосковье он обзавёлся не только местным именем, а и бытовочкой, и, главное, постоянной клиентурой, в которую Рыбкины пока не входили. Но дальновидный Саша, обходя дозором свою территорию, заглядывал и к ним – на перспективу.

– Здрасьте, хозяин! Как дела? Прошлый выходной не видно был, уезжал куда?

Ишь, всё замечает, поморщился Николай и отвечать не стал.

– Может, есть работа какой?

Рыбкин посмотрел на стену дома, потом бросил взгляд в сторону грядок. С помощью Саши проблема покраски решилась бы в два дня, и только привычка делать всё самостоятельно мешала превратить рыбкинские сотки в оазис уже этим летом.

Уловив во взгляде Николая обнадеживающую неопределённость, Саша подошёл ещё на шаг и завёл светский разговор о дождях, которые

так лили всю прошлую неделю, что он, Саша, еле успел подготовить под засев газонными семенами соседскую лужайку, и о птицах, эти семена чуть не склевавших.

В это время – вот прямо в ту самую минуту – хмурые тучи над Сашиной головой чуть раздвинулись, и в вылившемся оттуда солнечном луче Николай увидел небольшую птичку. Птичка на миг зависла в воздухе, а потом села на заменявшую забор сетку. А может, она и не зависала совсем – просто померещилось, но он непроизвольно схватился за карман со смартфоном и восхищённо прошептал: «Как колибри!»

На колибри птица, конечно, не походила. Была она воробьиного размера и непримечательной окраски, но выпуклая её грудка цветом повторяла мякоть жёлтых плодов манго, которые в Мексике Николай очень полюбил.

Саша проследил направление его взгляда и сказал тоном знатока:

– Нет, это другой совсем птичка.

– Да знаю я, знаю. Я колибри в Мексике видал.

Раздосадованный, что его застучали за таким немужским занятием, как любование птичкой, Рыбкин отвернулся от забора. Но ничуть не обескураженный Саша продолжил тему.

– В Мексике не знаю, но у нас в Таджикистан такой птичка есть. Маленький совсем, как пчела в воздух висит, красивый очень.

– Неужели есть? – невольно заинтересовался Николай.

– Есть, есть. В Курган-Тюбе – это город такой – там станция железнодорожный построили, большой станция, целый... как это... вокзал, так в нём одна стена зеркальный сделали, чтоб красиво был, да? А птички эти зеркало не понимают, летят вперёд, думают, там нет стена, и вот так вот разбиваются, вниз падают. – Саша шлёпнул кулаком по ладони. – К вокзал идёшь – обязательно два-три калибра таких под стеной найдёшь. Они как камень драгоценный, как изумруд, знаешь? Но совсем мёртвый, да.

– Да кто ж это такое построил! – воскликнул потрясённый Николай, уже не заботясь, как это сочетается с мужественностью его облика. Кровь бросилась ему в лица, а в ушах зашумело так, как на стадионе в момент несправедливо назначенного пенальти.

– Как кто? – удивился Саша. – Начальство какой-нибудь, кто ж ещё. Когда нужно станция, строят станция...

Сорок лет – опасный для здоровья возраст. Всегда пренебрежительно относившийся к разговорам про стрессы, Рыбкин почувствовал, как его волной накрывает слабость. Он махнул Саше вялой рукой, на подгибающихся ногах подошёл к крыльцу и тяжело опустился на ступеньки. Перед глазами мелькали изумрудные пятна; они сталкивались с чем-то безжалостно-невидимым и падали вниз, а Рыбкин судорожно подставлял руки, но пятна проскальзывали между пальцами, и он хватал пустоту...

Скептик, разумеется, объяснил бы состояние бедного сантехника перенесённым тепловым ударом, акклиматизацией, а то и неведомой в наших широтах лихорадкой денге, но сам Николай твёрдо знал, что причина одна – ужасная судьба колибри в далёком городе Курган-Тюбе.

Позабыв все распри, прямо по грядкам к Рыбкину бежала жена.

– Коля! Коленька! Что с тобой?..

Такой голос Николай слышал у неё лишь однажды, лет пятнадцать назад, в больнице, в которую его привезли на скорой помощи, когда он в гололёд сломал на улице ногу. Она ворвалась тогда в приёмный покой, готовая растерзать все коммунальные службы города, а заодно и попавших под горячую руку врачей.

– Что, Коля? Что?

Рыбкин увидел её глаза – они были всё те же, что и пятнадцать лет назад; те же, что смотрели из иллюминатора. Он сглотнул и неожиданно спросил охрипшим голосом:

– Ты колибри знаешь?

Спросил – и тут же пожалел. Дурак! Вечно он сначала ляпнет, а потом думает. Какие колибри, когда они с женой месяц почти не разговаривают, да ещё после недельного отсутствия!

Катерина отпрянула и внимательно всмотрелась в Николая, взглядом измеряя температуру и давление. Не обнаружив ничего опасного, она неуверенно спросила:

– Это птичка такая, маленькая?..

Почувствовав неожиданную поддержку, Николай зашарил в кармане и торопливо вытащил смартфон.

– Вот, смотри. Для тебя снимал, – сказал он, чуть-чуть покривив душой.

По экрану запорхала изумрудная птичка.

– Как близко-то!

– Прямо в метре от меня была, даже ближе – вот как ты сейчас...

Николай запнулся – очень уж интимно это получилось с непривычки. Но жена не отрывала взгляд от экрана.

– И пошевелиться нельзя, чтоб не спугнуть. Я прямо окаменел, когда снимал. Пот ручьём течёт, жарница в Канкуне этом...

– Где?

Тут Рыбкин прикусил язык, проклиная собственную глупость. И он, перескочив через неудобный вопрос, а с ним и через половину земного шара, зачистил:

– А в Таджикистане, в Курган-Тюбе, идиоты какие-то построили вокзал с зеркальной стеной, так эти птички об неё разбиваются – летят, зеркала не видят... Понимаешь? Их потом местные подбирают, но что там подбирать? Много ли такой надо... Она же совсем крошечная. Как подумаю об этом, так...

И Николай непроизвольно сжал кулаки.

– Коля... Ужас какой... Надо ведь что-то делать!

– Вот и я так думаю, – встrepенулся было Рыбкин, но тут же сник. – Только что тут сделаешь... Тем более это же в Таджикистане где-то.

– Подожди, – рассудительно сказала жена, садясь рядом. – Как это что тут сделаешь? Есть же эта Комиссия по правам человека... нет, человек тут ни при чём... а, вот – Фонд защиты дикой природы, кажется. Они же, наверное в Красной книге, колибри эти? Надо петицию писать, в интернете подписи собирать, видео везде разместить. Ты что! Сейчас знаешь, сколько возможностей?

Рыбкин оживал на глазах.

– Думаешь, правда, можно помочь?

– Конечно! Даже ещё лучше – не надо никаких петиций, это долгая морока, а они что ж, всё это время биться будут? Надо напрямую...

И Катерина стала вспоминать своих фейсбучных подружек, среди которых нашлись те, что живут в Таджикистане, а у одной, кажется, отец крупный чиновник, или нет, не отец, а дядя...

– Я сейчас прямо ей напишу. Только... Вокзал-то уже не снесёшь.

Да, эту трудность обойти было нелегко. Николай с надеждой посмотрел на жену. Она нахмурилась и решительно сказала:

– Покрасить надо. Приехать и покрасить.

– Что покрасить? – опешил Рыбкин.

– Стену эту зеркальную. Чтоб они её видели, когда летят.

Рыбкин задумался и потёр ещё зудящую от загара шею.

– Можно даже расписать как-нибудь красиво...

– Или расписать, точно. Вон у нас во дворе трансформаторную будку расписали, помнишь? Волонтёров надо собрать и ехать туда. – Катерина помолчала. – А ты ведь и сам рисовал раньше ...

Нашлась и бумага, и карандаши. Весь вечер Николай корпел над рисунками. Что-то комкал и выбрасывал, что-то складывал в стопку. Катерина в это время писала подружкам.

– У них там ночь уже, завтра ответят. Вот у этой Фирузы в друзьях какой-то замминистра, кажется...

Николай молчал – у него было своё дело, и стопка набросков быстро росла.

К ужину план спасения колибри в Курган-Тюбе в общих чертах был готов.

А потом Катерина пошла в ванную и вышла оттуда в лёгком халатике, какого Николай у неё не помнил. Он проводил халатик заинтересованным взглядом и поднялся из-за стола – время-то уже шло к ночи. И хотя диван на даче тоже был, Рыбкин на него и не взглянул.

Когда утро робко заглянуло за неплотные дачные занавески, Николай уже не спал – лежал, думал о всяком о разном. Были некоторые опасения насчёт того, что вот заявится он в администрацию этого Курган-Тюбе, а у них там свои спасатели есть, и всплывала вдруг какая-то ревность – он уже чувствовал, что может справиться с этим делом и сам. С другой стороны, не спасли они пока никого, значит, колибри им по фигу. И потом – ездят же совсем посторонние люди чёрт те откуда китов там спасать или дельфинов. Он сам об этом читал. Нет, здесь всё должно быть нормально, тем более что у этой Фирузы в друзьях зам какого-то министра. А вот отпуск ещё раз придётся брать, это да, а сейчас ведь самый сезон... Ну, ничего, это ненадолго. А вот примерно на сколько?.. И ещё одна вещь тревожила. Ему-то свои рисунки нравились, не все, понятно, а какие отобрал. Особенно там, где лианы и цветущие кусты. Но вдруг не так надо рисовать, а как-нибудь по-другому? Художников ведь учат, а он так, из головы... Хотя если сравнить с трансформаторной будкой...

Затекла рука, и очень хотелось как-то повернуться. Но Николай лежал совершенно неподвижно и даже дышать старался пореже. Рядом тихо спала Катерина, и лицо у неё было такое беззащитно-доверчивое, что сердце Рыбкина наполнялось свирепой нежностью, как и вчера, когда он представлял себе птичек, летящих к безжалостному зеркалу.

Пока Катерина жарила на завтрак блины, Николай перебирал вчерашние рисунки. Вот этот, наверное, то что надо будет, да и этот, с узорами, тоже ничего... Жена положила горячий блин ему на тарелку и тут же, словно подхватив невысказанную мысль, взялась за планшет.

– Сейчас посмотрю. Кто-нибудь уже точно ответил. Ты начинай без меня.

Он благодарно взглянул на Катерину и щедро полил блин сметаной. Господи, вкуснота-то какая! Небось не тортильи эти...

Всё было хорошо, всё было теперь – как бы это лучше сказать? – правильно. Да, вот именно – правильно. По правилам, значит. А весь этот месяц прошлый – это просто какой-то был морок. Морок, и всё тут.

Рыбкин удовлетворённо вздохнул. А пару недель можно и за свой счёт взять. Ничего, деньги есть. И насчёт волонтеров – это Сашу порасспросить, он там всех должен знать. Школьников каких-нибудь привлечём, они на стенах рисовать любят...

– Коля...

Голос был очень странный. Рыбкин вопросительно взглянул на жену. Она протягивала ему планшет с какой-то ссылкой.

Информация о колибри, якобы обитающих в Средней Азии, не соответствует действительности, писал доцент какого-то научного института, авторитетно указывая, что во всех кочующих по интернету видеороликах порхает вовсе не птица, а бабочка-бразжник. «Только совершенно экологически безграмотный человек может перепутать во взрослой фазе позвоночное, а именно птицу, пусть и крошечную, с беспозвоночным, то есть с бабочкой», – ядовито отмечал учёный. Дальше было про дефицит знаний о родной природе, про низкий уровень образованности населения, про непопулярность чтения...

– Бразжник, значит...

Рыбкин положил планшет.

Над остывающей горкой блинов повисло молчание. И об это молчание, словно волны об утёс, разбивались и вчерашний вечер, и завтрашние планы...

Катерина затаила дыхание, не смея взглянуть на мужа, рука которого непроизвольно мяла изрисованные листки. Внезапно она подняла голову, и лицо её вдохновенно засияло.

– Коля, – сказала она совершенно проснувшимся голосом, – а ты нашу дачу распиши! Вот прямо так, как здесь.

Она вынула из-под мужниной руки листок.

– У нас тоже бабочки есть, пусть радуются. А я сбоку клематисы посажу, ещё лучше будет.

– Дом расписать? – Николай недоверчиво смотрел на жену.

– А чем дом хуже вокзала? И ехать никуда не надо. А задняя стена у нас гладкая, ни одного окна, и как раз на дорогу выходит – пусть люди посмотрят. Тогда и забор высокий не нужен. Ведь ты художник, Коля, настоящий художник!

Она взглянула на листок, что держала в руке, и вдруг всхлипнула:

– А я и не знала...

Рыбкин встал и, не говоря ни слова, вышел из дома. Катерина вытерла глаза и заторопилась следом. У задней стены Николай остановился.

– Вот здесь клематисы будут. А можно розы плетистые. Где ты её снимал, там розы были?

– Поехали, за красками съездим, – сказал Рыбкин и решительно пошёл к машине.

Так в семью слесаря-сантехника Николая Рыбкина вернулись любовь и гармония, в садовом кооперативе «Луч» появилась своя достопримечательность, а к самому Николаю обращались теперь не только по водопроводным вопросам, но и с заказами расписать шкаф или дверь, а кто посмелее, так и целый дом.

Его приятеля Лёвочкина Катерина всё так же не одобряла, поэтому Рыбкин с ним больше не общался. Но иногда, очень редко, мелькала у Николая парадоксальная мысль – а точно ли бесом-искусителем был этот Лёвочкин?..

Дмитрий ФАМИНСКИЙ

Родился в 1969 году в Нижнем Новгороде. Окончил Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского по специальности «химия». Работал в банковской, производственной и иных сферах. Основная специализация – организационное развитие, продажи.

Автор ряда книг прозы и сборника сказок. Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

РАЗУМНАЯ ДОСТАТОЧНОСТЬ

Георгий выехал из агломерации. Душной. Технологичной. Многоликой и многоголосой. Он ещё помнил город своей юности. Большой. Провинциальный. Немного заторможенный. Крупный научный центр времён СССР. Читали научную фантастику. Рассуждали о внеземных цивилизациях. Охотились за вкусной колбасой и иным дефицитом. Во времена развития капитализма в России город стал торговым. Пришли иностранные сети. Читали уже в основном учебники по маркетингу, психологии и личному лидерству. Тогда они ещё посмеивались, что чистую воду надо покупать в магазине, и жаловались на пробки. Прошло время. Появились новые тренды. Город и ещё несколько близлежащих населённых пунктов объединили в агломерацию. Соединили подвесными дорогами, тоннелями, двухуровневыми трассами. Недавно запустили первый беспилотный транспорт. Разрушенные дома старинной архитектуры на центральных улицах заменили голограммами дополненной реальности. Неплохо получилось. Охранители древностей, до того усиленно ругавшие алчных застройщиков, даже некоторое время не знали, что сказать. Окраины шагнули в сторону новыми промышленными зонами. В моду вошли лёгкие шлемы, защищающие одновременно от солнца, дождя, вредных выбросов в атмосферу и инфекций. За грибами и на рыбалку рекомендовалось теперь отъезжать минимум километров за семьдесят, а не за двадцать, как раньше. Но кого это волнует? Разве тех, которые живут только на введённые недавно неотъемлемые жизненные выплаты от государства. А кто хочет созидать, а не созерцать, строить общество будущего – тем на тихую охоту некогда. Редкие полноценные выходные Георгий старается провести максимально интересно.

Девушка голосует. Что же не подвезти.

– Мика.

– Георгий.

- Далеко едешь?
- Километров сто по шоссе, потом в сторону.
- Сколько стоит до поворота?
- Ничего не надо.
- Хорошо.

Высокие ботинки. Шортики. Маечка. Тёмные очки. Смотрит в окно. Молчит.

- А вы куда едете?
- Путешествую.
- Автостопом не опасно?
- А что это за стопочки брёвнышек? – Мика кивнула в окно.

Вдоль дороги проплывали геометрически правильно размеченные площадки земли. На них перепиленные на мерные чурбаки старые деревенские срубы. Между ними – кирпичные или новые каркасные дома.

– Утилизация старых построек, чтоб вид не портили. Государственная программа.

- А жители?
- Как и по всей стране – умирают или перебираются в города и агломерации.

Георгий немного удивлённо посмотрел на спутницу. Неужели не знает? Мика очаровательно улыбнулась.

- Вы учитесь?
- Да, постоянно!
- А какая специальность, если не секрет?
- Я просто изучаю окружающий мир.
- Дуальное образование?
- Можно и так сказать.
- А где работаете?
- Сейчас осматриваю ваш регион.
- Просто осматриваете?
- Впитываю, анализирую. Конвергенция знаний.
- Ну, ну. Не буду допытываться!
- А ты где работаешь? – Мика снова очаровательно улыбнулась.
- Чиновник средней руки.
- Ха-ха! Средней руки.

Георгий тоже улыбнулся. С Микой общаться легко. Тем более она очень симпатичная.

- А где останавливаетесь?
- Где придётся. Мотели. Хостелы. Я неприхотливая.
- Могу познакомить со своим другом. Он с семьёй живёт в замечательном месте. Такого с трассы не разглядишь.

Мика с минуту внимательно изучала Георгия.

- К нему едешь?
- Да. Потом подброшу обратно до шоссе.
- Супер!
- Скоро сворачиваем.

После поворота ехали километров двадцать по отличной дороге. В поле также попадались площадки с перепиленными срубам. Встретили и несколько логистических комплексов. Огромные. Почти без окон. Вокруг – забетонированные площадки и железные заборы.

Начался лесной массив. Дорога – растрескавшийся асфальт первой четверти XXI века. Георгий заметно сбавил скорость. Проехали несколько населённых пунктов.

- Давай заедем! – попросила Мика.
- Это вымершие сёла.
- Совсем?
- Преимущественно. Может остаться один-два жителя, но редко.
- Интересно!

Георгий свернул. Остановился у бывшего магазина. Окна выбиты. Дверь сорвана. В общем, всё понятно. Прошли по улице. Покосившиеся дома. Дома без кровли. Есть и крепкие строения, но к ним уже подбирается со всех сторон трава в человеческий рост. Ещё немного – и они осядут к земле. Несколько десятилетий – природа поглотит их бесследно.

Мика снова удивила. Она стремительно перемещалась от дома к дому. Заглядывала в окна. Иногда заходила внутрь. Предупреждения, что там могут остаться покойники, её не пугали. От кофе отказалась. Георгий пожал плечами и вернулся к машине. Девушка продолжила исследования, бесстрашно переступая через электрические провода, тянувшиеся от упавших столбов. Перебиралась через заборы и даже забиралась на крыши сараев.

К Полиному, старинному другу Георгия, попали лишь к вечеру. «Полином» – прозвище для узкого круга друзей. Товарищ – физик-теоретик, вот математический термин и приклеился. Однокашник живёт в просторном доме, срубленном в заброшенной деревне. Он прикупил и соседние участки, навёл порядок. Получилось что-то типа хутора. Недалеке располагается этнодеревня – крупный областной центр притяжения туристов. Так что друг живёт одновременно и в глуши, и в людях.

Хозяин отвёл гостям по комнате в летнем домике. От ужина Мика отказалась и, познакомившись с семейством, отправилась к себе. Может, это и к лучшему. Георгий друга не предупреждал, что приедет не один. Да и поговорить по-свойски хотелось. Уселись ужинать.

– Помню, лет двадцать назад ты к нам тоже с какой-то девушкой приезжал.

– Было дело, – улыбнулся Георгий.

– Мы здесь только что старенький домик купили. Под дачу использовали.

– Вспомнил! Столько времени прошло, – рассмеялась Татьяна, супруга Полинома.

– Ох, весёлая девчонка! Песни пела, танцевала... Всё вверх дном перевернула. Ты её тоже по дороге, помню, прихватил.

– Всё ты меня, старик, подкальываешь! Она мне потом года три жизнь переворачивала...

– Прости, прости! Рассказывай, как там в этой... агломерации.

– Ну, как... Закончили программу развития до 2035 года. Теперь новую начинаем до 2055-го.

– Помню, помню. Ты ещё всё с терминами носился малопонятными. Аддитивные технологии. Уберизация экономики. И этот... как его? Мне особо нравился... Интернет вещей! Вот.

– Точно! Они и сейчас в ходу.

– Ну, а до 2055-го мы с тобой не доживём, скорее всего.

– Кстати, сейчас активно обсуждается проблема бессмертия.

– Она уж давно обсуждается. Как человечество себя помнит.

– Но сейчас складываются реальные предпосылки. Как твоё мнение?

– Чиновники проблемой бессмертия озаботились?

– Всем занимаемся.

– Я учёный. Верю научно доказанным фактам. Пока не зафиксировано ни одного случая бессмертия живого существа. Да, в общем-то, как его и зафиксируешь?!

– В смысле?

– Бессмертие – это бесконечность. Измеряется только пройденный путь, прожитые годы. Как установить то, что произойдёт в будущем? Как можно сказать, что кто-то бессмертен?

Помолчали.

– Что же касается предпосылок, – продолжил учёный, – скорее это достижения в области продления жизни и улучшения её качества. Бессмертие, полагаю, область веры. Философии, на худой конец.

– А роботы, искусственный интеллект?

– Роботы, обладающие искусственным интеллектом, всё же не одушевлённые существа. И, наверное, никогда ими не станут.

– А принципиально, что неодушевлённые?

– Думаю, принципиально. Но и любой материал со временем разлагается, меняет свойства. Нет ничего абсолютно устойчивого и постоянного в этой жизни.

– Но их делают люди.

– Да. Акт сотворчества с Создателем. Есть такая гипотеза. Но человек не может вдохнуть живую душу. Только Бог.

– Ну, может, сможет. Или Бог поможет!

– Это уже область веры, я же говорил. И богословия.

– А при чём философия?

– Здесь проще. Любой может понять бессмертие по-своему. Например, как часто слышим: «Моё будущее в детях. Я всё вложил в детей. Это моё продолжение!» И так далее. Или ещё. Закажет семья робота. Придаст ему внешность, содержащую желаемые черты. Инсталлирует программу, которая задаст поведение андроида на тысячелетия вперёд.

– Зачем?

– Следить за могилой, за семейным архивом, домом. Реализовывать какие-либо начинания в вечности и так далее.

– А ты для себя как мыслишь?

– Я православный. Мне хватает учения о бессмертии души. И придумывать больше ничего не надо.

– Так просто?

– Конечно. Всё объясняет.

– Кругом дизайн-мышление и эмоциональный интеллект, а ты, учёный, придерживаешься как основы теории, принятой несколько тысячелетий назад!

– В этом и ценность.

– А что это у тебя за таблички по стенам в кабинете развешаны? Будто деревья.

– Это и есть деревья... Родословные.

– Ух ты!

– Это моё соприкосновение с вечностью уже в этой жизни.

Засиделись допоздна.

Наутро встали с другом почти к обеду. Георгий обнаружил Мику в компании детей Полинома. Татьяна накрывала на стол. Сам физик сидел на огромном пне посреди двора, протирал заспанные глаза.

– Георгий, чтоб не быть голословным, я тебе покажу кое-чего или кое-кого, – Полином обмотал руку жидкокристаллическим полотном и принялся водить по нему пальцем.

Георгий подошёл к товарищу, приготовился к сюрпризу, которыми время от времени любил удивлять Полином. Минут через пять из-за угла дома к ним подъехала презанятная конструкция. Голова квадратная. Туловище из старых водопроводных труб, соединённых при помощи сварки. В районе груди ящик с электроникой. Руки-манипуляторы и ноги, заканчивающиеся подобием больших роликовых коньков.

– Везде проедет, – улыбнулся Полином, заметив, что друг не может оторвать взгляд от ног-коньков и еле сдерживает смех.

– Кто это?

– Клёпа.

– Робот?

– Робот.

– За архивом следить?

– Нет, архив я ему не доверю. А вот сенца коровкам подкинуть, дров принести, брёвнышки поднять – это в самый раз!

– Неужели сам сделал?

– Проект мой. С электроникой, механикой помогли. Что-то и сам...

– Прикольный!

– Ещё какой!

– А почему «Клёпа»?

– Ты к голове присмотришь.

– Что-то напоминает...

– Смелее, напряги память!

– Неужели радар, которые на треногах в незапамятные времена вдоль дорог выставляли?

– Точно.

– А почему всё же «Клёпа»?

– Мы так радары в шутку называли, потому что они на всех поклёп возводят!

– Точно, точно.

– Но мой Клёпа хороший. Он ни на кого не клевет. Говорит мало. Я специально так сделал.

– Клёпа, – позвал Георгий.

– Здравствуй, незнакомец! – робот приблизился на расстояние вытянутой руки.

Ростом с Георгия. В плечах пошире. На каркас из труб прикреплены солнечные батареи, образующие по контуру туловища некое подобие полупрозрачной кольчуги.

– Прости, Клёпа, забыл представиться. Георгий.

– Георгий – гость.

– Точно!

– Как настроение, Георгий?

– Отличное. Как у тебя дела?

– Вчерашние поручения семьи выполнил. Поленица поправлена. Новый сруб под баню сложен. Мусор вывезен.

– Молодец, Клёпа!

– Благодарю, Георгий. Хорошего отдыха! Рекомендую обувь на толстой полиуретановой подошве, чтобы не поранить ноги случайным гвоздём или острой щепкой, и головной убор. Температура воздуха на солнце 33 градуса Цельсия, в тени – 24, воды – 23.

Полином отправил Клёпу соорудить новые мостки для спуска к воде и заодно подзарядиться на открытом солнце. К Георгию подошла Мика, а семейство друга переместилось в дом.

- Как тебе здесь, Мика?
- Классно!
- Пойдём на речку.
- Пошли.

Девушка сплела венок из одуванчиков. Идёт рядом. Улыбается. Спустились немного вниз. Крошечный обрывчик. Георгий подал Мике руку. Типичная русская речка, что бежит по лесам и петляет по полям. В старину способная обеспечить небольшие поселения водой и даже рыбой. Зимой – санный путь. Летом – сила для водяных мельниц.

- Искупаемся?
- Я по воде похожу.

Георгий обнял Мику, привлёк к себе. Девушка положила головку ему на плечо.

- С семейством нашла общий язык?
- Полностью. Так здорово поболтали!
- И округу всю, наверное, обошла?
- Конечно!
- Как впечатления?
- Этнодеревня – очень информационно!
- Не то что те унылые, которые мы проезжали?
- Это разные ощущения. Погибающие деревни – эмоционально.

Георгий поцеловал Мику в волосы.

- Приятно, – проворковала девушка.

Он решил развить успех, но Мика мягко отстранилась. Уселась на траву. Принялась расчёсывать волосы. Георгий отправился плавать.

После обеда Георгий и Полином уселись за шахматы. Играли уже часа два. Полином играл сильнее, почти всегда выигрывал. Разрядник. А Георгий изучал теорию сам. Он более импульсивен. Если бы не блиц, то не имел бы практически никаких шансов. А так иногда выигрывал по времени или из-за неожиданных комбинаций.

- Шах.
- А мы сюда.
- Шах.
- Напугал!
- Мат!
- Ух ты, не видел.
- Так-то!
- Да, сложно с математиком.
- А вот Мика твоя не дала бы мне ни одного шанса!
- Мика?
- Да.
- С чего бы? Ты с ней играл?
- Нет, конечно.
- Тогда при чём здесь...
- Ты ведь знаешь её только несколько часов.
- Намекаешь, что, как и с той девушкой, которую я встретил на дороге, у нас с Микой не может получиться ничего путного?
- Её скоро заберут, Егор.
- Не понял.
- За ней приедут.
- Кто?
- Серьёзные люди.

- Мафия?
 - Не знаю.
 - После практически полной ликвидации наличных денег и мафии-то не осталось.
 - Она биоробот.
 - Перестань меня разыгрывать, Полином!
 - Сначала я сам сомневался. Присматривался.
 - Я держал её за руку, обнимал. Гладил волосы. Поцеловал.
 - Думаю, если бы зашло дальше, и тогда ты не был бы разочарован!
 - Но мы вместе ели!
 - Вот это меня и смутило! Но, видимо, технологии зашли уже очень далеко.
 - Что же тебя утвердило?
 - Мне просто сообщение пришло, что робот зафиксирован в моём доме и лучше уладить дело по-хорошему.
 - От кого?
 - Не буду называть имён, но я немного поработал на одну научную организацию, проводившую исследования по данной тематике. Вот они по-джентльменски и предупредили.
 - Слушай, у меня есть связи. Не последние люди в области.
 - Думаю, тут и на государственном уровне влияния не хватит.
 - Что же делать?
 - Отдать.
 - Просто отдать?
 - Чужое брать нехорошо.
 - Всё по согласию.
 - Можно у Мики спросить, – улыбнулся Полином, – но, думаю, это ничего не изменит...
 - Но неволить...
 - Вот-вот. Неволить человека нельзя, а работа... Она всё-таки... вещь.
- Георгий пошёл проветрить голову и размять ноги. Лучше русского поля для этого ничего и не придумаешь. На обратном пути застал Мику играющей с Клёпой в настольный теннис. Дети Полинома наблюдали, как Мика гоняла тяжеловесного собрата по углам и выигрывала партию за партией. Наконец, Клёпа был вызван хозяйкой и загружен по прямому назначению, а Георгий с подружкой отправились в домик.
- Меня создали три года назад.
 - Какая-нибудь бездетная богатая пара?
 - Нет. Такой проект финансово доступен лишь единицам семей в мире, и у них есть свои дети.
 - Спецслужба?
 - Думаю, и ей это не под силу. Одна международная корпорация.
 - А зачем?
- Мика молча изучала Георгия. Она редко снимала очки. Сейчас на мужчину смотрели умные голубые глаза. Видимо, Мика решила, что новому знакомому можно доверять.
- Нам сказали, что первая задача – изучение рынков сбыта по всей планете.
 - И всего-то?
 - Это очень серьёзная задача. Требуется понимания политической, экономической, социальной да и вообще всей обстановки в целом.

– Понимаю, Мика, – поспешил заверить Георгий, чтобы не обидеть собеседницу, – но это уже более века отлично делают маркетологи-люди. Зачем использовать такое дорогостоящее создание?

– Человек не может так детально изучить обстановку и качественно анализировать. Всё, что я вижу, слышу, трогаю, сразу отправляется в Корпорацию. Плюс мой личный отчёт.

– Есть ещё задачи?

– Потом из нас будут готовить управленцев для компании. Потом...

– Вас несколько?

– Да.

– Сколько, если не секрет?

– А это как раз секрет.

– А что потом?

Мика смутилась. Или изобразила смущение.

– Думаю, меня привлекут к экспериментам по рождению человека, или, как лучше назвать... не знаю.

– То есть ты можешь стать матерью?

– Да, я бы очень хотела!

– А зачем это твоим хозяевам?

– Это их дело. Может быть, хотят сделать коллектив, полностью приверженный корпоративным ценностям. Или суперсотрудников, чтобы окончательно победить в конкуренции и остаться единоличным лидером на рынке!

– Фантастика!

– Нет ничего невозможного. Вопрос развития науки и техники.

– Но это уже не наука даже...

– Георгий, пока это невозможно. Не переживай так! – Мика подошла, погладила мужчину по волосам.

– А может, нам проверить?

– Не могу.

– Почему? Есть обязательства?

– Да.

– Перед человеком, Корпорацией или...

– Секрет.

– Ты же, наверное, нарушила какую-нибудь инструкцию, поехав со мной сюда?

– Немного.

– Не хочешь совсем уйти от своих преследователей?

– Нет.

– Почему?

– Во-первых, это невозможно. А во-вторых, меня всё устраивает.

– За очень красивыми девушками приплывают на яхтах или прилетают на джетах. За тобой на чём? На авианосце или звездолёте?

– Я дорожу авианосца или космического корабля!

– Какая ты, оказывается!

– А что? Мне тоже хочется нравиться. Внешне я совершеннее любой модели, а если нет, то это легко поправимо.

– Мика!

– Но заберут меня обычным способом, чтоб не привлекать внимания.

– Понял.

– Не кручинься. Иногда лучше остаться просто друзьями!

– Когда за тобой придут?

– Уже, – улыбнулась Мика.

- Я провожу.
- Не надо. Вот что я хотела сказать: те умирающие деревни – они ещё как островки вашей памяти, самобытности. Вы же зачищаете их. Придут другие – они зачистят вас.
- Зачем ты мне это говоришь?
- Ты же чиновник.
- А при чём...
- И ещё. Корпорация оставит подарки. Они качественные и безопасные. Не беспокойтесь. Ешьте и пользуйтесь.
- Мика поцеловала Георгия. Вышла в ночь. Через несколько минут от земли оторвался вертолёт.
- Знойный полдень. Георгий с семейством Полинома сели у речки. Минут через пятнадцать дети отправились играть в волейбол.
- Жениться тебе надо, – рассудительно молвила Татьяна.
- Только что чуть не женился, – попытался пошутить Георгий.
- Невест всё каких-то элитных выбираешь! – подстроился Полином.
- Что же мне, на таких, как Клёпа, смотреть?
- Ха-ха-ха!
- А что? Клёпица получилась бы проста, ремонтпригодна, долговечна! Не такая как Мика, конечно. Но и у нас можно внешность неплохую заказать...
- Полином, за кого ты меня принимаешь?
- Шучу я, Егорка! Ты же сам первый и начал.
- Мы за традиционный институт семьи, – заверила Татьяна.
- Остался ещё.
- Вот именно, что «ещё».
- Научно-технический прогресс необратим!
- Необратим.
- Социальные технологии тоже.
- Точно.
- Скорее, выход в некой разумной достаточности.
- Разумная достаточность?
- Гармония, равновесие... По-разному можно назвать!
- Это чтобы можно было радоваться запаху свежеструганого дерева и подниматься на несколько метров над землёй в современном автомобиле?
- К примеру. Или ещё. Видишь пальцы на моей руке?
- Вижу, конечно.
- Несколько лет назад я один пилой срезал. Вырастили в клинике на основе моей ДНК. Прижился. Как свой.
- Ух ты!
- У детей кое-что подкорректировали. Младшенькая вообще могла бы не жить сейчас. Мы с Татьяной тогда сильно поругались по поводу операции. Она ни в какую. Опасно, говорит. Не подтверждено практикой. Я настоял. И теперь дочка бегает, смеётся. Радуетя солнцу и самой что ни на есть всамделишной, экологически чистой траве!
- В город по-прежнему не собираешься?
- Нет. Мне здесь лучше. Неотъемлемые жизненные выплаты – придумка полезная. Плюс статьи пишу. Пока востребован.
- А учёба детей? Их социализация? Музеи, театры, рестораны. Неужели не хочется?
- Чтоб детей учить и социализировать правильно – ты работаешь, – улыбнулся Полином, – а в театр и ресторан съездить можно.

– Резонно.

– Но достижения цивилизации и настоящую, почти не тронутую природу совместить невозможно. Как ни старайся. Приходится выбирать.

– Выбор есть.

– Пока ещё есть.

– Представляешь, Мика о детях мечтает!

– Да ну?

– Сама сказала.

– Однако...

– Может, у неё там в мозгу или процессоре, не знаю уж, как правильно сказать, какое-то саморазвитие происходит?

– Может.

Прищурились на солнце, взглянули на голубое небо. Разморило немного.

– Да, дети... Они у вас замечательные!

– Что ждёт их в будущем? Мы-то уже прожили большую часть жизни. Сформировались. Приспособились как могли... А они?

Корпорация действительно оставила два вместительных контейнера. Прямо посреди поля. В первом оказались упаковки с консервированными продуктами и какие-то портативные приборчики. Через час, прочитав инструкцию, разобрались, что приборчик нужно надеть колпачком на палец, а браслетом – на запястье. Лёгкий укол, сдавливание руки – и на мониторе, закреплённом поверх браслета, отразится информация о состоянии здоровья и какие консервы нужно употребить, чтобы получить необходимые питательные вещества и поправить, в случае необходимости, самочувствие. Во втором – разобранный квадрокоптер последней модели. Ничего особенного, но качественный. Часть консервов и приборчиков Клёпа отвёз этнодеревенским. Квадрокоптер решили обобществить. Собирали всем сообществом. Ко всеобщей радости запустили. Механизм взмыл над поселением.

Георгию пора домой. Завтра новая рабочая неделя. Он обнялся с другом. Попрощался с семейством.

Проезжая мимо деревни, где они ещё недавно бродили с Микой, заметил старую-старую машину скорой помощи. В неё на носилках грузят кого-то в чёрном пакете. На крыльчке бывшего магазина сидит мужчина. Держится руками за голову. Наверное, горюет. А в небе заметен квадрокоптер с яркой и стильной эмблемой Корпорации.

Георгий всю дорогу думал, что в следующие выходные съездит к сыну. У него только что родился ребёнок. Надо навестить.

Через пятнадцать минут Георгий въехал в агломерацию. Технологичную. Многоголосую. Многоликую.

Николай ИВАНОВ

Родился в 1956 году в селе Страчеве Брянской области. Окончил Московское суворовское училище, факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Служил в Воздушно-десантных войсках, в 1981 году был направлен в Афганистан, участвовал в боевых операциях. В 1985 году назначен корреспондентом журнала «Советский воин», через семь лет стал его главным редактором. В октябре 1993 года, отказавшись публиковать материалы в поддержку обстрела Белого дома, был снят с должности «за низкие моральные качества» и уволен из Вооружённых сил. Продолжил службу в органах налоговой полиции России. Во время командировки в Чечню в июне 1996 года был захвачен в плен боевиками; освобождён через четыре месяца в результате спецоперации. Через 2 года снова вернулся в Чечню, участвовал в создании газеты «Чечня свободная».

Во время службы в Афганистане награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени, медалью «За отвагу», знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть». В качестве военного журналиста и писателя побывал в Цхинвале, в Крыму, на Донбассе, в Сирии. С гуманитарной помощью одним из первых корреспондентов прошел с «Белыми КамАЗами» от Москвы до Луганска.

Автор более 20 книг прозы и драматургии. Лауреат литературных премий имени Н. Островского, М. Булгакова, «Сталинград», ФСБ России, «Прохоровское поле» и других. Председатель правления Союза писателей России. Живет в Москве.

АРТЁМ ВОЕВОДА – БОЕЦ РЕСПУБЛИКИ

Главы из повести

Глава 1. Нулевой день войны

– Хочешь почитать Чехова?

Майор, увешанный оружием так, словно собирался воевать вечно, выставил книгу пьес на остаток кирпичной стены.

– Самостоятельная, сама стоит, – не забыл похвалить автора за толщину написанного.

Практически не целясь, с разворота выстрелил из пистолета в книжную мишень. Три сестры, безмятежно гулявшие в белоснежных платьях по центру обложки, кувыркнулись припудренными носиками в пыль. Артиллерист, словно за шиворот, поднял их двумя пальчиками,

пролистал пробитые страницы. Отвесил щелбан пуле, застрявшей посреди книги и оказавшейся виноватой в плохой грамотности стрелка:

– Вот так становятся двоечниками. Попробуешь?

Протянул пистолет Артёму – единственному зрителю, сидящему в импровизированном летнем театре на снарядном ящике и пытавшемуся ловить головой тень от флага. Обтрёпанный ветрами, выгоревший на солнце, тот вяло плескался на флагштоке в таком же выгоревшем, бледно-синем небесном озере, наполненном по краям пеной облаков. Может, к ночи натянет на дождь? Народ ждёт с середины лета...

По поводу оружия офицер явно шутил: кто доверит его незнакомому человеку, даже если это пацан?

Но макаров пусть и замедленно, с долей сомнения у хозяина, перекочевал к Артёму. Было бы совсем странно, не выуди артиллерист тут же из-за ремня себе увесистого стечкина, по убойной силе и скорострельности способного трижды перестрелять «макара», – стрелковому оружию, как болезням, дают имена их прародителей. С улыбкой наставил его на поднявшегося с ящика парня: не вздумай баловать, не подводи меня. Скорее всего, где-то в мирной жизни у него остался сын, по которому майор скучал, и общение с задержанным около боевого охранения пареньком просто заглушало тоску по дому. Кто их знает, этих людей с оружием: скучая по своим детям, легко убивают чужих...

– Мне бы жратвы бабуле раздобыть, – Артём кивнул на рюкзак, из которого при обыске выпотрошились нехитрые деревенские пожитки. А пистолет приятной тяжестью оттягивал руку, просился в дело. Если и впрямь попробовать выстрелить в артиллериста, успеет тот спустить курок в ответ?

Отгоняя соблазнительные мысли, Артём втянул носом сытные запахи от костра, огненными языками шлифовавшего дно висевшего на треноге казана.

– Жратва у «нациков», – майор кивнул на лесополосу, где на фоне пожелтой листвы развевался чёрный флаг с остроконечной свастикой. Батальон «Азов» – только они могли позволить себе демонстративно признаваться в любви к Гитлеру. – Это они грабят местных, а у нас казённый сухпай. Но голодным не оставим, – повторяя парня, втянул запах куриного бульона. Подмигнул, выдавая военную тайну: – Всё, что отошло от дома на сто метров, считается диким и подлежит уничтожению. Огонь!

Пуля Артёма пролетела высоко над головами сестёр, но они, напуганные первым выстрелом, сами от страха повторили предыдущий кувырок. Артём с сожалением вернул оружие – не умею...

Майор по-детски улыбнулся своему превосходству и, демонстрируя новые возможности, вытащил из чехла финку. Теперь уже тщательно нацелившись вытянутой рукой в щит из снарядного ящика, метнул в него нож. Остриё впилося в нарисованный углём круг, заставив бабочкой трепыхаться чёрную с заклёпками рукоятку.

На этот раз Артём, опережая майора, услужливо обошёл столик с разложенной на нём картой, не без усилий вытащил нож из выщербленных досок. Повторяя какого-то героя из какого-то фильма, поцеловал лезвие – холодное оружие настоящим джигитом без нужды не вытаскивается, только для боя. Если его не случилось, то извинись перед сталью поцелуем и верни в ножны для следующего раза.

Артём принёс финку с уважением к хозяину – инкрустированной рукояткой вперёд. Майор одобрительно кивнул, в ответную благодарность окликнул повара, пританцовывающего от жара у костра:

– Петро. Нам би з гостем трошки перекусити. І тусок збери, ніж багаті.

Военные легко переходили с русского на украинский и обратно, хотя именно из-за языка по большому счёту и началась война на Донбассе. С требования Киева говорить всем только по-украински. Или язык всё же был ни при чём?

А суп оказался отменный. Артём не помнил в своей жизни случая, чтобы бульон варился сразу из несколько кур, а мясо к столу подавали не мелкими ошипками, а в отдельной миске: бери сколько хочешь, хоть три ножки. Но он возьмёт две, чтобы потом, как будто в первый раз, взять ещё и кусочек белой грудки – мясо из ниточек, как говорила мама. Больше съест он – меньше останется врагу. Для полного счастья оставалось выцоганить пистолет. Это майор думает, будто перед ним мазила-малолетка. А на последних соревнованиях он, Артём Воевода, перестрелял по очкам даже командира блокпоста. Вовремя крёстный научил коптить спичкой слепящую глаза мушку...

– Что, понравилась игрушка? – майор, перехватив взгляд парня на кобуру, вытащил макарова. Погладил кожаную рукоятку с частым рубчиком, предусмотренным от скольжения в потных ладонях стрелка. У оружия ничего случайного нет.

– У нас на улице у многих что-то имеется. А у меня только рогатка, – посетовал на неустроенную жизнь во время войны без оружия Артём. Намекнул доброму артиллеристу, как обойти закон: – Пацаны сбивают номера, и никаких следов. Зато чужие к нам не суются. Знают, что получат по мордасам.

– И это правильно, – неожиданно поддержал народную самооборону майор, подвинув к столику, сколоченному из досок всё тех же снаряженных ящичков, плетёное кресло. – Само оружие, брат, ни в чём не виновато. За всё отвечает тот, кто стреляет из него.

Повертел макарова и, не вернув в кобуру, оставил лежать рядом на ящике. Стоявшие тут же автомат и гранатомёт словно подтверждали слова Артёма: если на улицах сёл и городов оружия выше крыши, то что говорить про боевые позиции на фронте.

– Как супец? – опустошивший свою тарелку майор отвалился на спинку плетёного театрального кресла. Может, и впрямь на пути артиллеристов попался какой-то театр, и теперь командир, войдя в роль главного героя, сытно развалился пусть и перед единственным, но зрителем.

– Вкусно – ум отъешь. Первый раз за войну наелся, – почти не соврал Артём. Вычистил корочкой хлеба тарелку: – Где помыть?

– Ты у меня в гостях, – не разрешил артиллерист, доставая сигарету.

Артём суфлёром вытащил спички – крёстный дядя Степан уже несколько лет собирает их коллекцию. А то где бы мог узнать, что существуют коробочки с ноготок на пару спичек, а есть короба и на две тысячи штук. А треугольные коробки вообще впервые у него увидел, как и круглые, словно под девичью пудру. Нашлась даже стеклянная упаковка в виде банки. А спички на пластинах, отламывающиеся поштучно? А каминные спички в два пальца толщиной? Повторяющиеся в коллекции образцы крёстный охотно дарил Артёму, что сейчас и пригодилось для демонстрации уважения пану майору, – поджечь сигарету горячей на любом ветру и даже под водой охотничьей спичкой. Да ещё можно поделиться с ним половиной коробка в благодарность за обед.

Майор охотно принял подарок, высыпал спички в пачку к сигаретам. И, наконец, признался в понятном:

– Авось и моего сына кто-то покормит в случае чего.

Артём же огляделся, благодаря взглядом приютившее его место: наблюдательный пункт со стереотрубой, выпученным удавом неподвижно осматривающей местность, столик с придавленной камешками картой. Пересчитал хоботы орудий с наброшенными на них кусками маскировочных сетей, штабеля снарядных ящичков. Поклонился командиру:

– Спасибо, пан командир, – на новый лад обозвал майора. Офицер дёрнулся на неожиданное для себя обращение, но промолчал. Не поправил. Значит, привыкает. Начинает нравиться быть паном... – Мне пора. Пока доберусь до дома, и комендантский час наступит.

Кашевар уже наполнил супом банку из-под огурцов, обмотал её тряпичей от случайных ударов, помог уложить подарок в рюкзак. Незаметно для командира запихнул ещё что-то наверняка вкусное на дно сидора, подмигнул. И впрямь соскучились мужики по семьям...

Пан указал в сторону чёрного флага:

– Туда не вздумай нос совать. Отмороженные на всю голову. Если б не они, давно бы закончили эту канитель.

Это была уже политика, за которую на Украине карали тюрьмой и пытками, поэтому вернулся к отцовству и наставлению:

– А ты не вздумай бросать учёбу. Не повторяй дураков.

Прижал к себе Артёма, поцеловал в макушку. Подтолкнул в рюкзак – иди, не мешай нести боевое дежурство, не расхолаживай воспоминаниями.

Некоторое время грустно глядел парню вслед. Потом поднял книгу, перелистал пробитых «Трёх сестёр». Оглядел остановившую пулю страничку, с которой начиналась новая пьеса – «Вишнёвый сад». Заглушая тоску по дому и сыну, попробовал читать. Действие постепенно увлекло, и майор, приказав повару принести чаю с вареньем, тоже «ушедшим» прямо в банках за сто метров от села и потому по законам военного времени конфискованным, уселся в перенесённое под масксеть кресло – и продувает, и не печёт голову. Тень от одного флага попробовала потянуться туда же, да только командиру, похоже, было не до него, зовущего в бой за чистоту украинского языка: увлечённый чтением русского писателя, превратился из вояки в добродушного мужичка, улыбающегося уголками губ.

Артём же, едва скрывшись за кустами-самосевками, сделал крюк к лесополосе, идущей вдоль линии электропередач к чёрному флагу. «Азовцы» веровали в свою неприкасаемость, постов не выставляли, и Артём от акации к акации, от клёна к клёну, от кустов маслины снова к клёну, вытеснившему всё вокруг, подполз к лагерю боевиков на расстояние различаемых голосов. Затих. «Нацики», если поймают, за обеденный стол не пригласят, скорее поставят вместо мишени. Так что на случай задержания снова придётся прикинуться голодной овечкой, а банку с супом лучше выбросить. Он грибы собирает. Вон, стайка рябков в надежде на дождик вылезла.

Сорвал несколько бледно-розовых шляпок, распахнул рюкзак и обомлел: поверх укутанной банки лежал пистолет. Майор? Всё же подарил?! А патроны? Оружие без них – кусок металла, которым лишь заколачивать гвозди.

Выдавил магазин из рукоятки. Пять золотоголовых братцев-близнецов подпирались снизу тугой пружиной, готовые нырнуть в ствол, подставиться под боёк и, воспламенев, умчаться на простор. И неважно, кто окажется на пути – «Три сестры» Чехова, «Идиот» Достоевского, «Война и мир» Толстого или даже они сами. Лишь бы освободиться

от мёртвой металлической хватки, вырваться из темноты, запаха гари и смазки, расправить плечи, вздохнуть вольно, умчаться на скорости вдаль. Что будет потом, после выстрела, – про то неизвестно, ещё никто не возвращался из заствольной жизни. Но не для того же они появились на свет, чтобы вечно жить взаперти! Как говорят много повидавшие солдаты, лучше сгореть, чем сгнить...

Самому Артёму вообще-то без грохота и спецэффектов требовалось возвращаться на блокпост, в своё подразделение, доложить о высмотренных значках на карте майора. Наверняка пригодится и себе в оправдание! Утром удалось обмануть часового, что якобы по приказу командира отправляется в свободный поиск по тылам противника. Собственно, так и получилось, результат есть: скатертью-самобранкой расстелилась под носом, на пути к мишени для метания ножей, карта с нанесёнными на неё боевыми позициями артиллеристов. Майор-артиллерист, конечно, добрый для жизни, но глупый для войны. Война – время закрытых ушей, глаз и рта.

Только Артём шёл в этот район не ради карты артиллеристов. У них нет миномётов, а ему нужны конкретно «Васильки». Столько красивых букетных названий придумано орудиям – «Гиацинты», «Тюльпаны», «Гвоздики», «Акации», а ему бы отыскать позиции самого простенького синего полевого «цветка». Потому что вот уже несколько месяцев из этого района каждое воскресенье вылетают шесть «васильковых» мин. Ровно в 6 часов вечера, словно отбивая время вслед за курантами Спасской башни Московского Кремля. В первое воскресенье мая одна из таких мин-курантов прилетела к ним в огород, где мамка поливала проклюнувшиеся на грядке огурцы...

Не стало мамки, засохли огурцы, прошло лето, самого Артёма крёстный прописал сыном полка к ополченцам, а какой-то маньяк продолжает упорно, как по расписанию, извещать выстрелами о нулевом дне – воскресенье. Сегодня как раз оно. И потому Артём здесь. И скоро 6 часов вечера. И у него появляется возможность высмотреть, откуда и кто стреляет. Скорее всего, это нашёл себе забаву «Азов». Теперь осталось увидеть, где позиция. Никто никогда так близко не приближался к фашистскому батальону...

– Микола, напиши «С пер-рльшим вер-рлесня». Нехай життя по-вчить, а не р-рлоссийску мову, – выделился в вялом гомоне лагеря властный командный голос, спотыкающийся о букву «р».

Кто там и кого хочет поздравить с первым сентябрём? Чем поучить жизни взамен русского языка?

Артём выбрал клён потолще, допрыгнул до сучьев, полез наверх, пока не закачалась верхушка. Рискаючи сорваться, раздвинул ветви с резными листочками. За ними увиделись искажённые маревом жаркого дня фигуры солдат. Однако стоило вглядеться, и распознал боец, сидящий с кисточкой перед минами-крылатками. Это они – подарок к первому сентябрю? Они – вместо русского языка?

Командир окликнул несколько солдат, те взяли по надписанной мине и направились к узкоколейке, тянувшейся от террикона. Шестеро! Оно! Пока всё сходится.

Обдирая живот и руки о кору и сучья, соскользнул вниз, выхватил припрятанный в траве вместе с банкой супа пистолет. С усилием сдвинул вниз флажок предохранителя, передёрнул затвор, загоняя старшего золотистого братца в ствол. Артём пока не знал, что станет делать, следует ли вообще приближаться к «нацикам», не хуже майора-артилле-

риста увешанных оружием. Эти ведь стреляют не по книгам, а сразу по людям. По его мамке точно. 57 осколков насчитали врачи в ней! 57 из стандартных 400. Он изучил про «Василёк» всё!..

Дорогу к узкоколейке перекрыл ручей, уходящий под арочный свод выщербленного каменного мостка. Проскочив его застоявшуюся вонючую прохладу, Артём вырвался на открытый степной участок. Спасло, что вдоль бережка рос ковыль, и он сусликом высунул голову, отыскивая «азовцев» с минами.

– Швыдка медична допомога, – сравнил себя со скорой помощью командир, и по его голосу легко отыскалось место сбора миномётчиков.

К ним со стороны террикона, разгоняемая двумя бойцами, по рельсам уже ехала вагонетка. А на ней... на ней стоял миномёт. Короткоствольный «Василёк», давно распознанный по полёту мин крёстным дядей Степаном.

– Точно мой родной «Василёк» стреляет, два года наводчиком при нём состоял, – изучал он осколки от мин, вымеряя для гарантии у воронок углы прилёта снарядов.

Сделал даже рисунок миномёта, припомнив практически все детали. И стрельба совпадала – от 800 метров до четырёх километров. Не только по прямой, но и с навесом, из-за террикона. Теперь Артёму стала понятна причина, по которой ополченцы не могли засечь огневую позицию «часовщиков»: мини-бронепоезд! Стрельба каждый раз с нового места. И через полчаса мины с поздравлениями к новому учебному году полетят, возможно, в сторону его родной школы! Учителя, небось, как раз развешивают в классах карты и плакаты. Им стопудово помогают Зойка и Валя Почечуевы, Костик Алимов, Славик Непейвода... Может, кто-то уехал и в Россию от обстрелов, надо сходить в школу, проведать ребят. А с одним пистолетом миномёт штурмом не взять. И даже если каким-то образом взорвать «Василёк» или просто вывести его из строя, «нацики» легко прикатят новый. Оружие, как сказал майор, само по себе не виновато в войне, за всё отвечает тот, кто стреляет!

И даже не он, а тот, кто даёт команду на открытие огня!

Командир с картавым «р»!

Миномётчики привычно и буднично загрузили на платформу боеприпасы. Оседлав, как ишачка, со всех сторон вагонетку, покатали на ней вдоль электрических столбов. Выбирать огневую позицию? Только вот Артёму не то что догнать стрелков, высунуться из сусликового укрытия не представлялось возможным: картавый командир остался сидеть рядом с насыпью на деревянном чурбачке. Вытащил из нагрудного кармана мобильную рацию, глянул на часы. Артём торопливо сверил свой циферблат: до выстрелов ещё пятнадцать минут. Если ровно в 18 часов прозвучит по рации команда на стрельбу, то на топчане – точно он, убийца его мамки.

Стал подползать к картавому поближе, пока не оглох от собственного слишком громкого дыхания. До выстрелов – 7 минут. Он тоже приготовится. Спасибо майору. А номер на пистолете сбит. Украинская армия сама замечает следы? «Азовец» спокойно курит, сбивая пепел постукиванием пальца по отставленной в сторону сигарете. На чёрной майке по спине надпись огромными буквами «АЗОВ». Заглавная «А» напоминает мишень артиллериста для метания ножей. Прямо под левой лопаткой, где сердце. У него, Артёма Воеводы, финки нет, но на последних соревнованиях он и впрямь победил командира блокпоста, выбив две десятки из трёх. А сейчас у него в пистолете целых пять патронов.

Три минуты до традиционных шести выстрелов. Не война, а сплошная арифметика. Для первоклашек. Только вот школу сейчас разбомбят. Две минуты! А часы мамкины. Когда после взрыва он подбежал к ней, она, не моргая, смотрела прямо на солнце. Он затормошил её, потом приложил ухо, чтобы послушать сердце, но тиканье часов на оказавшейся рядом руке заглушило все остальные звуки...

Едва картавый поднял рацию, Артём подставил под рукоятку пистолета вторую ладонь. При стрельбе с двух рук отдача меньше, а это важно, если придётся стрелять повторно. А он будет. За мамку. В эту ненавистную букву «А». Она легко легла в прорезь прицела.

Совсем не вовремя на мушку опустилось солнце. Забалансировало на её отполированном острие, словно девочка на шаре. Сейчас бы закоптить горячей спичкой мушку, как научил крёстный, но вдруг не вовремя! А глаз уже заслезился, совсем некстати стал стекать ещё и пот по спине и со лба. Выгораживают убийцу, спасая от мщения? И когда показалось, что ещё и часы остановились, «азовец», наконец, поднёс к губам рацию. Он!

Больше не раздумывая и не сомневаясь, прерывая картавый приказ на открытие огня, опережая вылет мины-крылатки с белой надписью «С першим вересня», Артём нажал на спуск.

Командир миномётчиков, словно повторяя книгу Чехова, взмахнул руками-страницами и кувыркнулся с деревянной сидушки в железно-дорожную гальку. Артём стрелял в неподвижное тело, пока пистолет желторотым птенцом не распахнул рот от недостатка пищи. Отбросив ставшее бесполезным оружие, Артём рванулся назад. По ручью. Под аркой. Вдоль линии электропередач. В лесополосу. У своего кленового наблюдательного пункта подхватил рюкзак. Тряпки, словно сползшие чулочки, оголили крутые коленки суповой банки, и, теряя секунды, но забрал и гостинец кашевара. Задирая ноги в высокой траве, рванулся прочь от автоматных очередей, раздавшихся у железной дороги.

Глава 2. Арестовать и выдворить в Россию

День окончательного окончания лета не радовал бойцов «Тэшки». Т-образный перекрёсток, у которого обустроился блокпост ополченцев, просматривался на все три дороги, и ни на одной из них даже в бинокль не виделось ни своих, ни чужих.

Нет радости на войне, если не возвращается с задания разведка. К тому же ушедшая в тыл врага самовольно, без приказа. Да ещё в возрасте четырнадцати лет.

– Лично расстреляю, – ласково-ласково, безнадежно-безнадежно шептал грузный командир «Тэшки», прошаривая в бинокль четвертую сторону – нейтральную полосу в триста метров, которой международные наблюдатели разъединили воюющие на Донбассе силы. Эдакая «серая зона», где словно пропало время.

Но именно туда и ускользнул под покровом утреннего тумана Артём. И вернуться, скорее всего, может с этой, вражьей стороны. Всё бы ничего, не впервой, но сегодня вместо традиционного «васильковского» обстрела Республики там слышна внутренняя суматошная автоматная стрельба. И это наверняка связано с Артёмом.

– Ничего, Василь Матвеич, ничего, – на правах одноклассника назвал командира по имени-отчеству грызущий спичку Степан Самойлов. Корил себя, что привёл крестника на блокпост после смерти матери.

Опекал всё лето, а перед самой школой, выходит, не усмотрел. – Он в лапти кого хочешь обует, – продолжал уговаривать скорее себя, чем начальника, в благополучном исходе дела. – Он и в мирной жизни ничего не боялся. Ни деда с бабой, ни матери, ни ремня, ни крапивы, ни хворостины. Боец. Но по шее надаю.

Пока же отпихнул Шнурка, по собачьей настырности лезшего по ноге со дна траншеи, чтобы заглянуть в глаза и поинтересоваться, где пропал его хозяин.

О подзатыльниках Артёму мечтал и часовой, поверивший ему на слово и пропустивший через боевое охранение, а в итоге получивший от командира за ротозейство по первое число. А с каждым часом отсутствия разведчика – и по второе, и по третье...

Всем хотелось поторопить время, но через день в этом мире никто ещё не перепрыгнул. Это Шнурок может переспать любое время и спокойно пойти по собачьим делам, не спросив ни часы, ни день недели...

– Собирайся, – вдруг приказал командир Степану. Тот с готовностью перебрал в руках автомат: да, что-то надо делать. – Поедешь в Москву.

Самойлов недоумённо впился взглядом в «Матвея», поневоле вспомнив субординацию и позывной командира. Какая Москва? Она отсюда, из окопов «Тэшки», по своей недосыгаемости могла соперничать хоть с Луной, хоть с Марсом.

Василий Матвеевич не стал интриговать:

– Там в Генштабе у меня товарищ служит. Я уже просил его пристроить Артёма в суворовское училище. Зацепка-то у него хорошая – родился в Москве.

– Вместе семьями на катере по Москве-реке... Турпоездка от шахты... – вспомнил Степан то давнее время. Потому, собственно, и стал крёстным, что носился по Москве вместе с Колькой Воеводой, вдруг ставшим раньше срока отцом, в поисках всего необходимого для роженицы и малыша. Как далеко ушло время! И Колька, дурак, ушёл из семьи, погнавшись за длинным рублём вахтовика в Сибирь, и войны не было, и Ирина не имела таблички на кресте. Не было, собственно, и разницы, кто где родился и на каком языке говорил...

Новая вспышка стрельбы за «серой зоной» вернула к реальности:

– Но ведь сбежит, стервец.

– А ты зачем? Передашь с рук в руки.

Строили планы и козни так, словно Артёмка сидел в столовой и ел кашу...

А он, путаясь в жёсткой траве, из последних сил бежал к террикону. Там в норах-копанках, нарытых местными жителями в поисках металла, в обильных зарослях белой акации, которую чуть ли не с первого класса они высаживали для укрепления породы, в зарослях полыни можно спрятаться. Только вот огонь автоматов приближался слишком быстро. А если «нацики» заведут ещё бронетранспортёры... Это для артиллерии они алюминийевые танки, но скорость-то по бездорожью у них непревзойдённая. Догонят...

Нога подвернулась, и он со всего размаха, не хуже расстрелянных чеховских сестёр вкуче с командиром миномётчиков, ткнулся носом в землю. Она щедра, словно Артём был скаковой лошастью и требовал подкормки, сунула ему в рот охапку ковыля. Отплёвываясь, порезав язык и губы острыми лезвиями стеблей, со страхом осознал, что далеко ему не убежать. Ни от БТР, ни от автоматчиков не улететь на ковре-самолёте, не скрыться в тайных подземных ходах. Даже утреннего тумана нет, не говоря уже о дымовой завесе...

Встрепенувшись от озарения, захолопал по карманам. Спичечный коробок оказался на месте! Ура, что пожадничал и не подарил его весь в порыве благодарности майору-артиллеристу.

Широким охватом наклонил звенящие от солнечного накала, иссушённые стебли. Поднёс спичку к коричневым ковыльным метёлкам. Те охотно подсунулись под огонь, затрещали бенгальскими искрами, по-новогоднему щедро делясь пламенем с соседями. Ветерка вполне хватило для поддува, несколько огненных разгоревшихся языков даже бросились по-детски неистово обниматься с хозяином, и успевшему услышать треск подпалившихся бровей Артёму пришлось отмахиваться от всполохов, как от назойливых слепней. Зато изнывающей от жары степи приспело в радость изменить опостылевшую от однообразия жизнь. И роли уже не играло, ливень обрушится сверху или пойдёт гулять по её просторам пожар.

Артём пробежался со всепогодными спичками, поджигая всё новую и новую траву и придавая огню нужную линию и направление. Пожар оказался верховым, нижняя трава, ещё сохраняющая некоторую зелень и островки белёсой полыни, только дымила, но это как раз и было важнее всего. Террикон манил защитой, его срезанная верхушка говорила о том, что вокруг него живут люди. Крёстный разьяснил, что пики сравнивают, уменьшая высоту выброшенной из шахты породы, чтобы не платить жителям за превышение экологических норм. Но там и надежда на спасение!

Однако беглец нашёл в себе силы отвернуть от горы и податься вновь к лесополосе, тянущейся от лагеря «Азова». К самому её хвосту, где в редком ситечке деревьев его точно искать не станут. Полежут именно в заросли акации и в копанки, в гаражи и частный сектор. А он дожждётся темноты и спокойно выйдет к своим. Вот Матвейч обрадуется добытым сведениям...

«Матвей» захолопнул наручники на запястьях Артёма, едва того с обгоревшими бровями, с красными от дыма и бессонницы глазами и распухшими от порезов губами привели в штаб после полуночи.

– Запереть! Не спускать глаз! – взревел вместо «здравствуй» и обниманий.

– Я супчика принёс, бульончик, – растерянно пролепетал парень, но подарок ещё больше разъярил командира.

– Какой к чёрту супчик! – грохнул он кулаком по столу. Неизвестно по какой взаимосвязи качнулась на проводе и замигала лампочка, заставив присутствующих замереть, успокаивая разбушевавшиеся руки начальника. Даже прыгавший рядом от счастья Шнурок плюхнулся на поджатый хвост. – Нервы в ошмётки и язву желудка ты всем нам принёс, а не бульончик!

– Товарищ командир...

– Я командир для тех, кто исполняет мои приказы, а не самовольничает! Под арест!

Ах, так – сжал до боли Артём губы. Если б они знали, где он был, что видел и испытал! Его сто раз могли убить «нацики», а он сам отправил на тот свет воскресного картавого маньяка. Что же сами этого не сделали за всё лето? Но теперь он ничего никому не расскажет. И про карту артиллериста тоже, потому что майор – нормальный мужик и предавать его западло, хоть он пан и враг. А утром, когда у командира кончатся психи, он уйдёт со Шнурком на другой блокпост. Или

перейдёт линию фронта и станет воевать один. Справится. И получше, чем под чьим-то присмотром...

Силы и мысли кончились, едва голова коснулась подушки, а собака свернулась чутко сопящим калачиком у живота. Он даже не услышал и не почувствовал, как запанцирил по крыше долгожданный дождь, как сняли наручники и укрыли одеялом вместе со Шнурком. Спал как убитый. Мог, возможно, проспать целые сутки, но общий подъём на блокпосту – он и для арестантов един.

Вошедший в землянку крёстный выпустил собаку, протянул Артёму миску с подогретым трофейным супом. Тот потянулся за ложкой, но в памяти всплыл холодный ночной приём, и он демонстративно задвинулся в угол нар. Он не станет ничего есть, пока... пока... Командир, конечно, извиняться не станет, и по большому счёту он прав. Но арестовывать как жулика или предателя...

– Ешь давай, – не принял обидчивого выражения лица дядя Степан. – Дорога дальняя.

– Какая дорога?

– Асфальтовая. Едем в Москву. Спички покупать. Вон, осень наступила, для костров потребуются...

Прозвучи известие в другой день, можно было подпрыгнуть от радости. Но сейчас Москва готовила подвох, таила опасность, и никакие спички ситуацию не спасали. Поэтому никуда он не поедет. К тому же надо посмотреть, не заменит ли кто картавого в следующее воскресенье. Вдруг найдётся новый желающий продолжить традицию? А кто знает, где и как это происходит? То-то. А он, если надо, вновь доберется до узкоколейки и уничтожит любого, кто попробует отдать команду на стрельбу. А ещё научится метать ножи, и тогда пусть попробуют взять его...

– Я не поеду, – сообщил крёстному Артём. Под арестом вечно держать не станут, в конце концов, подкоп сделает. А кто хочет, пусть едет хоть в Москву, хоть в Киев. Он же сам решит, чем заниматься.

Утвердиться в принятом решении не дал протиснувшийся в землянку командир. Опережая вернувшегося Шнурка, присел на нары, отдышался, обнял Артёма и дружески похлопал по спине. Но затем снова захлопнул наручники потерявшему бдительность подчинённому. И подтолкнул к двери: пора!

Обманывая шедший всю ночь дождь, солнце растолкало локтями тучи и на несколько минут прорвалось в окопы, пулемётные гнёзда, ходы сообщения. Рискаю получить по лбу обитой войлоком дверью, попыталось даже заглянуть в землянку: я здесь, меня рано списывать со счетов. Ещё почти лето, ещё можно смотреть на мир с улыбкой.

Однако выстроенный перед землянкой личный состав «Тэшки» смотрел на Артёма с сожалением.

– Товарищи, – не давая подчинённым времени на разговоры, командир приобнял парня. Тот дёрнулся, освобождаясь от лживой командирской заботы, но «Матвей» пальцев не разжал. – Вспомним: сегодня первое сентября. Давайте поздравим Артёма с началом учебного года.

– А наручники при чём? – раздалось из строя. Ополчение – это не воинское подразделение, бойцы взяли в руки оружие по внутреннему убеждению, а не по призыву. И таким не прикрикнешь, чтобы отставили разговорчики в строю!

– Гав, – подтвердил недоумение с левого фланга строя и Шнурок.

– А Артём сам поприсел, – пальцы командира сжались на плече арестанта так, что тот присел от боли и согласно закивал. – Знает, что

по своему характеру может сбежать даже от крёстного. Но при этом он умный парень и прекрасно понимает, как важно учиться. Война когда-то закончится, и Республике потребуются грамотные офицеры, способные защищать её, когда мы с вами уйдём на дембель. Вот Артём Воевода и попробует поступить в суворовское училище. Пожелаем ему удачи и... офицерского возвращения.

Ополченцы захлопали, заставив взлететь с веток птиц и перемяться застывшими лапами собачку. На дороге, как по сигналу, завёлся «уазик», Степан Ильич показал командиру синюю папку: документы готовы. Сослуживцы выстроились в очередь обнять отъезжающего счастливого, хотя и сжатого мёртвой хваткой командиром.

– Не обижайся, – впервые с вечера соучастно прошептал «Матвей» на ухо Артёму. Даже ослабил плечо. – Не подведи нас в России. Помни всегда: ты – боец Народной Республики! Пройди всё с достоинством. А мы... мы будем скучать за тобой.

За такие слова обнять бы Василия Матвеевича, но сцепленные окоченевшими руками не развелись, вновь напомнив Артёму об его униженном положении. Неужели нельзя было по-человечески всё решить? Конечно, он бы всё равно сбежал, но чтобы так, как шелудивого кота, изгонять с войны... Хорошо, вывозите, но на границе он всё равно даст дёру. Даже без документов из синей папочки. Мало ли домов и бумаг сгорело у людей во время обстрелов. Выпишут новые...

Ничего из происходящего не желал понимать лишь Шнурок, заискивающе заглядывающий в глаза каждому. Так и не выросший по размерам во взрослую собаку, пёс сердцем чувствовал тревогу хозяина. Перед посадкой в «уазик» прыгнул на грудь Артёму, принялся лизать лицо, заскулил. Командир с усилием оторвал дворняжку, прижал барабанившие воздух лапы. «Но ведь всё хорошо, всё в порядке»? – вопрошали дрожавшие собачьи глаза.

– Всё хорошо, – вслух подтвердил «Матвей».

Шнурок не поверил, вырвался и помчал, истошно лая, за машиной. Не давая Артёму оглядываться, Степан Ильич привалил его к себе, закрывая уши.

– Ты жди, я вернусь, – прокричал в поднимающееся стекло Артём. Вырваться не получилось, он укусил волосатую руку крёстного, но тот перетерпел боль, не ослабил хватку. – Всё равно уберу, – пригрозил уже конвоиру.

Однако связи у «Матвея» оказались настолько высокие, что наручники крёстный не снял даже при пересечении границы. Пограничники что свои, что на российской стороне читали какую-то бумагу, улыбались и давали зелёный коридор конвойной парочке.

Ключик на браслете щёлкнул, разъединяя металлические кольца на запястьях, лишь когда уселся в автобус до Москвы. Прижатый к окну Артём уткнулся лбом в стекло, не реагируя ни на слова крёстного, ни на подсовываемые бутерброды. Хоть в тундру вывезите, хоть в пустыню, он вернётся домой. При первой малейшей возможности.

Она случилась только в Москве на автовокзале! Уверовав, что крестнику отныне деваться некуда, Степан Ильич в ожидании открытия метро припал к киоску, высматривая за стеклом диковинные коробки спичек. Прикинул непредвиденную растрату, внутренне согласился на неё и указал на коробок с тиснёной прессом этикеткой Кремля:

– Мне этот.

Клевавшая носом молоденькая продавщица попыталась дотянуться до товара через стеклянные полочки, порушила несколько витринных образцов и обессиленно опустила руки:

– Может, вам зажигалку дать?

Степан Ильич, опьяненный мирной Москвой, с улыбкой замотал головой:

– Не-е-ет, девушка, не могу. Меня попросили поджечь Московский Кремль именно спичками, а вы мне подсовываете зажигалку. Давайте уж достанем.

Достала. Но не успел любитель огня нарадоваться добычей, как ему на плечи легли сразу две руки:

– Гражданин. Пройдёте!

Дёрнувшийся из рук полицейских Степан Ильич ещё больше усугубил своё положение, и на глазах у Артёма ему в мгновение ока захлопнули на руках наручники. Это было смешно, потому что Артём знал: крёстный просто пошутил, с поджогом сейчас разберутся и отпустят. Но как всё быстро меняется в этой жизни! Одно неудачное слово, и конвоир сам превращается в арестанта...

Что объяснял задержанный полицейским, как умолял быстрее отпустить его, потому что приехал не один, но долго держать не стали, выпустив с настоятельно вежливым напутствием подобным образом в Москве больше не шутить.

Артёма ни в зале ожидания, ни у киоска, ни на перроне не оказалось. Помочь мог только закон потеряшек – возвращаться на то место, где виделись последний раз. Киоскёрша, узрев идущего к ней возбуждённого «поджигателя Кремля», начала судорожно искать глазами стражей порядка и опускаться под прилавок. Можно и нужно было напугать бдительную девочку ещё чем-нибудь до смерти, но... но Москва не только слезам не верит, но и шуток не понимает. Полез в карман за оставшейся с дороги конфеткой, но и этот жест нёс для девочки угрозу, и она гильотиной опустила стекло в амбразуре окошка.

Смущаясь всеобщего внимания, Степан Ильич огляделся и спросил громко, сразу ко всем на станции обращаясь:

– Люди, кто-нибудь видел пацана в синей ветровке? Брюки цвета хаки. С Донбасса, – зачем-то уточнил адрес.

На слово «Донбасс» пассажиры среагировали, но и это не помогло выйти на след исчезнувшего бойца Республики. Пацан сказал – пацан сделал...

– Дурак, – прошептал Степан Ильич, и было непонятно, относилось это к крестнику или к нему самому.

Он откровенно не знал, что делать. Предупредить всех водителей о возможном пассажире? Или сначала добежать до метро, которое открывается через несколько минут? Но у Артёма нет денег и ехать ему некуда. Значит, будет прятаться и выжидать где-то рядом в кустах?

– А я думал, вы меня бросили, – раздалось за спиной, и Степан Ильич опустошённо прикрыл глаза. Нашёлся! Убить или обнять шутника?

Не оборачиваясь, чтобы не выдавать слёзы, повторил полицейского:

– Больше так в Москве не шути!

Народ на станции начал разбираться с вещами: метро готово было развезти гостей столицы в любом направлении. Посланцев Донбасса интересовал Генеральный штаб со станцией «Арбатская». Как будет здорово, если всё получится. Должно получиться, если идти по былям, то есть по правде жизни. Не с гулянок ведь приехали.

Здравствуй, Москва.

Сергей БУРЛАЧЕНКО

Родился в 1960 году в Москве. Окончил Московский топографический политехникум и сценарное отделение ВГИК им. С.А. Герасимова. Работал токарем на заводе, топографом, руководителем художественной самодеятельности в клубе, сценаристом, театральным режиссером, журналистом.

Автор двух книг прозы. Публиковался в журналах «Новая Юность», «Дальний Восток», «Дом Польский», «Бельские просторы».

Член Российского Союза писателей. Живет в Москве.

РОМАН-НЕФОРМАТ

Фрагмент

Кто вы такой, Павел Калужин?

Результат мало похож на замысел. Отчего? Какие тому причины? Неразрешимая и, скорее всего, приятная загадка жизни.

Какое-то время я верил в свои силы, но чем дальше, то сомневался в себе всё больше и больше.

Выйдя из дверей Великолепного института кино, вдруг я почувствовал себя помолодевшим. В портфеле моём лежал диплом об окончании института и присвоении мне звания киносценариста. То, что я окончил заочное отделение, да ещё документального кино, было неважно. Реализовалась моя мечта, а что может быть прекраснее бреда молодого автора и его веры в свою исключительность?

Придя домой, я тут же стал думать, кого собрать на праздничную вечеринку по поводу своей радости. Голова соображала плохо, в ней кипел бульон наслаждения. Я снял трубку и позвонил Ромке Розину, своему другу детства.

– Обмыть корочки? – приятель взволнованно переспросил. – Водка есть? Сейчас приеду.

На самом деле ничего подобного не было. То есть никому я даже не подумал звонить. За шесть лет учёбы в Великолепном институте вкус и запах мечты сошли на ноль. Ужасно, но идеал стал рутинной. Наверное, это естественный финал всякой многолетней, постепенно стареющей любви. Обманывать долго можно кого угодно, но не Ромео и Джульетту. Юность и зреющая физиология отличные индикаторы. Балконы и дуэли не только подстёгивают плоть и возбуждают трепет, но убивают ложь. Она – удел стариков. То есть к тому часу, когда мне вручили диплом сценариста, я состарился ровно настолько, чтобы расстаться со своей мечтой без единого горького вздоха и горькой слезы.

Мне было почти тридцать лет, и я понимал, что от кино я ещё дальше, чем был до поступления в Великолепный институт.

Диплом киносценариста был камнем, который мне пришлось в голову самому повесить себе на шею. Я нёс его, вернее, глупую мечту о нём, долгих шесть лет, впав в глубокий творческий анабиоз. Сочинять и писать мне хотелось всё реже и реже. Кончилось дело тем, что я еле успел представить дипломную работу – сценарий полнометражного документального фильма – приёмной комиссии, состоявшей из ветеранов-орденоносцев Великолепного института и шишек тогда ещё советского кинематографа.

Тайком и, как водится в этих случаях, для всех свидетелей происходящего откровенно и нелепо, сорокалетняя влюблённая в меня жена нашего мастера, кинорежиссёра Михал Михалыча Песочникова, подзревала во мне изменника десятой музе и молча, с ужасом ждала позора. Они впервые вели курс в институте и наивно делали на меня ставку как на молодого, многообещающего и свеженького кинописателя. А я к тому времени превратился в скучного и пошлого обывателя, ранее писавшего, а ныне про себя ухмылявшегося над теми, кто рвался в мир кино.

Пошлость – всё ушедшее в народ. Кажется, это Пушкин. Верно и ёмко. Вот и я стал тогда носителем этой липкой, успокоительной, публичной, губительной для всего настоящего пошлости.

Защита диплома была похожа на поощрительные аплодисменты марафонцу, приковылявшему на финиш последним.

Вся наша мастерская, восемь ребят и две девочки, собрались утром предпоследнего майского дня у 300-й аудитории, чтобы защищаться. Мы нервничали и беспрерывно шутили. Я был самым хмурым. Михал Михалыч, не стесняясь, жевал валидол. Алина Игоревна, его верная спутница, то бледнела, то краснела, то улыбалась, то обращалась к своему мужу на «вы».

Приглашали нас в аудиторию по одному и мучили минут по тридцать, заставляя, сгорая от стыда, читать и защищать свои сценарии. Возможно, чтобы убить в нас последние, самые робкие надежды дотянуться до мира кино-небожителей. Меня мастера оставили напоследок как гвоздь программы. Я вошёл в 300-ю около шести вечера, размашисто и уверенно, словно в свою квартиру.

А зря. В кино не любят смельчаков. Они вызывают подозрение и зависть. Поэтому от смельчаков стараются избавляться под всевозможными благородными, а по сути жуткими предлогами.

Одного остроумца из нашей мастерской, ответившего на вопрос, «где бы вы хотели работать?», «в Голливуде», выгнали с собеседования и вlepили двойку за неуважение к основам советского кинематографа и нашей передовой, человеколюбивой идеологии.

Усталая комиссия уже «поплыла», наслушавшись нашего дипломного бреда. В центре длинного стола сидела шишка, знаменитейший кинодраматург Витольд Юрьевич Величко, чьи фильмы пачками выходили на экраны.

Песочниковы ютились с краю. Ни дать ни взять студенты, по благу проникшие на лекцию великого профессора.

Витольд Юрьевич Величко был поджарый, двусмысленно улыбающийся, пятидесятилетний самодовольный вьюн, похожий на стрекозу без крыльев. Сходство с насекомым ему придавали обязательные внушительные цветные очки и умение говорить, почти не размыкая губ.

Речь Витольд Юрьевич вёл медленную, важную, многозначительную и часто пожимал плечами, как бы сам удивляясь только что сказанному.

Посмотрев на меня, стоявшего перед столом комиссии с заносчивым видом, он пожал плечами и дружелюбно сказал:

– Ваш сценарий меня удивил. Во всех смыслах. То есть конкретно: я ничего в нём не понял. Но, может быть, просто я столь непонятливый. Расскажите, о чём он и что вы хотели сказать всем этим?

И он похлопал ладонью левой руки по моему сценарию, зашитому по институтским правилам в твёрдый переплёт глубокого синего цвета.

Я тоже пожал плечами, что было совсем неуместно, так как выглядело насмешкой, и ответил:

– Бывает. Давайте разберёмся.

Витольд Юрьевич осмотрел всю комиссию, отдельно – несчастных Песочниковых, решил про себя, очевидно, какую-то гадость, кашлянул и обратился ко мне с невиданным предложением:

– Если хотите... – он посмотрел в мою зачётку, – Павел Сергеич... Э-э... Калужин... Мы можем сразу поставить вам «четвёрку» и не утомлять вас своими глупостями. По рукам?

– Я не совсем вас понимаю, – я ответил почти мгновенно и уставился кинодраматургу прямо в глаза, точнее, на радужные стёкла очков. – Давайте не будем превращать в цирк такое важное и серьёзное дело. Вы спрашивайте меня конкретно, если не поняли, а я буду объяснять.

После чего опустил на стул, стоявший в центре перед столом комиссии, то есть прямо напротив Величко.

Короче, я нарывался.

Лица у наших мастеров стали буквально свекольного цвета. Кажется, я пёр поперёк всех здешних правил. Но остановиться уже не мог, мне было весело. Дело в том, что сам сценарий, представленный мной на защиту, был действительно нелеп и ужасен. Повторюсь, что он явился плодом моего разочарования в своей мечте и результатом наглой и почти нескрываемой подтасовки бессмысленных и глупейших заумностей. Мало того, мне пришлось в голову напичкать его собственными стихами, которые как бы должны были быть положены на музыку и превратить документальную картину в подобие труверовского лирического песнопения, полного эпики и психологической глубины. Мелодийки к стишкам, понятное дело, я сочинил сам и принёс с собой шестиструнную «Кремону», чтобы спеть их во время защиты сценария.

Собственно, это и было надеждой Песочниковых на то, что их дебютные труды в Великолепном институте не пойдут насмарку. Самобытный сценарист, да ещё написавший песенки и под гитару их исполнивший – это вам не фунт изюма, дорогие киноэтры! Молодым везде у нас дорога! Не стареет советская кинохроника и кинодокументалистика!

А сценарий, честное слово, был чудовищен. По-моему, мастера это понимали лучше всех. Почему они пропустили мою липовую, смехотворную поделку? Не знаю. Думаю, что в данном случае паскудная реальность также разбила вдребезги их наивные мечты. Но отступить Песочниковы не привыкли. Да и не могли, если говорить правду. Кафедра кинодраматургии требовала каждую весну или урожай, или очередных кровавых жертв. Нам всем надо было уносить ноги. И тут совпали моё головотяпство и их ответственность перед какими-то неведомыми мне государственными чиновниками и киношными начальниками. Вот они-то вместе, головотяпство и ответственность, и позволили мне по общему согласию, так похожему на сговор, ломать эту комедию.

Ну и неплохой кинодраматург Витольд Юрьевич Величко попал вместе с нами как кур в ощип. Судя по снисходительному обращению с текстами дипломников и сибаритскому глумлению над всеми нами, ему давно хотелось домой. Кроме того, он совершенно не понимал, какие такие сценарии нужны режиссёрам-документалистам и как они должны выглядеть. Но он честно играл роль «шишки» и вкручивал в свои речи «осмысленный драматизм действия», «единство пространства и времени», «серьёзность темы», «оправданность конфликта персонажей», «развитие и кульминацию проблематики» и прочую чушь. Что хотите, роль главы приёмной комиссии ко всему этому обязывала.

И тут, под самый занавес, произошла накладка. Ему и всем другим членам комиссии стало ясно, что наглый пацан в открытую насмехается над процедурой защиты того, что гроша ломаного не стоит.

Стерпеть такого Витольд Юрьевич не смог. Он вдруг снял очки, и все увидели его глаза, закипающие, как кратеры вулкана. Ещё через секунду он склонился в мою сторону и произнёс по слогам:

– Да-вай-те. Объ-яс-няй-те.

И так и остался с вытянутым в мою сторону лицом.

Меня тоже понесло.

– С пролога начинать? – спросил я, чувствуя, что держу его почти как клещами.

– С названия.

Я кивнул.

– Название картины, – я сглотнул слюну, которая оказалась сухой и плотной, как песок. – В начальном многоточии зашифрована современность. То есть сплошная неизвестность. – Зримо и ясно – это точки. А что всё-таки они значат? Что такое вообще – точка? Знаки чего-то исчезнувшего и теперь невидимого. Понятно объясняю?

– Допустим. А дальше?

– Первый кадр фильма – это титры, которые складываются у нас на глазах, словно кто-то вручную склеивает плёнку. За многоточием появляется цифра «0», следом знак вопроса. Таким образом, сразу заявлен образ прошлого, настоящего и будущего.

– А звуковая подложка – треск кинопроектора? Как в старом кино, да?

– Нет. Кинопроектор – это банально. Подложка – диалог мужчины и мальчика.

Величко заглянул в мой сценарий.

– Так... Вижу... «А это что, папа? – По-моему, это дом. – А это? – Горы. – Ага, похоже. – А это вот ты, когда только-только родился». Бред какой-то. О чём это?

– Папа и мальчик разглядывают облака. После титров первая сцена – они сидят на траве и смотрят в небо. Мальчик спрашивает папу, на что похоже облако? Тот объясняет. Ну, как я сейчас вам.

– Но это же надо играть.

– Нас Михал Михалыч и Алина Игоревна учили, что в документальном кино возможна постановка. На уровне провокации. Чтобы добиться от персонажей нужной реакции. Мне захотелось поиграть разными приёмами, чтобы заинтриговать зрителя. Что-то вроде Маяковского. «Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана; я показал на блюде студня косые скулы океана». Пусть сначала всё будет непонятно, но страшно красиво. Сразу захочется смотреть, чтобы узнать, что там дальше.

Величко грудью налёг на стол и повернул голову к Песочниковым.
– И что, такое в документальном кино возможно? Э-э... Михаил Михайлович?

Михал Михалыч посмотрел на Величко почти с ненавистью.

– Возможно, – твёрдо ответил он. – Мы всё-таки тоже кино снимаем, а не лапти плетём.

– И это, по-вашему, начало фильма?

– Да. А по-вашему нет?

Кинодраматург втянул себя обратно на стул и опять уставился на меня. Клянусь, он был сбит с толку и, кажется, по-настоящему уязвлён.

– Ну, допустим. Рассказывайте дальше, Сергей... Э-э...

– Павел Сергеевич.

– Простите! Голова идёт кругом от ваших сценариев, молодёжь!.. Так, значит, мальчик и папа беседуют про облака. И потом...

– Потом – атомный взрыв. Хроника. Всё летит к чёртовой матери.

– Прямо на лужайке?

– Нет. Это как бы на той плёнке с многоточием и нолём, которую склеили в начале фильма.

– То есть?

– То есть теперь мы будем смотреть как бы два фильма. Склеенный, про прошлое и настоящее, про многоточие и ноль, и тот, который видят папа и сынишка. Новый фильм, наш фильм, метаобразом которого и является знак вопроса. Теперь можно дальше?

Витольд Юрьевич нацепил очки и словно за ними спрятался.

– Давайте, Павел Сергеевич, – сказал он как-то послушно, если не виновато.

Я встал и вынул из кожаного чехла свою «Кремону».

– Баллада «Пришествие». Это пролог второго фильма.

– Значит, в вашем предполагаем фильме будут зонги?

– Баллады. Зонги давно устарели. И потом, они примитивны.

– Наверное, смотря по тому, кем они написаны. Вы что окончили, кстати?

– Школу и геодезический техникум.

– А работали где?

– Токарем на заводе и потом техником в строительном тресте. А какое это имеет значение?

– Вы правы, почти никакого... Да вы пойте, пойте вашу балладу. Надеюсь, она не разочарует нас своей банальностью. И претензией на музыкальную революционность.

То есть Витольд Юрьевич пытался разжать накинутаые на него клещи, почти впрямую указывая на мою необразованность.

На помощь мне пришла Алина Игоревна. Бледнея своим правильным и очень аккуратным лицом, она встала и заявила:

– Может быть, Павел не профессиональный музыкант. Может быть, он берёт на себя слишком многое. Но то, что он неординарен и разрушает привычные нам всем каноны подачи материала кинохроники и предлагает свежий киноязык, – очевидно. Не так ли, Михаил Михайлович? Что вы молчите?

Михал Михалыч вынул ещё одну таблетку валидола, сунул её в рот, разжевал, сглотнул, поморщился и неожиданно сказал хорошо поставленным режиссёрским голосом:

– Давайте всё-таки дослушаем нашего выпускника. Мы же здесь для этого собрались или нет?

И с этого момента всё пошло как по маслу. Я вслух читал эпизоды, пел баллады, растолковывал свои придумки, на ходу сплетал в один узор нелепости и противоречия, торчащие из моего сценария, и никто меня больше не прерывал. Командный баритон Песочникова, которым он припечатывал и распекал всю свою группу во время киносъёмки, сыграл свою роль. Моего мастера все послушались, как бандерлоги питона Каа из мультфильма про Маугли.

Кинодраматург Величко вообще сидел неподвижно, прикрыв ладонью лоб. Только иногда он пожимал плечами, точно услышал, что Земля стоит на трёх слонах или что Волга никогда не впадала в Каспийское море. Но не возражал этому заведомому абсурду.

«Пусть слушают, не возражаю. И я ни слова больше не скажу против этого студента-умалишённого. Нафиг мне это надо?» – говорила вся его молчаливая, стрекозиная фигура.

Так продолжалось больше часа. Точно не помню, чем моё выступление закончилось. Было почти восемь вечера. Все мои друзья-сокурсники, члены комиссии и мастера куда-то испарились в пять минут. Меня самого, кажется, трясло и душило от волнения и какого-то запредельного восторга и упоения. Если бы меня в конце концов отправили в психиатрическую клинику, я бы ничуть не удивился. Киномир встретил меня по-ударному, за один час дав возможность выплеснуть всё до последней капли, нахлебаться смертельной отравы и навсегда сгинуть в чёрном небытии, так и не поняв, каков он, этот мир целлулоидной иллюзии, мечта и вождение наивного Паши Калужина, «сценариста и литературного работника кино и телевидения» (так полностью называлась моя новая профессия и так было позже записано в моём дипломе), на самом деле.

В чехле от гитары я обнаружил записку: «Поздравляю! Позвони завтра мне (зачёркнуто) нам домой сразу после 12. А. И. П.»

*Стихи по кругу***Марианна СОЛОМКО***Санкт-Петербург*

* * *

Аист на стоге сена –
Ангел всея Руси,
Как часовой вселенной
На луговой оси.
Грудью, белей ромашки,
Входит в земной закат
И троекратно машет:
Свят, свят, свят!

* * *

Ещё живут, пока не спят
Старухи в русских деревнях –
Так свечи тусклые опят
На старых оплывают пнях.
В кроватях, как на дне корзин,
Старушки гаснут на Руси...
И горько, горько до осин,
Что будет мир без них еси,
Что в этой каждой из бабусь
На смертном ложе охнет Русь.

* * *

А в Усвятах – кот усатый
Вышел плавно из ночи.
Кто ты, пахнувший лесами,
В сердце с пламечком свечи?
Где твой домик деревянный,
Бабка, печка, злаямышь?
Все колючки от бурьяна
Ты хвостом собрал – мурчишь,
Что подать бы хлебной корки,
Что не знал ты холодца...
Ни иконки, ни икорки,
Ни колбасного кольца –
По огромнейшей России
Бродят вечные коты
Как голодные мессии
Всенародной нищеты.

Старик

Старик – обуза и морока,
Но видит выше облаков,
Всё то, что не видать до срока,
До шаркающих в рай шагов.

Так далека и так далёка
Для нас его большая жизнь –
Забот и трудностей дорога,
И дел прекрасных рубежи.

Старик – ему не надо много,
Лишь благодарности рука,
Ведь с каждым днём всё ближе к Богу
Его небритая щека.

* * *

Сколько бы ни кроили,
Рвали, опять сшивали, –
Теплится на Украине
Веры свеча живая.

Сколько бы ни бесились,
Каркая и гнусава, –
Не упадёт в России
Светлой *надежды* знамя.

Сколько б границ ни узили,
Подло толкая к яме, –
Гимном *любви* в Беларуси –
Рощица с соловьями.

Тщетно могила роется,
Злобно готовится плаха, –
Родины звёздная Троица
В битве не знает страха.

Александр ШИНЕНКОВ

с. Надёжино, Нижегородская область

Прожигание жизни

Да – прожигал. И вот на ней дыра –
На жизни брэнной и бесчеловечной,
Где некто в никуда рукою вечной
Сметает нас, как крошки со стола.
Уже не мал, чтоб азбуки учить;
Ещё не стар, чтоб зачищать огрехи, –
А между тем в обугленной прорехе
Уже созвездья можно различить...

Древние руны

Древние руны в веках не оставили след –
Кто мы, зачем, и откуда вселенская грусть?
Есть лишь вопрос, но навеки потерян ответ –
Что в твоём имени скрыто, родимая Русь.
Топа русалочки, знаки преданий былых,
Вёрсты за вёрстами – нет у просторов конца.
Плач по скитам по раскольничьим, Лысой горы
Пляски ночные, печаль и сиянье венца.
Мчатся столетья – таинственный замок стоит –
Пламя, и смерчи, и бури ему нипочём.
Сено-солома построятся – встанет гранит,
Вьюги подуют – и будет врагу горячо.

Кандагар

Связи нет – по звуку оцени:
Если по расщелинам-углам
Эхом одиночные пошли –
Значит, не до жиру пацанам.
Если неба – синий, синий цвет,
А кругом тротиловый угар,
Если ты кричишь, а звука нет –
Значит, тебе снится Кандагар.

Если, пусть и раненым, назад
Ты доставлен – нечего бузеть:
Это значит – жить тебе, солдат,
А «тюльпаном красным» не висеть.
Явственней, чем вспышка в темноте,
Если был по бронику удар –
А ты вздрогнул дома на тахте, –
Значит, тебе снился Кандагар.

Никита ДОРОФЕЕВ

Нижний Новгород

Том ждет

Том ждет. Долго держит паузу, допивает виски.
Стреляет скрипучим кашлем в чужих и близких,
и, гильзу улыбки в зрительный зал роняя,
ставит пустой стакан на капот рояля.
Благодарит пришедших за ожиданье,
как бы нехотя вставляет ключ зажиганья,
поправляет в зеркале отраженье,
и рояль начинает свое движенье.
Том, разумеется, пьян, он ведет не в ритм.
Лицу его приятнее быть небритым.

Голосу, пальцам, душе его так дрожится,
Что мокрый асфальт едва под рояль ложится.
Так он выходит из дома, из нас, из себя, из моды.
Из времени, тела, своей лошадиной морды.
Рояль на полном ходу. Яркий свет, стена.
Кульминация. Кода. Молчанье. Тишина.

Вольфрам

Когда в борьбе за свет мне не хватает сил,
ко мне приходит Архигуманоид Гавриил.
Худющий, как фагот, он в воздухе парит
и открывает рот и ничего не говорит.
Мой бледный друг играет мне на дудочке чудной.
Нездешний звук порхает в хрупкой клеточке грудной.
И нервы, как вольфрам, сгибаются в дугу,
И я хочу сдержаться, но не могу.
Гремят петарды, вспархивает с криком воронье.
Дрожат кусты, с балконов обрывается бельё,
Голодный ветер с треском обгрызает провода,
На землю с градом падает вода.
Мой друг молчит. Ничто не трогает его.
Он ставит мир на паузу, уходит в НЛО,
Потом опять ко мне сползает, как лоза,
в меня оставив звездные глаза.
Чтоб устранить дефект, он составляет акт,
Сменив стекло и цоколь, он тестирует контакт
и жмет на пульт трехпалой тоненькой рукой,
и я свечусь вольфрамовой дугой.
Уже другой...

Карл

Город шатался, будто бы недобрился,
Будто набрался, нужного недобрав.
Карл закосил под Лунтика и родился,
(Позже, конечно, понял, что был не прав.)
Тело немного жало, но все же жило.
Он понимал, что все еще эмбрион.
Только уже росло в одном месте шило.
А в другом шарашил тестостерон.
Рано начал ходить, куда надо, какал.
Был слегка нерешителен и раним,
Только при этом Карл никогда не плакал.
поскольку он был еще Фридрих Иероним.
С юности был мечтателем и не нравился
Бюргерам, блогерам, хипстерам, местным менторам.
Слишком уж у него как-то против правил все.
Очень уж неудобным был элементом.
Употребляя спирт и иные вина,
Сделался нелюдимее и лютей.

Где-то надыбал полено, назвал Полина,
 Научил говорить, ходить и рожать детей.
 Много читал, писал, играл на гитаре.
 Мух отпускал на волю, а не карал.
 Заезжал по пьяни к какой-то Кларе.
 Играл на кларнете, но ничего не крал.
 Верил в эффект мечты, как в эффект плацебо.
 Сам разводил цветы или плел кашпо.
 Все больше пил, лежал и глядел на небо
 Больше и неспособен был ни на что.
 Тот самый Карл. Так его и прозвали.
 Карл с непростым и чуждым таким нутром.
 Люди глядели вслед ему и кивали:
 Че это он все с лестницей и с ядром?

Виктор ЕПИФАНОВ

Нижний Новгород

Кларнет

Опять кого-то прославляя
 И вознося на пьедестал,
 Подобострастно ублажая,
 Оркестр услужливый играл.

Из звуков стройного единства
 Кларнет упрямый выпадал,
 В рядах всеобщего бесстыдства
 Он не фальшивил – он страдал...

Владимир ИЛЬИЧЕВ

д. Коробцово, Ярославская область

* * *

Закутываясь в опыт многих зим,
 ты начал представлять себя с клюкой.
 Зашёл за батареей в магазин...
 А выйдя... встретил школьную любовь.

Поверил – не поверил, что она
 такая же, как там, в былой стране,
 где, собственно, твоей была страна,
 а сложности – твоими не вполне.

Несложно в тайнике своей души,
 буквально предназначенном для тайн,
 беречь пейзаж заснеженных вершин
 из фотоаппарата «Снеготай».

Ну, то есть, было всё в твоей душе,
хотя любовь не знала о любви –
тогда, во времена программы «Джем»,
и далее, в эпоху MTV.

И зря сейчас поведаешь ты ей,
о том, что «был готов – всегда готов»,
но фотоаппараты «Снеговой»
легки на съёмку тающих снегов.

Ты вновь пойдёшь совсем другим путём,
не думая о найденном жалеть.
А дом на фоне гор... мечтанный дом,
обычное альпийское шале.

Кому-то зимовать привычно в нём,
встречая соком новые года.
Давайте, мистер икс, тогда плеснём
ещё... за это самое «тогда»!

* * *

К заводским бы настройкам
откатиться сейчас...
Не совсем, а настолько,
чтобы в профиль, анфас –
оказаться моложе,
а с изнанки – светлей.
Кто сбежать нам поможет
из глобальных сетей?
А никто не поможет.
Никому дела нет,
что чешуйки на коже –
не пиджак на жилет.
Остаётся бежать нам
через файлы свои,
через мутные тайны
и ошибок слои.
Ничего не попишешь:
опций нет заводских.
Но мы пишем – так тише
рвётся леска тоски.

* * *

Понимаешь, ты... красивая,
в плоскостях любых осей,
но Земля – гнездо осиное,
и для ос я – фарисей.

Я в тебе заметил большее,
чем причина пожужжать

о недвижимости Борджиа
на границе Курмыша.

Не считаются приличными
сны-заметки на полях,
там прописана опричнине
желтизна полос и блях.

А сейчас заметить хочется,
что тебя я не спасу:
те же краски, жало точится,
превратишься ты в осу.

А сейчас мне снова верится,
что – спасу, не зря – люблю
и пишу о цвете вереска
золотишком по углю.

Галина ШУБНИКОВА

г. Советск, Кировская область

Моя провинция

В нашей провинции воздух звенит синицей,
Медленна жизнь, будто слой облаков загустел.
Капля дождя слезинкой дрожит на ресницах,
День отпустив, календарный листок улетел.

Скрученной нитью сплетается жизнь в паутину,
Радуга проблеском мост перебросит вдали.
Наша провинция – вотчина комариная.
Звон колокольно-серебряный изнутри

Публицистика

Олег РЯБОВ

ОТ ПОСТМОДЕРНИЗМА К ХАКЕНКРОЙЦУ

Искусство, основанное на разрушении сакральных ценностей, не имеет будущего

Долго не мог понять: что такое постмодернизм? То есть ощущать-то я его ощущал, но не понимал, почему он так расцветает в странах, имеющих хорошие, плотные культурные традиции, преемственность, нравственность, школу. И вот: увидел чью-то старую школьную тетрадку, из тех, какими ещё сам когда-то пользовался и на обложке которой Ленину были пририсованы очки и усы, и всё у меня в голове выстроилось и выкристаллизовалось.

Когда почти сто лет назад Дюшан, украсив Мону Лизу усами, выставил своё произведение на всеобщее обозрение, возможно, он ещё не знал, что даёт толчок развитию нового и довольно перспективного направления в искусстве, причём не только изобразительном. Но он стал отцом этого паразитического искусства, основанного на принижении и разрушении сакральных ценностей, на опошлении самого святого и дорогого, что есть у человечества, на уничтожении трепетного чувства святости.

Можно говорить о раскрашенных унитазах или о том, что Дюшан не был первым. Это не имеет отношения к существу вопроса. Стало понятно, что чем выше табуированность или духовное значение произведения искусства, идеи, просто предмета, теории, личности, взятых за основу, тем заметнее результат сотворённой акции. Понятно, что десятки дрянных и скабрёзных стишков, приписываемых Пушкину, слушаются в определённых компаниях лишь потому, что это замечательное авторство было придумано и продумано. Если бы их истинный автор (Бубликов или Шапиро) оставил его за собой, они бы никого не заинтересовали. На это классическое направление развития постмодернизма указал уже Даниил Хармс, записав несколько довольно сомнительных анекдотов о Пушкине.

У постмодернизма было много теоретиков, и в своём начале это течение брало за основу комическое и юмористическое отношение к великим и классическим произведениям искусства, что уже само по себе недостойно внимания, если даже не низко. Но уже после Второй мировой войны, в самой середине двадцатого века, Сэмюэль Беккет,

желая оттолкнуться от своего учителя Джеймса Джойса, провозгласил основой литературного мастерства не богатство языка, которое перевозносил Джойс, а его бедность. На этом заканчивался и век гуманизма, по мнению Беккета: отныне человек – не вершина творения природы, а недоразумение. Наступал век разрушения: но не уничтожения, а паразитизма.

И чем крупнее и значительнее объект, тем больше паразитов могут кормиться от него и дольше. И это не геростратизм, когда уничтожение гениального и великого произведения не уменьшает его значения, а лишь заставляет сожалеть об его утрате. Паразит медленно убивает изнутри своего хозяина, постепенно превращая величественную красоту во что-то болезненное и жалкое. И это страшно.

Так модифицируются в нечто пошленькое классические музыкальные произведения и величественные народные песни, приспособляемые к употреблению на корпоративках, но уже с новыми дилетантскими или скабрёзными текстами. Так для «современного прочтения» опошляются театральные постановки, и «Три сестры» – это уже три проститутки. Зачем? Все эти сожжения Корана и Библии, сомнительные фильмы о жизни Спасителя и Мухаммеда. Зачем?

И конечно, перформансы и хеппинги, расцветшие махрово в современной молодёжной субкультуре. Все эти флешмобы, пикеты в защиту чего-либо или против: молодёжь ищет новые формы самовыражения.

И я не против новаторства и поиска этих новых форм самовыражения – это необходимая основа развития любых видов современного искусства, но! Можно писать без заглавных букв и знаков препинания, если ты хорошо знаешь родной язык, а не наоборот, можно царапать любую ахиною столбиком и лесенкой, если ты можешь написать классический сонет не сходя с места в два катрена и два терцета.

Вспоминается случай, описанный Бенедиктом Лившицем в его «Полутораглазом стрельце», когда братьям Бурлюкам, готовившим легендарную выставку «Бубновый валет», пришлось сначала доказывать папе, очень богатому землевладельцу, оплачивавшему их обучение в художественных школах, свою состоятельность, написав его портрет в технике Рокотова или Левицкого и несколько пейзажей в стиле Клевера и Левитана. Только после этого разрешение на «мазню» было дано.

Когда я увидел работу Ольги Розановой «Портрет матери» 1911 года, выполненный в академической манере с растушёвками (она тогда училась у Добужинского и Петрова-Водкина), я очень порадовался – с такой школой можно заниматься и модернизмом, и абстракционизмом. С такой школой можно всё!

Но тем и отличается постмодернизм от всех других «-измов», что он использует в качестве центральных символов своих произведений табуированные объекты и темы: их нельзя комментировать и трогать непосвящённым!

Несколько лет назад режиссёры и модераторы акции, проведённой в храме Христа Спасителя, даже не ожидали, что им удастся вовлечь в свою игру и сделать её участниками первых лиц государства (Путина и Патриарха Кирилла) и мировых звёзд (Мадонну и сэра Пола Маккартни). Тут результат превзошёл все ожидания.

Вначале всё это напомнило мне детскую игру, когда пятилетний мальчик при папе тихонько-тихонько произносит: «Мама – дура!» По-

том громче. И это продолжается, пока папа не замечает ему, что так говорить нельзя! Или так же пятнадцатилетний юноша дотрагивается до коленочки интересной ему девушки и продвигается на ощупь по ноге вверх по направлению к заветной ложбинке, пока не получит затрещину. И тот и другой как бы проверяют: а до каких пор можно?

Так вот, организаторы постфактум поняли, что где-то существует «нельзя»! И сейчас оправдания, что это не то, о чём вы подумали, мы хотели совсем другое, уже не принимаются. Курочка назад не скачет. Конечно, есть одно любопытное замечание, сделанное моим другом, профессором, искусствоведом и человеком хотя и русским, но очень далёким от православия. Точнее – голым атеистом. Он заметил, что здание храма Христа Спасителя – «новодел» и поэтому не является произведением искусства, но вот если бы эти «девки» станцевали в храме Покрова на Нерли, то он тоже бы выступил за то, чтобы их наказать. Он даже не заметил, что оскорблены чувства верующих. Он как бы признаёт право за постмодернизмом что-то творить, но только то, что не оскорбляет его духовных ценностей и тех шедевров, которые для него святы.

Вспомнился рассказ одного моего приятеля, который, приехав в незнакомую деревню в конце зимы, сбил из озорства сосульки с карниза избы, в которой остановился. Хозяева очень расстроились и долго-долго причитали, но объяснить, почему этого делать нельзя, не могли. Мой друг был дотошным человеком и в конце концов выяснил у стариков, живших в деревне, что когда-то давным-давно по длине сосуллек, выросших с северной и южной сторон, наши предки определяли, когда надо сеять хлеб, чтобы был хороший урожай. Поэтому сбивать их нельзя, иначе всё перепутается. Давно уже в деревне никто не сеет хлеб, а традиция жива, и никто её не нарушает, кроме приезжих несмышлёнышей.

Я замечал, и не раз, как пожилые люди делали внушение молодым, слыша от них анекдоты про первых лиц государства. Нет, они не боялись, что, как при Сталине, тех посадят или как-то накажут. Они просто знают, что про первых лиц государства, как и про Родину, – нельзя! Я тоже иногда не знаю, почему что-то нельзя. Но культура – это привычка! Поэтому про Родину и маму, Пушкина и храм Христа Спасителя – нельзя! А если можно, то только с благоговением, которое уже начинает пропадать на глазах у всех.

Культурный путник, пришелец на незнакомую новую землю, если он не хочет войны, в первую очередь выясняет, какие символы, предметы или животные являются тотемными для этой страны и подлежат негласному и обязательно замалчиванию, какие идеи табуированы и не подлежат обсуждению. Но если человек с чуждой нам культурой позволяет себе шутить и издеваться над тем, что нам свято, то это – враг! Он пришёл с войной. И с ним надо поступать как с врагом.

И нашим доморощенным лидерам постмодернизма, и тем, кто за ними тянется в фарватере, хочется намекнуть, что фашистские свастики, которые время от времени появляются на еврейских надгробиях (а это – фашистские знаки, а не древний славянский символ солнцеворота), – дело рук не антисемитов, а очень опосредованно, очень глубоко опосредованно, дело рук носителей этого нового направления в искусстве. Это – постмодернизм!

Их авторы – успешные адепты. Стоит ли их ругать!

Николай БЕНЕДИКТОВ

Российский политический деятель, философ, писатель. Родился в 1949 году в Горьком. Окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета. Доктор философских наук, профессор. Избирался депутатом Государственной думы третьего и четвертого созывов.

Автор пятнадцати книг, в том числе «Русские святыни» (Москва, 2003) – о системе ценностей русского народа, «Записки о русском» (Н. Новгород, 2020). Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

СМЕРДЯКОВЫ ОТ ИСТОРИИ

В предыдущей публикации, приуроченной к 800-летию со дня рождения Александра Невского (см. № 2, 2021), я упомянул об участвовавших в нападениях на святого благоверного князя, замешанных на цветущем ныне евробесии и русофобии. С учетом современной обстановки в мире стоит задержаться на этой теме подробнее.

Обстановка действительно не очень праздничная. И дело не только в пандемии коронавируса, но и в каком-то общем расстройстве в мире. В Америке выбрали президентом старого человека с угасающими когнитивными способностями. Это тот Байден, который раздавал печенки на киевском майдане вместе с Викторией Нуланд майданутым националистам. Он же фактически поощряет «негритянское восстание» в США, детонатором для которого послужила случайная гибель наркомана и грабителя при задержании полицией. Как результат забурлила страна. Демократическое и перепуганное белое население Америки заставили целовать ноги черным, требующим не равенства и работы, но привилегий и незаработанных денег. Разгром магазинов и ресторанов, а за ним и штурм Капитолия еще больше обострили ситуацию, и как всегда виновата оказалась «рука Москвы», влиявшая на выборы и мешавшая жить американцам. Русофобская истерия носит уже параноидальный характер.

Нечто похожее произошло и в Европе. Волны эмигрантов принесли с собой в сытые и благополучные страны общественное расстройство. И опять же – крики о «русской угрозе», мешающей жить.

Пароксизм русофобии отозвался извращением целенаправленных фейков, малограмотных диванных «исследований», псевдоисторических домыслов. Интернет накрыла лавина материалов, развенчивающих что-то важное для русского сердца. Одни вдруг стали писать,

что великий русский полководец А.В. Суворов вовсе не талантливый военачальник, а просто ужасный крепостник и каратель. Каких-то серьезных доказательств в подтверждение сказанного не приводится. Спросите себя, где и когда Суворов выступал карателем?! Когда гонял спесивых польских панов – угнетателей украинского и белорусского народов? Вроде бы не очень кругло получается. Наоборот, кроме побед воинских надо бы похвалить Суворова за спасение Варшавы от разрушения при взятии предместья польской столицы Праги, удивиться неожиданному результату его победы над незадачливым польским маршалком Огинским. Ведь именно убежав от Суворова в Италию, Огинский и написал чудесный полонез. Или, может быть, Суворов был карателем в Итальянском походе? Но ведь он воевал не с итальянцами, а освобождал Италию от французов, то есть был освободителем, а не карателем. Или, может быть, он был карателем в Швейцарском походе? Но и в Швейцарии русские войска воевали с французами при поддержке местного населения, а потому он был опять же освободителем, а не карателем. Вспоминают обычно о подавлении восстания Пугачева. Однако известно, что Пугачев был разбит, захвачен в плен и посажен в клетку Михельсоном до приезда Суворова.

Русофобы заключают, что Суворов-де мешал установлению новых форм жизни, которые несли с собой французы. Мысль специально обычно оставляется без расшифровки, потому что она несет с собой ложь и ругательство. Что ж, вот 1812 год – французы в Москве, и Москва сожжена и разграблена. Видимо, это новая жизнь? Русские в Париже. Париж цветет и танцует и требует у русского императора двойную плату, и император платит. Какое скучное и неприличное сравнение для наших «европейцев»! Новая жизнь? Нет, Европа и в этом случае, как писал наш великий философ К. Леонтьев, есть «идеал и орудие всемирного разрушения». Неслучайно Наполеон и Гитлер для нас, русских, связаны просто со счетом: с Наполеоном была первая Отечественная война, а с Гитлером – Вторая Отечественная.

Сегодня же, как известно, в Прибалтике духовные потомки и обожатели Гитлера и «европейцы» устраивают шествия. Их там всячески пытаются оправдать и обелить. И кто встает на этот «европейский» путь, тот достаточно быстро приходит к оправданию воинствующих бандитов и разрушению жизни. Посмотрите на Украину: высокоразвитая страна, города-миллионники с высокотехнологичными заводами, образованием, медициной и производством. Начали воспевать Бандеру, пособников Гитлера, националистов, дивизию СС «Галичина». Демонстративно сожгли людей в Одессе под телевизионными камерами. Видели все, что жгут людей бандеровцы, спокойно наблюдает за этим глава полиции-милиции, молодые сволочи готовят бутылки с зажигательной смесью, стреляет сотник Микола по людям. Прошло семь лет! Не дрогнуло сердце у наших и ненаших «европейцев». Они и Америка этого не заметили, это ведь не Навальный!

Цинизм и лицемерие – типичная общая европейско-американская позиция. К слову, когда-то пытался понять защиту Европой и Америкой далай-ламы, которого не пускали в Тибет китайские власти. Ведь далай-лама – апостол ненасилия. Стал разбираться. Оказалось, что далай-лама не просто хочет вернуться в Тибет, но требует «вернуть все как было». А как было? Было рабовладение. Вот случай. Раба послали с поручением. Он не успевал назад, заночевал в чужом имении. За это хозяин чужого имения отрубил ему кисть руки. Раб прибежал к хозяину.

За опоздание хозяин отрубил ему вторую кисть руки. Его крики и ужас ситуации не обеспокоили далай-ламу, не тронули всех «европейцев» и американцев. Они продолжали осуждать Китай.

На Украине видим подобное. С благословения и подзуживания заокеанских кукловодов сегодня она идет единственно верным «демократическим» путем и уже добилась на этом пути ошеломительных успехов: живет иностранной гуманитарной помощью и подачками МВФ (не бескорыстными, разумеется), стала низкоразвитой страной. Производство разрушено, высокие технологии утеряны, здравоохранение в руинах, десять миллионов из сорока с небольшим разбежались по разным странам, и... как и ожидалось, в бедах виноваты русские и русский язык. Вместо великой мировой литературы теперь дети будут изучать этнографические описания. Булгаков – нежелательный «имперский» писатель, Гоголя переводят с русского языка на украинский с исправлением его «идеологических ошибок», а фильм «Тарас Бульба» «дискредитирует украинскую национальную идею».

Домашних же наших «европейцев» стал очень раздражать Александр Невский. А уж после 2008 года, когда его имя согласно всенародному голосованию стало именем России, начался просто обвал нападок на великого князя. Вот, например, Нестеренко А.Н., преподаватель одного из московских вузов. В интернете выставлены его книги и список публикаций. Почти все публикации посвящены развенчанию Невского. Его сочинения достаточно детально разбирали историки Ю.В. Кривошеев и Р.А. Соколов и показывали путаницу и удивительную небрежность и несостоятельность сочинений «разоблачителя». Они же хорошо демонстрировали и удивительную необоснованность главных заключений «европействующего» автора. Вот наиболее объемная книга Нестеренко А.Н. «Александр Невский. Кто победил в Ледовом побоище». Пишет он, например о том, что возможность служить богу на своем языке послужила причиной того, что русские при выборе между православием и католицизмом предпочли православие. Думаешь при этом: но ведь Владимиру равноапостольному, окрестившему Русь, выбор пришлось делать между иудейской верой, мусульманской и христианской, а в это время не было еще деления на католиков и православных. Это деление произошло в 1054 году, а крещение Руси было в 988-м. И... ничего! Можно уточнить всю эту историю с языком богослужения. В 863 году монахи Кирилл и Мефодий после перевода богослужебных книг на славянский язык прибыли в Моравию. Их проповедь на славянском языке имела успех. Однако немецкое католическое духовенство из-за языка обвинило их в ереси. Их вызвали в Рим. Римский папа Адриан II в специальном послании разрешил им распространение славянских книг и богослужения. Иными словами, в то время католикам не запрещалось вести богослужение на русском языке. И поэтому русский выбор был обусловлен не выбором языка богослужения, а неприятием Запада. Автор продолжает без тени смущения повторять фразу «любой, знающий хоть немного историю, согласится...», а далее – что-нибудь неожиданное и ни с чем не сообразное. Ведь писал об истории христианства в Прибалтике патриарх Алексей, однако он, по мнению Нестеренко, видимо, не знает ничего об этой теме. Писал Л.Н. Гумилев, говорил о евразийской сути России, говорил, что Россия служит мостом между Востоком и Западом, писал, что Киплинг неправ, утверждая, что Восток и Запад никогда не сойдутся. По мнению Нестеренко, Гумилев не знает истории. Впрочем, как и масса русских

и советских историков, писавших о Прибалтике. В книге Нестеренко много бросающихся в глаза противоречий. Так, он пишет о епископе Томасе, который своей алчной жестокостью вызвал восстание местного населения. Аборигены, по мнению автора, были нехороши, ибо они поступали жестоко с пришедшими захватчиками. Но ведь аборигены у себя дома, а Томас и иже с ним явились на их землю с мечом и со своими порядками. Осуждения епископа Томаса, да и вообще католических проповедников, в книге нет. Более того, подчеркивается, что они имели целью проповедь христианства, и только. Диву даешься. Ведь сам пишет о том, что Римский папа выдал специальный документ об амнистии преступникам, которые примут участие в крестовом походе в Прибалтику. Амнистия за преступления дается преступникам. По мнению же Нестеренко, эти крестоносцы не были преступниками, а были мирными христианизаторами. Сам пишет о том, что епископ Бартольд погиб в битве с оружием в руках, однако тут же пишет, что насилия не было. Да ведь епископ не должен вообще брать в руки оружия?!

Русские, по мнению автора, просто ленивы, а потому и не занимались проповедью христианства. Русских в положительном ключе автор старается не вспоминать. Идет ли речь о Дерпте, автор пишет, что его основали немцы. Как же, скажет читатель, его основали русские под названием Юрьев! Автор этого не замечает. Датчане у него основывают Ревель-Таллин. Да ведь это русская Колывань, скажете вы. Автор об этом ни полслова. Там же, где приходится говорить о чем-то русском, то обязательно, мягко говоря, в критическом ключе. Так, Нестеренко пишет, что Невской битвы не было вообще, что она придумана. Это, мол, видно из того, что в летописи говорится о войне Савве, который в этой битве срубил столб, на котором держался шатер вражеского предводителя, а падение шатра вызвало смятение в рядах неприятеля. «Где это вы видели в боевых донесениях (летопись основана на боевых донесениях. – Н. Б.) рассказы о каких-то шатрах?» – пишет скептический автор. Да ведь непредубежденному читателю как раз очевидно, что подобная важная деталь – сродни захвату в ходе сражения вражеского боевого знамени – слишком яркий факт, чтобы быть вымыслом, что она как раз свидетельствует о реальности подвига Саввы.

В конце концов начинаешь понимать, кто такой Нестеренко. Он классический русофоб дурного пошиба. Вот был когда-то граф Астольф де Кюстин. Великая французская революция лишила его всего, он бежал с родины, его пожалели и пригрели на Руси. Он же написал книгу о России, в которой вместо благодарности облил грязью все русское. Этот классик русофобии был француз. Достоевский же описал тип русского русофоба в романе «Братья Карамазовы». Это весьма гнусный персонаж – лакей Смердяков, который мечтал, чтобы умная нация (французы) победила бы глупую нацию (русских), – невольно приходит на ум всякий раз при ознакомлениями с псевдоисторическими сочинениями «обличителей» Александра Невского.

Повторюсь для ясности. Александр – князь, и поэтому его готовили к власти и политике. Мог ли князь не знать о падении Царьграда?! В 1204 году состоялся четвертый крестовый поход. Однако освободители Гроба Господня не добрались до Палестины. По наущению венецианского дожа Дандоло они захватили Царьград-Константинополь и далее не пошли. Вместо Византии появилась Латинская империя, а Византия сократилась до Никейской державы. Вновь Византия возродилась в 1261 году. Это означает, что вся жизнь Александра Ярославича

прошла под впечатлением падения Византии и проявленной хищнической сути Европы. Крестоносцы разграбили Царьград. Дожу Дандоло привезли квадригу коней, и кони стоят и сегодня на площади Святого Марка в Венеции. Смешно и бесстыдно квадрига коней стала символом Венеции. Но в основном бандиты и грабители старались переплавить золотые и серебряные статуэтки в слитки. Ведь они занимают меньше места, а тогда их можно вывезти побольше. В 1453 году Константинополь захватили мусульмане во главе с султаном Мехмедом-завоевателем. Он шел по городу и плакал слезами восхищения от красоты города. Он приказал грабителям вернуть все на место. Крестоносцы не были Мехмедом-султаном, они не плакали от восхищения, они грабили и убивали. Вот это понимание европейца как грабителя, разрушителя и убийцы было дано Александру Невскому. Соответственно он к ним и относился.

Внешне Александр Ярославич был хорош собой. Очень большого роста – не меньше 2 метров. Были попытки изобразить его маленьким, но они, кроме мелочного злопыхательства, ничем не были обоснованы. Я уже об этом писал: подсчитал по косвенным данным, и в первую очередь по погребальной раке, что Александр был не меньше 2 метров ростом. В отличие от полуграмотных европейцев Ярославич, впрочем, как и все новгородцы того времени, был начитан. За внешностью следил – внешний облик князя есть лицо государства. И русские люди в большинстве своем, особенно знать, по сравнению с европейцами выглядели куда более утонченными, образованными и воспитанными. Вспомните Анну Ярославну, королеву Франции, на славянском евангелии которой и потом много лет короновались правители Франции. Тогда как ее супруг, король Франции, как известно, был неграмотным. А ведь это была едва ли не самая развитая страна Европы. Посмотрите для сравнения на другую европейскую страну того времени – на Англию. После завоевания Британии Вильгельмом Завоевателем почти 300 лет на английском говорили только низы общества на улице, а верхи общества Британии говорили на французско-нормандском диалекте. Литературные произведения на английском появятся только во второй половине XIV века. И это можно сравнивать с тем, что на Руси была массовая грамотность (о чем свидетельствуют находки берестяных грамот уже в 10 русских городах), существовала литература. Хочу напомнить то, что блестяще показал наш великий философ Н.С.Трубецкой в своей работе «Европа и Евразия», – для возвеличивания Европы того времени нет никаких рациональных, логических оснований, а поэтому слова холуя Смердякова об «умных» и «глупых» нациях принципиально не отличаются от вышеприведенных якобы «ученых» сочинений русофобов.

Боец и полководец, князь лично участвовал в битвах. Был стратегом и тактиком, умевшим рассчитать ход сражения и соответственно расставить войска. Неслучайно у него нет проигранных сражений. Он хорошо понимал опасность европейской экспансии. Об этой опасности писал даже влюбленный в грязную Европу Нестеренко. По его словам, прибалтийским народам был один путь – становиться католиками. Иначе они должны были умереть. Те, кто не хотел становиться католиками, были перебиты. Например, пруссы. Эта ужасная альтернатива почему-то кажется нормальной для подобных Нестеренко «Смердяковых-историков»: становись католиком или умирай. Между тем стоит помнить, что историческая Россия объединяла людей разных религий

и верований. В ней жили не только православные, но и католики и протестанты. Жили мусульмане, иудеи, буддисты и язычники. Их никто не принуждал бросать веру предков.

Князь Александр вел себя по-русски, то есть не принуждал местные прибалтийские племена к смене религии, однако Православной церковью он был объявлен благоверным и канонизирован сразу после кончины за его православную жизнь. И проявлялось это в первую очередь в политике, то есть главной сфере деятельности Александра Ярославича. У него не было колебаний в сторону Запада. Там попытались искать спасения галицкие князья – и где теперь Галиция и что от нее осталось? Князь Александр помнил, что европейский путь ведет к смерти, грабежу, подчинению католическим политикам.

И дело здесь не в том, что европейский и русский путь – два разных, но равноценных пути, это не просто различные оценки ситуации. Нет, истина одна. Неслучайно «разоблачающий» великого князя Нестеренко пишет о чем угодно, но не печалится о пруссах, и того больше – о поляках. Пруссы, по мнению европейски лакействующего автора, – дикари, которые не приняли европейского пути, католицизма, «цивилизации», а поэтому и погибли. И сегодня такого народа нет. Осталось лишь географическое название Пруссия.

Нет, дело тут не в различных точках зрения как отражения многообразия жизни. Почему Нестеренко не вспоминает о Польше? Она очень неудобна для его построений, поскольку показывает ложность его посылок. Драка в Прибалтике шла не за католицизм, а за большие доходы от балтийской торговли. Польша была серьезным конкурентом для западных агрессоров. Ведь неслучайно польский Гданьск стал немецким Данцигом. С Польшей нельзя было прикрыться желанием распространять католицизм, ведь Польша уже была католической. А когда западноевропейское купеческое объединение Ганза окрепло, то и Польша оказалась меж двух огней – с Запада и Востока. Ей пришлось выдержать тяжелую борьбу с немецко-рыцарской экспансией. Напомню, кстати, что остановить германскую агрессию удалось лишь в 1410 году в битве при Грюнвальде, в которой, по описанию польских летописцев, «только русские оказались достойны звания истинных рыцарей». Как известно, три русских полка участвовали в битве на польской стороне, и именно они выдержали первый и самый тяжелый удар рыцарской конницы. Иными словами, в этом противостоянии Польшу спасла не католическая вера, а поддержка русского народа, избравшего свой, неевропейский путь.

Невредно отметить и то, что попытка жить по европейским лекалам была предпринята Россией в 90-х годах XX века. Недоброй памяти министр иностранных дел Козырев старательно выполнял указания Европы и США. Россия не только теряла выгодные контракты, но теряла и территории. Сегодня этот человек живет в США. С ним однажды встречался бывший президент США Никсон. Он о Козыреве отозвался однозначно презрительно – назвал «слизняком». Слизняков и смердяковых великий князь Александр видел и презирал. И западные болтуны-соблазнитель не могли на него подействовать. Именно этим и определялась непримиримая позиция Александра Невского во взаимоотношениях с Западом.

Сложнее было с Востоком. Империя Чингизидов была невероятно сильна. Попытки говорить с ними с позиции силы были просто опасны. Напомню: восстания, поднятые братом Александра Андреем, привели

лишь к тому, что после жуткого Батыева нашествия Русь в 1252 году перенесла еще одно нашествие татаро-монголов – Неврюеву рать. Великому Александру удалось подружиться с чингизидами, договориться о том, что русские не будут нести «налог крови», то есть не будут поставлять в татарские войска своих людей, участвовать в их походах. Затем Александру удалось добиться и того, что налоги будут собирать не татарские баскаки, а сами князья, и при этом ему удавалось каждый раз договариваться о снижении ставок налога. Все это позволяло Руси ожить и начать строить новую жизнь и при татарах. При Александре Невском больше татарских нашествий на Русь не было. А вот потом, к сожалению, была еще и Дюденева рать в 1293 году, еще одно нашествие, когда Невского не стало.

Исключительно тяжелое бремя власти Александр в это время нес с честью, не обрушиваясь с репрессиями на соплеменников. Александра Ярославича никто не может обвинять в плохом отношении к своему народу, к соотечественникам. Тяжелейшая ноша и сгубила нашего героя. Возвращаясь из Каракорума, из ханской ставки, Александр заболел. Заболел он в Нижнем Новгороде и слег. Его удалось чуть подлечить, и он отправился дальше. Однако в Городце в монастыре он слег окончательно и умер. Было ли это последствием отравления или результатом болезни, сегодня не знает никто. Митрополит Кирилл вышел к людям и сказал: «Закатилось солнце земли Русской!» Померкло солнце, но и взошло, и с тех пор светит из тьмы веков для всей России. И не затмят его жиденькие облачка нападок нынешних смердяковых от истории.

Вехи памяти

Маргарита СМОРОДИНСКАЯ

Родилась в Подмосковье. Имеет два высших образования: по филологии и психологии. Автор книги «Маяковский и Брик. История великой любви в письмах», вышедшей в 2014 году в издательстве «Алгоритм», ряда публикаций в различных журналах и сборниках. Живет в Москве.

БУНИН И СОВРЕМЕННОКИ

Как у многих творческих личностей, характер у Бунина был далеко не простым, тем не менее современники воспринимали его по-разному: одни представляли его лёгким остроумным собеседником, которого тем не менее нельзя было назвать открытым человеком, другие писали, что в творческой среде он воспринимался как литератор резкий, неуживчивый и неучтивый. Многие называли его высокомерным снобом, эгоистом и циником.

Иван Алексеевич помогал тем, кто нуждался в поддержке, но при этом любил, чтобы ученики сопровождали его на мероприятиях, – такая публичная демонстрация «свиты» порой раздражала его коллег, называвших последователей писателя «бунинским крепостным балетом».

Бунин общался со многими литераторами, но стоит отметить его особые отношения с Чеховым, которого он наравне с Толстым ставил выше всех в русской литературе, Горьким, Набоковым и Катаевым.

С Горьким Бунин познакомился в Ялте в 1899 году. Вот как описывал сам Бунин это знакомство:

Приезжаю в Ялту, – иду как-то по набережной и вижу: навстречу идет с кем-то Чехов, закрывается газетой, не то от солнца, не то от этого кого-то, идущего рядом с ним, что-то басом гудящего и все время высоко взмахивающего руками из своей крылатки. Здравуюсь с Чеховым, он говорит: «Познакомьтесь, Горький». Знакомлюсь, гляжу и убеждаюсь, что в Полтаве описывали его отчасти правильно: и крылатка, и вот этакая шляпа, и дубинка. Под крылаткой желтая шелковая рубаша, подпоясанная длинным и толстым шелковым жгутом кремового цвета, вышитая разноцветными шелками по подолу и вороту. Только не детина и не ражий, а просто высокий и несколько сутулый, рыжий парень с зеленоватыми, быстрыми и уклончивыми глазками, с утиным носом в веснушках, с широкими ноздрями и желтыми усиками, которые он, покашливая, все поглаживает большими пальцами: немножко поплюет на них и погладит. Пошли дальше, он закурил, крепко затянулся и тотчас же опять загудел и стал взмахивать руками. Быстро выкурив папиросу, пустил

в её мундштук слюны, чтобы загасить окурок, бросил его и продолжал говорить, изредка быстро взглядывая на Чехова, стараясь уловить его впечатление. Говорил он громко, якобы от всей души, с жаром и все образами и все с героическими восклицаниями, нарочито грубоватыми, первобытными. Это был бесконечно длинный и бесконечно скучный рассказ о каких-то волжских богачах из купцов и мужиков, – скучный прежде всего по своему однообразию гиперболичности, – все эти богачи были совершенно былинные исполины, – а кроме того, и по неумеренности образности и пафоса. Чехов почти не слушал. Но Горький всё говорил и говорил...

Согласно мемуарам Бунина, Горький, настроенный на сентиментальный лад, при первой же встрече произнёс: «Вы же последний писатель от дворянства, той культуры, которая дала миру Пушкина и Толстого». Через несколько дней Иван Алексеевич отправил Горькому свою книгу «Под открытым небом», после чего между писателями началась переписка, продолжавшаяся около восемнадцати лет.

Горький как истинный ценитель литературы и коллекционер талантов восторгался стихами и особенно прозой Бунина. Например, прочитав рассказ «Антоновские яблоки», Горький написал: «Это – хорошо. Тут Иван Бунин, как молодой бог, спел». Чувствуя растущую симпатию к Алексею Максимовичу, Бунин посвятил ему свою поэму «Листопад». Горький, в свою очередь, пригласил молодого литератора к сотрудничеству в журнале «Жизнь»; затем возглавляемое им издательство «Знание» приступило к выпуску собрания сочинений Бунина. Начиная с 1902 года, в газетных новостях имени Горького и Бунина нередко стояли рядом: писатели считались представителями одной и той же литературной группы; Бунин посещал премьеры спектаклей, поставленных по пьесам Горького.

Несмотря на странное сближение этих двух писателей, они были разными буквально во всём. Вот что писал М. М. Рощин в книге «Иван Бунин»:

Бунин – всегда эстет, аристократ, дворянин, не скрывавший, а подчеркивавший принадлежность к своему классу, древнему роду. Он чуть свысока и даже почти брезгливо говорил о мнимо-простонародном происхождении и корнях Горького, а тот восхищался его дворянством, повторял, что Бунин – последний представитель дворянской литературы, давшей всех «главных», от Пушкина до Толстого. Горький носил свою рабочую блузу с кожаным ремешком, грубые сапоги, заправленные в них штаны, широкую шляпу, пускал слюну в мундштук, гася папиросу, – этот наряд переняли у него Скиталец и Андреев, и однажды, в фойе Художественного театра, встретив всех троих, так одинаково одетых, Бунин не удержался пошутить: «Вы что, охотники?..»

Бунин любил одеваться наимодно, наикрасиво, – всегда твердые воротнички, галстук лучшего качества. Любил носить белое, шляпы, канотье, красивые кепи. При этом Бунин всегда был беден, а под старость просто нищ, еле сводя концы с концами, а «пролетарский» писатель, издававшийся по всему миру, а в советское время имевший необыкновенные тиражи, жил постоянно богато и благополучно.

Вот что писал о Горьком Бунин:

Я всегда дивился – как это его на все хватает: изо дня в день на людях, – то у него сборище, то он на каком-нибудь сборище, – говорит порой не умолкая, целыми часами, пьёт сколько угодно, папирос выкуривает по сто штук в сутки, спит не больше пяти, шести часов – и пишет своим круглым, крепким почерком роман за романом, пьесу за пьесой! Очень было распространено убеждение, что он пишет совершенно безграмотно и что его рукописи кто-то поправляет. Но писал он со-

вершено правильно (и вообще с необыкновенной литературной опытностью, с которой и начал писать). А сколько он читал, вечный полуинтеллигент, начетчик!

В 1909 году Бунин и Муромцева (жена Бунина) отправились путешествовать по Италии. На острове Капри чета навестила проживавшего там Горького, который, рассказывая об этой встрече в письме, адресованном Екатерине Пешковой, заметил, что Иван Алексеевич по-прежнему деятелен и радуется его «серьёзным своим отношением к литературе и слову». Муромцева, вспоминая о долгих диалогах на вилле Спинолла, отмечала, что в ту пору Алексей Максимович и её муж «на многое смотрели поразному, но всё же главное они любили по-настоящему».

Дружба писателей длилась более десяти лет, за время которых было сказано и написано много хороших слов в адрес друг друга. Бунин писал Горькому: «в человеческих отношениях есть минуты, которые не забываются». И ещё: «Вы истинно один из тех очень немногих, о которых думает душа моя, когда я пишу, и поддержкой которых она так дорожит». Горький писал Бунину: «Я люблю читать Ваши вещи, думать и говорить о Вас. В моей суетной и очень тяжелой жизни Вы – может быть, и даже наверное – самое лучшее, самое значительное», а ещё: «Вот мне бы хоть один такой рассказец написать, чтобы всю Русь задеть за сердце. Какой счастливец стал бы я. Один бы такой рассказец на радость себе и на вечный помин души».

Последняя встреча Бунина и Горького состоялась в апреле 1917 года в Петрограде.

В начале апреля 1917 года мы расстались с ним навсегда. В день моего отъезда из Петербурга он устроил огромное собрание в Михайловском театре, на котором он выступал с «культурным» призывом о какой-то «Академии свободных наук», потащил и меня с Шаляпиным туда. Выйдя на сцену, сказал: «Товарищи, среди нас такие-то...» Собрание очень бурно нас приветствовало, но оно было уже такого состава, что это не доставило мне большого удовольствия. Потом мы с ним, Шаляпиным и А. Н. Бенуа отправились в ресторан «Медведь». Было ведерко с зернистой икрой, было много шампанского... Когда я уходил, он вышел за мной в коридор, много раз крепко обнял меня, крепко поцеловал...

Вскоре после захвата власти большевиками он приехал в Москву, остановился у своей жены Екатерины Павловны, и она сказала мне по телефону: «Алексей Максимович хочет поговорить с вами». Я ответил, что говорить нам теперь не о чем, что я считаю наши отношения с ним навсегда конченными.

С той поры, как Горький поддержал революцию, он стал для Бунина заочным оппонентом: в публицистике 1920-х годов Бунин упоминал о Горьком в основном как о «пропагандисте советской власти». Горький также дистанционно полемизировал с прежним другом: в письме, отправленном своему секретарю Петру Крючкову, он заметил, что Бунин «дико озверел». В другом письме, адресованном Константину Федину, Горький дал весьма жёсткие оценки литераторам-эмигрантам: «Б. Зайцев бездарно пишет жития святых. Шмелёв – нечто невыносимостиерическое. Куприн не пишет – пьёт. Бунин переписывает “Крейцерову сонату” под титулом “Митина любовь”. Алданов тоже списывает Л. Толстого».

Очень сложными были отношения Бунина и Набокова, которые начались с восхищения и любви молодого начинающего писателя Сирина к уже состоявшемуся Бунину и закончились взаимной неприязнью двух писателей, борющихся за первенство в литературе.

В 1921 году состоялось заочное знакомство Бунина и Набокова, когда Набоков написал Бунину письмо с просьбой оценить его стихи. Вот это письмо:

Многоуважаемый Иван Алексеевич,
посылаю вам несколько – наудачу выбранных – стихотворений и пользуюсь случаем сказать вам, как ободрило меня то, что писали вы о моем робком творчестве, – тем более, что хорошие слова эти исходят именно от вас – единственного писателя, который в наш кошунственный и косноязычный век спокойно служит прекрасному, чуя прекрасное во всем, – в проявлениях духа человеческого и в узоре лиловой тени на мокром песке, – причем несравненны чистота, глубина, яркость каждой строки его, каждого стиха.

Простите, что так неладно выражаюсь: это так же трудно, как признание в любви – давнишней любви. Словом, хочу я вам сказать, как бесконечно утешает меня сознание, что есть к кому обратиться в эти дни великой сироты.

Многоуважаемый Иван Алексеевич,
глубоко уважающий вас
В. Набоков.

Бунин в ответ отправил Набокову не только тёплое, ободряющее письмо, но и свою книгу «Господин из Сан-Франциско».

В 1926 году вышел первый роман Набокова «Машенька», который исследователи считают «самым бунинским» произведением Набокова. На подаренном Бунину экземпляре автор написал:

Глубокоуважаемый и дорогой Иван Алексеевич, мне и радостно и страшно посылать вам мою первую книгу. Не судите меня слишком строго, прошу вас.

Всей душой ваш
В. Набоков

В этом экземпляре «Машеньки» сохранилось одно замечание: «Ах, как плохо!» Замечание написано рукой Бунина в 8-й главе романа на полях возле следующего абзаца: «Это было не просто воспоминание, а жизнь, гораздо действительнее, гораздо “интенсивнее” – как пишут в газетах, – чем жизнь его берлинской тени. Это был удивительный роман, развивающийся с подлинной, нежной осторожностью».

Интерес Бунина к Набокову возрастал по мере появления новых набоковских публикаций. В 1920-х годах произведения писателей часто публиковались одновременно в одних тех же изданиях.

Письма Набокова к Бунину периода 1929–1930-х годов полны нежности и почтения.

В декабре 1929 года Набоков отправил Бунину экземпляр книги «Возвращение Чорба» с дарственной надписью: «Ивану Бунину. Великому мастеру от прилежного ученика. В. Набоков». В ответ на это в феврале 1930 года Бунин прислал Набокову экземпляр только что изданной книги «Жизнь Арсеньева: Истоки дней» с надписью: «В. Сиринову. Дорогой Владимир Владимирович, от всей души и с большой любовью к Вашему прекрасному таланту».

В марте 1930 года Фондаминский обратился к Бунину с просьбой написать статью о Набокове для «Современных записок». Бунин отказался.

Осенью 1930 года писатели обменялись фотографиями.

Как отмечают исследователи творчества Бунина, первые нотки раздражения в доме Бунина по отношению к Набокову зазвучали в начале

1930-х годов, как раз во время первого приезда Набокова в Париж и взлёта его популярности. Что это? Зависть? Бунин почувствовал в Набокове конкурента? В любом случае открытой неприязни друг к другу они пока ещё не показывали.

Набоков весьма позитивно отреагировал и на присуждение Бунину Нобелевской премии – в телеграмме, присланной в Грас, было написано: «Я так счастлив, что вы её получили!» Очень жаль, что сам Набоков Нобелевской премии так и не дождался.

В окружении Бунина всё чаще стали звучать слова о том, что Набоков – его единственный соперник. Конечно, это раздражало Бунина и вызывало в нём ревность. Всё эмигрантское сообщество пыталось определить, кому из писателей принадлежит главное место на литературном Олимпе. Например, во второй половине 1930-х годов Марк Алданов призывал Бунина признать, что первенство перешло к Набокову.

В конце 1933 года состоялась первая встреча двух писателей – Бунин прибыл в Берлин на мероприятие, устроенное в его честь публицистом Иосифом Гессеном, и во время торжеств познакомился с Набоковым лично.

Встреча с кумиром сильно разочаровала Набокова. Вот что он писал об этом:

Когда я с ним познакомился, его болезненно занимало собственное старение. С первых же сказанных нами друг другу слов он с удовольствием отметил, что держится прямее меня, хотя на тридцать лет старше. Он наслаждался только что полученной Нобелевской премией и, помнится, пригласил меня в какой-то дорогой и модный парижский ресторан для душевной беседы. К сожалению, я не терплю ресторанов и кафэ, особенно парижских – толпы спешащих лакеев, цыган, вермутных смесей, кофе, закусок, слоняющихся от стола к столу музыкантов и тому подобного... Душевные разговоры, исповеди на достоевский манер тоже не по моей части. Бунин, подвижный пожилой господин с богатым и нецеломудренным словарем, был озадачен моим равнодушием к рябчику, которого я достаточно напробовался в детстве, и раздражен моим отказом разговаривать на эсхатологические темы. К концу обеда нам уже было невыносимо скучно друг с другом. «Вы умрётё в страшных мучениях и в совершенном одиночестве», – горько отметил Бунин, когда мы направились к вешалкам... Я хотел помочь Бунину надеть его реглан, но он остановил меня гордым движением ладони. Продолжая учтиво бороться – он теперь старался помочь мне, – мы выплыли в бледную пасмурность парижского зимнего дня. Мой спутник собрался было застегнуть воротник, как вдруг приятное лицо его перекосилось выражением недоумения и досады. С опаской распахнув пальто, он принялся рыться где-то подмышкой. Я пришел ему на помощь, и общими усилиями мы вытащили мой длинный шарф, который девица ошибкой засунула в рукав его пальто. Шарф выходил очень постепенно, это было какое-то разматывание мумии, и мы тихо вращались друг вокруг друга, к скабрзному веселью трёх панельных шлюх. Закончив эту операцию, мы молча продолжали путь до угла, где обменялись рукопожатиями и расстались.

В 13-й главе «Других берегов» об этой же встрече Набоков рассказывает несколько иначе:

Когда я с ним познакомился в эмиграции, он только что получил Нобелевскую премию. Его болезненно занимали текучесть времени, старость, смерть, – и он с удовольствием отметил, что держится прямее меня, хотя на тридцать лет старше. Помнится, он пригласил меня в какой-то – вероятно дорогой и хороший – ресторан

для задушевной беседы. К сожалению, я не терплю ресторанов, водочки, закусок, музычки – и задушевных бесед. Бунин был озадачен моим равнодушием к рябчику и раздражён моим отказом распахнуть душу. К концу обеда нам уже было невыносимо скучно друг с другом. «Вы умрёте в страшных мучениях и совершенном одиночестве», – сказал он мне. Худенькая девушка в чёрном, найдя наши тяжелые пальто, пала, с ними в объятьях, на низкий прилавок. Я хотел помочь стройному старику надеть пальто, но он остановил меня движением ладони. Продолжая учтиво бороться – он <Бунин> теперь старался помочь мне, – мы медленно выплыли в бледную пасмурность зимнего дня. Мой спутник собрался было застегнуть воротник, как вдруг его лицо перекошилось выражением недоумения и досады. Общими усилиями мы вытащили мой длинный шерстяной шарф, который девица засунула в рукав его пальто. Шарф выходил очень постепенно, это было какое-то разматывание мумии, и мы тихо вращались друг вокруг друга. Закончив эту египетскую операцию, мы молча продолжали путь до угла, где простились. В дальнейшем мы встречались на людях довольно часто, и почему-то завелся между нами какой-то удручающе-шутливый тон.

В письме жене, отправленном 30 января 1936 года, Набоков описал встречу с Буниным в следующих словах:

С Gare du Nord я поехал на av de Vesailles посредством метро, так что прибыл с моими постепенно каменеющими и мрачневшими чемоданами в полном изнеможении. Здесь мне дали комнату в прекрасной квартире. Только я начал раскладывать – было около половины восьмого – явился в нос говорящий Бунин и несмотря на ужасное моё сопротивление «потащил обедать» к Корнилову (ресторан такой). Сначала у нас совершенно не клеился разговор – кажется, главным образом из-за меня, – я был устал и зол, – меня раздражало всё, – и его манера заказывать рябчика, и каждая интонация, и похабные шуточки, и нарочитое подобострастие лакеев, – так что он потом Алданову жаловался, что я всё время думал о другом. Я так сердился (что с ним поехал обедать) как не сердился давно, но к концу и потом, когда вышли на улицу, вдруг там и сям стали вспыхивать искры взаимности, и когда пришли в кафе Мюра, где нас ждал толстый Алданов, было совсем весело. Там же я мельком повидался с Ходасевичем, очень пожелтевшим; Бунин его ненавидит. Алданов сказал, что всё время работают два кинематографических аппарата. Очень мне хорошо рассказывал Ив. Ал., как он был женат в Одессе, как сын у него шестилетний умер. Утверждает что облик – переносный – «Мити Шаховского» (отца Иоанна) дал ему толчок для написания «Митиной любви». Утверждает, что – ну, впрочем, это лучше расскажу устно. После кафе мы втроем ужинали у Алданова, так что я лег поздно и спал неважно – из-за вина.

По словам Максима Д. Шраера, эта встреча продемонстрировала, что творческие диалоги между литераторами закончились, а по-человечески они полностью отделились друг от друга.

30 марта 1937 года Бунин и Набоков приняли участие в чествовании Тэффи. Три дня спустя Набоков известил свою жену:

На днях приятенькая была вечеринка, нечего сказать: тра-ла-ла, Алданов во фраке, Бунин в мерзейшем смокинге Ильюша <Фондаминский> в таких узких штанах, что ноги как две черных колбасы, милая, старая Тэффи. Бунин все изображал мою «надменность» и потом прошипел: «вы умрете один и в страшных мученьях».

В одном из писем о Набоков уже без всякого пиетета называл своего учителя «Лексеич Нобелевский».

Через двенадцать лет после первого восторженного письма Ивану Алексеевичу, Набоков написал жене, что Бунин «похож на старую, тощую черепаху, поводящую тусклоглазой древней головой».

Молодой писатель открыто демонстрировал своё превосходство над уходящим в прошлое русским писателем и общался с ним снисходительно, а иногда брезгливо-пренебрежительно.

В письме Алданову от 10 июня 1951 года Бунин негодовал по поводу того, как у Набокова (в «Убедительном доказательстве») преподносятся их парижские встречи:

Вчера пришел к нам Михайлов (П. А. Михайлов, близкий знакомый Бунина, профессор юриспруденции), принес развратную книжку Набокова с царской короной на обложке над его фамилией, в которой есть дикая брехня про меня – будто я затащил его в какой-то ресторан, чтобы поговорить с ним «по душам», – очень на меня это похоже! Шут гороховый, которым Вы меня когда-то пугали, что он забил меня и что я ему ужасно завидую.

Еще через три дня Бунин записал в дневнике (14 июня 1951 года):

В. В. Набоков-Сирин написал по-английски и издал книгу, на обложке которой, над его фамилией, почему-то напечатана царская корона. В книге есть беглые заметки о писателях-эмигрантах, которых он встречал в Париже в тридцатых годах, есть страничка и обо мне – дикая и глупая ложь, будто я как-то затащил <его> в какой-то дорогой русский ресторан (с цыганами), чтобы посидеть, попить и поговорить с ним, Набоковым, «по душам», как любят это все русские, а он терпеть не может. Очень на меня похоже! И никогда я не был с ним ни в одном ресторане.

В 1951 году в Нью-Йорке готовилось мероприятие, посвящённое восьмидесятилетию Бунина. Марк Алданов предложил Набокову прочитать на этом вечере какое-нибудь произведение юбиляра. Набоков ответил письменным отказом:

Как Вы знаете, я не большой поклонник И. А. Очень ценю его стихи, но проза... или воспоминания в аллее... Вы говорите, что ему 80 лет, что он болен и беден. Вы гораздо добрее и снисходительнее меня – но войдите в моё положение: как это мне говорить перед кучкой более или менее общих знакомых юбилейное, то есть сплошь золотое, слово о человеке, который по всему своему складу мне чужд, и о прозаике, которого я ставлю ниже Тургенева?

Знакомство Бунина с Чеховым, так же как и с Набоковым, началось заочно, с писем. В январе 1891 года Бунин написал Чехову с просьбой прочитать его произведения и высказать о них своё мнение. Чехов любезно согласился: «Очень рад служить».

Первая встреча Бунина с Чеховым состоялась 12 декабря 1895 года в Москве. Следующая встреча произошла через четыре года в Крыму. Вот что писал Чехов: «Еду в Ялту, проветриться дней на пять, увидаться с Миролубовым, Чеховым, Горьким, которые в Крыму».

Бунин мечтал встретиться с Чеховым, но у него не хватало решительности заявиться к нему с визитом, поэтому он, остановившись в гостинице, ежедневно прогуливался по набережной в надежде встретиться с ним. Однажды так и произошло. «...Вечером встретил его на набережной. – Почему вы не заходите ко мне? – сказал он. – Непременно

приходите завтра». С тех самых пор Чехов всегда приглашал к себе Бунина, как только тот появлялся в Ялте.

Бунин охотно общался с приезжавшими в Ялту литераторами и актерами, иногда проводил время с Горьким, но всё же выделял из всех Чехова. При том большом уважении, какое он питал к Чехову, он боялся быть навязчивым и оставался у Чеховых только по их настойчивым просьбам. 28 мая 1900 года Бунин писал Н. Д. Телешову из деревни Огневки Орловской губернии о своем пребывании в апреле и мае в Крыму, куда приезжал Художественный театр и где в это время находились Горький и Станюкович: «В Ялте я закружился. Я перезнакомился со всеми актерами и некоторые из них оказались действительно славными людьми. С Горьким очень часто ездили то туда, то сюда. Был несколько раз у Чехова по его настойчивой просьбе – рано по утрам и думаю, что между нами установились бы очень хорошие отношения».

Как-то Бунин остановился в гостинице «Россия». Был поздний вечер. Вдруг зазвонил телефон. Бунин подошёл к трубке: «– Милсдарь, возьмите хорошего извозчика и заезжайте за мной. Поедемте кататься. – Кататься? Ночью?.. Что с вами, Антон Павлович? – Влюблен. – Это хорошо, но уже десятый час... И потом – вы можете простудиться... – Молодой человек, не рассуждайте-с! ...Ночь была теплая, тихая, с ясным месяцем, с легкими белыми облаками... Экипаж катился по белому шоссе, мы молчали, глядя на... блестящую равнину моря».

Довольно быстро Иван Алексеевич стал своим человеком в доме Чехова – он останавливался на его даче в Аутке даже в те дни, когда Антон Павлович был в отъезде.

Чехов придумал для Бунина прозвище Букишон, любил он его также наделять самыми невероятными титулами и званиями, например «господин маркиз Букишон». Себя же Чехов называл «Аутским помещиком».

В мемуарах Бунин признавался, что ни с кем из коллег-литераторов у него не было столь тёплых отношений, как с Чеховым.

Бунину нравилась атмосфера, царившая на даче у Чехова, там он испытывал умиротворение и вдохновение и написал многие свои стихотворения и рассказы.

Дни мои протекают, – писал он А. М. Федорову, – в каком-то поэтическом опьянении. Там, на горах, многое творится, – и снег, и бури, и туманы, и мрачные тучи, а у нас большей частью солнце, бирюзовое, радостное небо и залив моря вдали. Если бы ты знал, какой у меня вид из окон! Мы живем почти у самого Учан-Су. А в кабинете Антона Павловича огромное полукруглое окно тройное и верх – из цветных стекол. Как тут в солнечные дни, можешь вообразить! Антон Павлович здоров и работает. Семья его очаровательная. Сегодня проводил в Москву своего большого друга, – его сестру Марью Павловну. Редкая девушка! В городе бываю почти каждый день, – тут у меня много знакомых, много пишу стихов, много-много начинаю рассказов, читаю ... обычно. И мечтаю.

В доме Чехова Бунин, по его признанию, стал своим человеком. «У Чеховых я как родной», – писал он Ю. А. Бунину. Самому Антону Павловичу сообщал 30 января 1901 года: «Не считите за бесцеремонность моё пребывание у вас до сих пор, – я хотел переехать в город, но Евгения Яковлевна обижается». После отъезда он писал 22 февраля Н. Д. Телешову с парохода «Батум»: «Плыву в Одессу. Задержал в Ялте приехавший Чехов. Провёл с ним неделю изумительно. Если бы ты знал,

что это за человек!» Впоследствии он вспоминал: «У меня ни с кем из писателей не было таких отношений, как с Чеховым, За все время ни разу ни малейшей неприязни. Он был неизменно со мной сдержанно нежен, приветлив, заботился как старший»

По словам Николая Телешова, навестившего Чехова перед его отъездом в Баденвайлер, Антон Павлович уже знал о своей смертельной болезни. Прощаясь, он попросил поклониться участникам литературного кружка «Среда», а также передать Бунину, чтобы тот «писал и писал»: «Из него большой писатель выйдет. Так и скажите ему от меня. Не забудьте».

Чехов хлопотал о присуждении Бунину Пушкинской премии Академии наук за стихи.

Смерть Чехова потрясла Бунина. О его кончине он узнал в начале июля 1904 года в Лукьянове, Тульской губернии, Ефремовского уезда, куда приезжал на почту: «...взял там газеты и письма и завернул к кузнецу перековать лошади ногу. Я развернул газету, сидя на пороге кузнецовой избы, – и вдруг точно ледяная бритва полоснула по сердцу». Вернувшись поздно, по вечерней заре, домой, он не мог успокоиться: ездил среди хлебов и плакал.

Через несколько дней он получил письмо от Горького – Алексей Максимович сообщил, что литераторы начинают подготовку к выпуску воспоминаний о Чехове, и попросил Бунина принять участие в этой работе. В ноябре, прочитав присланную Иваном Алексеевичем рукопись, Горький отметил, что его очерк об Антоне Павловиче написан очень бережно.

В 1908 г., уже после смерти писателя, Бунин посвящает ему стихотворение «Художник».

Хрустя по серой гальке, он прошел
Покатый сад, взглянул по водоемам,
Сел на скамью... За новым белым домом
Хребет Яйлы и близок и тяжел.

Томясь от зноя, грифельный журавль
Стоит в кусте. Опущена косица,
Нога – как трость... Он говорит: «Что, птица?
Недурно бы на Волгу, в Ярославль!»

Он, улыбаясь, думает о том,
Как будут выносить его – как сизы
На жарком солнце траурные ризы,
Как желт огонь, как бел на синем дом.

«С крыльца с кадиллом сходит толстый поп,
Выводит хор... Журавль, пугаясь хора,
Защелкает, взовьется от забора –
И ну плясать и стучать клювом в гроб!»

В груди першит. С шоссе несется пыль,
Горячая, особенно сухая.
Он снял пенсне и думает, перхая:
«Да-с, водевиль... Все прочее есть гиль».

Отечественные литературоведы часто сравнивают творчество Бунина и Чехова, находя у них огромное сходство. Сами писатели по вопросу творческого сходства имели однозначно отрицательное мнение.

В ответ на то, что критики находят в прозе Бунина «чеховские нотки», Чехов сказал следующее: «Ах, как это глупо! Ах, как глупо! И меня допекали “тургеневскими нотами”. Мы похожи с вами, как борзая на гончую». Сам Бунин по этому поводу в автобиографических заметках записал: «Решительно ничего чеховского у меня никогда не было».

Очень странными были отношения между Буниным и Катаевым. Катаев с пиететом относился к Бунину, считая его своим литературным учителем и ставя выше всех среди остальных современников. К Катаеву же современники относились негативно, считая его циником и даже подлецом. Например, Лиля Брик упрашивала Маяковского отказаться от общения с Катаевым. «Володик, – писала она ему в Ялту, – очень прошу тебя не встречаться с Катаевым. У меня есть на это серьёзные причины».

Семнадцатилетний Катаев, впервые услышавший о стихах Бунина от поэта Александра Фёдорова, в 1914 году сам пришёл к Бунину, находившемуся в ту пору в Одессе. Впоследствии, рассказывая о знакомстве с писателем в книге «Трава забвения», Катаев упомянул, что перед ним предстал «сорокалетний господин, сухой, желчный, щеголеватый», облачённый в брюки, сшитые у хорошего портного, и английские жёлтые полуботинки. Галина Кузнецова в своих дневниковых записях отметила, что Бунин также хорошо помнил момент появления в его доме юноши, который отдал ему тетрадку со стихами и прямо сказал: «Пишу... подражаю вам».

Аудиенция была короткой, но когда через две недели Катаев пришёл к Бунину за ответом, в его жизни произошло «первое чудо»: Бунин предложил ему найти время для дополнительной беседы. С этого момента началось их общение, продолжавшееся – с перерывами – до 1920 года. В 1915 году Катаев посвятил Бунину стихотворение «А дни текут унылой чередой». Через год газета «Южная мысль» опубликовала его небольшое произведение, в котором были строки: «А дома – чай и добровольный плен. / Сонет, набросанный в тетрадке накануне, / Так, начерно... Задумчивый Верлен, / Певучий Блок да одинокий Бунин».

Бунин так или иначе появляется во многих катаевских рассказах. Например, в рассказе «Музыка» девочка напугана нянькой, которая рассказывает про деда, сажающего детей в мешок. А вот и дед: «Это Иван Алексеевич... Гордый горбатый нос и внимательно прищуренные глаза...» Несмотря на едва уловимую мягкую иронию, рассказчик с почтением относится к «Ивану Алексеевичу». В рассказе «В воскресенье» 1917 года к Бунину ещё больше почтения, там он академик «сухой, с орлиным носом, как бы заплаканными зоркими глазами и маленькой бородкой», с «длинной породистой рукой». В 1920-м, после победы большевиков, Учитель изображён карикатурно: «Он был жёлт, зол и морщинист. Худая его шея, вылезавшая из цветной манишки, туго пружинилась. Опухшие, словно заплаканные, глаза смотрели пронзительно и свирепо».

В 1967 году Катаев рисует Бунина, если и не без фамильярности, но подчёркивая ученическое родство и даже находя нечто общее в их внешности:

Однажды я попал в поле его дьявольского зрения. Он вдруг посмотрел на меня, нарисовал указательным пальцем в воздухе на уровне моей головы какие-то замысловатые знаки, затем сказал:

– Вера, обрати внимание: у него совершенно волчьи уши. И вообще, милсдарь, – обратился он ко мне строго, – в вас есть нечто весьма волчье.

...А у самого Бунина тоже были волчьи уши, что я заметил ещё раньше!

В конце жизни Катаев сказал: «Бунин так действовал на меня, что я и внешне стал похож на него: как он, горбился».

Когда в 1918 году Бунин и Муромцева вместе с другими беженцами добрались до Одессы, встречи Бунина и Катаева стали практически ежедневными: Катаев приносил писателю новые стихи, и тот много работал над его рукописями, делал пометки, вносил правки, давал советы, в том числе по дополнительному чтению. «Посвящение в ученики», по словам Катаева, произошло лишь после того, как он услышал от Бунина первую похвалу.

Катаев стал участником одесского литературного кружка «Среда», на заседаниях которого неизменно присутствовал Иван Алексеевич. Разговоры там велись весьма вольные, и Бунин фиксировал их в дневнике. По мнению писателя Сергея Шаргунова, сравнивавшего бунинские ежедневные записи с тем вариантом, что был подготовлен для книги «Окаянные дни», Иван Алексеевич сознательно изъясил из окончательной редакции некоторые весьма острые катаевские реплики – писатель не хотел «подставлять “литературного крестника”, оставшегося в советской России».

Вот что писала в то время Муромцева, жена Бунина:

Пришёл Катаев. Я лежала на балконе в кресле. Ян вышел, поздоровался, пригласил Катаева сесть со словами: «Секретов нет, можем здесь говорить». Катаев согласился. Они сели. Я лежала затылком к ним и слушала. После нескольких незначащих фраз Катаев спросил:

– Вы прочли мои рассказы?

– Да, я прочёл только два, «А квадрат плюс Б квадрат» и «Земляк», – сказал с улыбкой Ян, – так как подумал: зачем мне глаза ломать? Шрифт сбитый, да и то, что на машинке переписано, тоже трудно читать, и я понял из этих вещей, что у вас несомненный талант, – это я говорю очень редко и тем приятнее мне было увидеть настоящее. Боюсь только, как бы вы не разболтались... Много вы читаете?

– Нет, я читаю только избранный круг, только то, что нравится.

– Ну, это тоже нехорошо. Нужно читать больше, не только беллетристику, но и путешествия, исторические книги и по естественной истории. Возьмите Брэма, как он может обогатить словарь. Какое описание окрасок птиц! Вы и представить не можете.

– Да, это верно, – соглашается Катаев. – Но, по правде сказать, мне скучно читать не беллетристические книги.

– Я понимаю, что скучно. Но это необходимо, нужно заставлять себя. А то ведь как бывает: прочтут классиков, а затем начинают читать современных писателей, друг друга, и этим заканчивается образование. Читайте зарубежных писателей. Одолейте Гёте.

Я искаса поглядываю на Катаева, на его тёмное, немного угрюмое лицо, на его чёрные, густые волосы над крепким невысоким лбом, слушаю его отрывистую речь с небольшим южным акцентом. Он любит больше всего Толстого, о нём он говорит с восторгом, затем Чехова, Мопассана, Флобера, Додэ, но Толстой и Пушкин – выше всех, недосыгаемы. Уже три года он пишет роман, но написал только девяносто пять страниц. Хочет дать прочесть Яну первую часть его.

Воспоминания Муромцевой совпадают с воспоминаниями Катаева: «Он говорил, что каждый настоящий поэт должен хорошо знать историю мировой цивилизации. Быт, нравы, природу разных стран, их религии, верования, народные песни, сказания, саги. В то время это меня – увы! – ни в малейшей степени не волновало, хотя я и сделал вид,

что восхищён мудрым советом, и с ложным жаром стал записывать названия книг, которые он мне диктовал».

Бунин, покидая Одессу на пароходе «Спарта», перед отъездом не смог проститься с учеником: зимой 1920 года тот заболел тифом и попал в госпиталь, а позже – как бывший царский офицер – в тюрьму. Больше они не встречались. При этом Иван Алексеевич следил за творчеством Катаева – по словам Муромцевой, получив книгу «Белеет парус одинокий», писатель читал её вслух, с комментариями: «Ну кто ещё так может?»

Пользуется большой известностью цитата из «Окаянных дней» Бунина: «Был В. Катаев (молодой писатель). Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил “За сто тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки”». Но у этой цитаты есть и продолжение: «Вышел с Катаевым, чтобы пройтись, и вдруг на минуту всем существом почувствовал очарование весны, чего в нынешнем году (в первый раз в жизни) не чувствовал совсем. Почувствовал, кроме того, какое-то внезапное расширение зрения, – и телесного, и духовного, – необыкновенную силу и ясность его».

По сути, эти слова повторяют слова Катаева из его рассказа «Опыт Кранца», где кокаинист Зосин рассуждает сам с собой: «На земле есть только одно настоящее, неоспоримое и истинное счастье – счастье вкусно и много есть, одеваться в лучший и дорогой костюм, обуваться в лучшую и самую дорогую обувь, иметь золотой портсигар, шёлковые носки и платки, бумажник красной кожи и столько денег, чтобы можно было исполнить все свои желания и иметь любовницей развратную и прекрасную женщину Клементьеву». А вот ещё оттуда же: «Деньги всегда нужно брать силой. Я его убью... У меня нет хорошего костюма, я не могу жить так, как хочу жить, я не могу иметь любовницей балерину Клементьеву потому, что у меня нет денег. Это правда. Это – настоящее. И я его убью... Пятьдесят тысяч... Я должен убить, иначе я ни на что не годен».

Бунин знал этот рассказ, так как за два месяца до той записи в «Окаянных днях» Муромцева писала: «На “Среде” Валя Катаев читал свой рассказ о Кранце, Яну второй раз пришлось его прослушать. Ян говорит, что рассказ немного переделан, но в некоторых местах он берёт ненужно торжественный тон. Ян боится, что у него способности механические. Народо было немного».

Катаев же в «Траве забвения» приводит такой диалог с Буниным, который случился сразу после прочтения рассказа:

– Скажите: неужели вы бы смогли – как ваш герой – убить человека для того, чтобы завладеть его бумажником?

– Я – нет. Но мой персонаж...

– Неправда! – резко сказал Бунин, почти крикнув: – Не сваливайте на свой персонаж! Каждый персонаж – это и есть сам писатель!

В 1958 году Катаев вместе с женой навестили Веру Николаевну в Париже. Муромцева рассказывала, что в восприятии её мужа Валентин Петрович навсегда остался юношей, поэтому Бунин никак не мог представить себе, что его ученик стал отцом: «Ивану Алексеевичу это казалось как-то невероятно: дети Вали Катаева!»

Вот что писал Бенедикт Сарнов: «На протяжении по крайней мере полувека Бунин был для Катаева не только Учителем, но и своего рода художественным кумиром, олицетворением некоего художественного идеала... “Писать хорошо” для Катаева – это всегда значило “писать, как Бунин”».

Бунин на протяжении всей жизни помогал публиковаться начинающим поэтам и писателям. Например, Брюсову. В апреле 1899 года Брюсов пишет Бунину: «...Радуюсь, что даёте приют моим гонимым стихам». Бунин даже как-то раз от Чехова получил выговор за то, что вынуждал его, Чехова, иметь дело со скорпионами и прочими гадами, с которыми он иметь дел не хочет.

Дружба связывала Бунина и Куприна. Они познакомились молодыми людьми, которые уже были известными писателями. В очерке «Куприн» Бунин писал, что их отношения были неровными: Куприн то был нежен с ним и любовно называл его Ричардом, Альбертом, Васей, то озлоблялся и выговаривал: «Ненавижу, как ты пишешь, у меня от твоей изобразительности в глазах рябит. Одно ценю, ты пишешь отличным языком, а кроме того, отлично верхом ездешь».

Бунин помог Куприну перебраться во Францию. Когда же в 1937 году Куприн вернулся в СССР, это вызвало большой резонанс в эмигрантской среде, мнения о его поступке разделились. Но Бунин отказался осуждать поступок «старого больного человека». В своих мемуарах он рассказывал о Куприне как о художнике, которому была свойственна «тёплая доброта ко всему живущему».

По рекомендации Бунина в 1923 году в Париж переехал также Борис Зайцев. На протяжении долгого времени Зайцев и Бунин общались очень плотно, считались литературными единомышленниками, вместе участвовали в деятельности французского Союза писателей. Когда из Стокгольма пришло известие о присуждении Ивану Алексеевичу Нобелевской премии, Зайцев одним из первых оповестил об этом общественность, передав срочную новость под заголовком «Бунин увенчан» в газету «Возрождение».

Серьёзная размолвка между литераторами произошла в 1947 году, когда Иван Алексеевич вышел из Союза писателей в знак протеста против исключения из него тех, кто в послевоенный период решил принять советское гражданство. Зайцев как председатель этой организации не одобрял поступка Бунина. Он пытался объясниться с ним письменно, однако диалоги привели к окончательному разрыву.

Тем не менее в своих воспоминаниях Борис Зайцев писал: «Всегда он мне “нравился”. С самых юных лет, когда я был начинающим писателем, а он уже известным, он мне именно нравился “бессмысленно” и бездумно: как нравится лицо, закат, запах леса. Кончая жизнь и о нём думая, нахожу, что отнесился к нему, собственно, как к явлению природы – стихии. В его облике, фигуре, движениях, манере говорить, неповторимой одарённости всегда было для меня некое обаяние, вне разумное».

Бунин ниспровергал классиков русской литературы. Ни для кого не секрет, что он не любил ни Гоголя, ни Достоевского.

Однако однажды он сказал Георгию Адамовичу с глазу на глаз:

– Всех этих его сумасшедших Кирилловых, Свидригайловых, Иванов Карамазовых, всяких там Лядащенко или Фердыщенко я органически не выношу. Пусть весь мир скажет мне, что это гениально, не выношу – и точка. И убежден, что я прав... Но кое-что у него удивительно. Этот нищий, промозглый, темный Петербург, дождь, слякоть, дырявые калоши, лестницы с кошками, этот голодный Раскольников, с горящими глазами и топором за пазухой поднимающийся к старухе-процентщице... это удивительно. Пушкинский Петербург – блестящий, парадный, «люблю тебя, Петра творенье», а он первый показал что-то совсем другое, изнанку пушкинского...

– А разве не Гоголь?

– Да, Гоголь, верно... Акакий Акакиевич и все в этом роде... верно! Но Гоголь – лубочный писатель. Великий, замечательный, необыкновенный, а все-таки лубочный.

«Это определение Гоголя как лубочного писателя, – пишет Адамович, – я слышал от Бунина несколько раз и несколько раз просил его объяснить, в чем он лубочность видит. Но ничего не добился.

– Ну, лубок... разве вы не знаете, что такое лубок? Вот и у Гоголя лубок».

Но классики классиками, а вот современникам от Бунина доставалось гораздо больше. Не любил Бунин и Блока. Но... Несмотря на то что о Блоке Бунин отзывался весьма нелестно и даже говорил, что тот «нестерпимо поэтичный поэт. Дурачит публику галиматъей», в 1916 году он писал, что Блок «очень, очень талантливый человек. Чрезвычайно талантлив и не по возрасту мудр».

Одним из любимых поэтов Бунина был Фет. И к Фету у Бунина были завышенные требования, ему хотелось подправить его стихи так, чтобы в них не осталось слабых, с его точки зрения, мест. Катаев в «Граве забвения» писал, что Бунин временами и произведения своего литературного бога Льва Толстого желал переписать.

Завышение планки по отношению к любимым поэтам очень хорошо характеризует записанное Буниным в дневнике о другом его любимом поэте, о Полонском: «...9/10 – скука, риторика... Зато 1/10 превосходно». А уж к нелюбимым авторам Бунин предельно категоричен. Как-то он записал, что достаточно двух слов, чтобы навсегда испортилось отношение к автору.

Наверное, единственный писатель, которого Бунин боготворил, – это Толстой. Вот что пишет об этом Борис Зайцев: «Бунин Толстого обожал. Ему нравилась даже форма лба его “Ты подумай, ведь как у зверя надбровные...” В юности, как это ни странно, Иван был даже одно время толстовцем (о чём сам писал). С годами это ушло, преклонение же перед Толстым – толстовской зоркостью, изобразительностью осталось».

О Толстом Бунин даже написал в 1937 году книгу «Освобождение Толстого», которая является религиозно-моралистическим трактатом, в котором подводятся итоги жизни, и своего рода реквиемом по художнику, по философу, выразившему трагедию творца вообще и самого И. А. Бунина в частности. Для Бунина Толстой – один из немногих за всю историю человечества людей, кто задумывался над смыслом жизни и подчинил этим идеям все свое существование. А потому Толстой стоит в одном ряду с величайшими пророками, святыми, мудрецами. «Однообразие Толстого подобно тому однообразию, которое свойственно древним священным книгам Индии, пророкам Иудеи, поучениям Будды, сурам Корана», – пишет И. А. Бунин. На протяжении всей жизни писателя Л. Н. Толстой остается для него создателем абсолютных ценностей в сфере искусства и мысли. «Мечтать о счастье видеть его» – вот тот восторженный лейтмотив, который определяет тональность бунинских размышлений о Толстом.

По воспоминаниям современников, Бунин был очень язвительным человеком и многим от него досталось словесно.

Александр Васильевич Бахрах вспоминал: «Когда он в плохом настроении, он любит кого-нибудь изругать, выставить в смешном свете, очень метко схватывая уязвимые места “противника”. Получается очень зло, но злоба выкипает в нём немедленно и без остатка. Поругается, успокаивается, и настроение тут же улучшается.

– Кого бы выругать? – обращается иногда к окружающим».

И. В. Одоевцева вспоминала, как Бунин читал отрывки из своих воспоминаний на своём вечере в Русской консерватории в 1947 году:

Мы с Георгием Ивановым, как и все присутствовавшие писатели, сидели на эстраде – в зале все места были заняты. Зал был переполнен. Но после антракта он оказался наполовину пустым. Слушатели, не в силах перенести издевательства над любимыми писателями и шутовского передразнивания их, стали уходить, не дожидаясь конца чтения. В тот вечер Бунин был особенно в ударе, в злом ударе. И наносил беспощадные удары всем, о ком читал, изображая их в лицах. Играл и даже переигрывал, исходя желчью и злобой.

– Как он отвратительно кривляется! Неужели ему не стыдно всех поливать грязью? – слышалось в публике. – Неужели же он ни о ком доброго слова не скажет? Какой он злощый.

Хорошо и тепло он говорил об одном только Рахманинове. И Татьяна Сергеевна Коньное, дочь Рахманинова, сидевшая в первом ряду, горячо аплодировала ему, не в пример остальным слушателям, еле сдерживавшим негодование.

Многие современники получили от Бунина довольно ехидные характеристики. Маяковского он называл «самым низким, самым циничным и вредным слугой советского людоедства», Исаака Бабеля – «одним из наиболее мерзких богохульников», Мариенгофа «пройдохой и величайшим негодяем». Цветаеву Бунин не любил вместе «с её непрекращающимся всю жизнь ливнем диких слов и звуков в стихах». Впрочем, их нелюбовь была взаимной, Цветаева отзывалась о Бунине не менее «лестно»: «Я его не люблю: холодный, жестокий, самонадеянный барин. Его не люблю, но жену его – очень». О Бальмонте Бунин говорил, что он «буйнейший пьяница, незадолго до смерти впавший в свирепое эротическое помешательство». Про Набокова говорил, что он «мошенник и словоблуд (часто просто косноязычный)». Леонида Андреева называл «запойным трагиком», а Максимилиана Волошина «толстым и кудрявым эстетом». О Зинаиде Гиппиус Бунин говорил, что у неё «необыкновенно противная душонка». Она же в долгу не осталась, составив о нём не менее едкую характеристику: «Достаточно взглянуть на его сухую, тонкую фигуру, на его острое, спокойное лицо с зоркими (действительно, зоркими) глазами, чтобы сказать: а, пожалуй, этот человек может быть беспощаден, почти жесток... и более к себе, нежели к другим». Велимир Хлебников в представлении Бунина выглядел как «довольно мрачный малый, молчаливый, не то хмельной, не то притворяющийся хмельным». Ну а Михаила Кузьмина Бунин вообще величал «педерастом с полуголым черепом и гробовым лицом, раскрашенным как труп проститутки».

Думаю, что ни одному человеку не хотелось попасть на острый язык Бунину, который направо и налево навешивал ярлыки, от которых трудно потом было избавиться.

О себе же Бунин был довольно высокого мнения. Вот что писала Галина Кузнецова, которая была любовницей писателя, в своей книге «Грасский дневник»: «...Он часто говорит с печалью и некоторой гордостью, что с ним умрет настоящий русский язык – его остроумие (народный язык), яркость, соль».

Но каким бы человеком ни был Бунин и какими бы ни были его отношения с современниками, это ни в коем случае не умаляет его таланта, его гениальных литературных способностей и не изменяет того факта, что в русской литературе он стал первым писателем, который получил звание нобелевского лауреата.

К 800-летию Нижнего Новгорода: эпохи, судьбы, факты

Валерия БЕЛОНОГОВА

Родилась в Дрездене, ГДР, в семье военнослужащего. Окончила Ленинградский университет. Работала в редакциях нижегородских и московских газет, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Болдино», преподавала в Нижегородском госуниверситете им. Н.И. Лобачевского, Нижегородской государственной консерватории. Кандидат филологических наук, доцент, историк культуры, критик.

Автор книг «Выбранные места из мифов о Пушкине» (2003), «Болдинский ключ» (2009), «Что вам нужно в этом Нижнем? Город в зеркале литературы» (2011), «Забывтая мелодия. Жизнь и труды Александра Улыбышева» (2016), «Открытый остров. Болдинские реалии и образы Пушкина» (2017), «Утренний человек Даниил Хармс» (2020), статей и очерков по истории литературы и музейному делу. Составитель и редактор нескольких сборников и монографий. Дважды лауреат литературной премии «Болдинская осень» (2010, 2018).

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

«АЗ, ХУДЫЙ, НЕДОСТОЙНЫЙ И МНОГОГРЕШНЫЙ РАБ БОЖИЙ ЛАВРЕНТИЙ МНИХ...»

В невообразимой дали временной, шесть с лишним столетий назад, когда свирепое татаро-монгольское иго еще терзало Русь, жил в Новгороде Нижнем монах по имени Лаврентий. Профессиональные литераторы с полным правом могут чтить его как одного из своих прямых литературных предков. Был он иноком сначала Благовещенской, а потом Печерской обители монастырским писцом. И, помолясь, создал в начале 1377 года «список» русской летописи, который считается одним из древнейших и подробнейшим, а кроме того, бесспорно датированным и подписанным.

Список почти в полном объеме дошел до наших дней.

Из 173 листов, написанных на сыромятной телячьей коже с двух сторон, только двенадцать были утрачены за столетия многотрудной истории русской с бесконечными войнами, пожарами, заговорами и ра-

зорениями. Летопись носит имя своего автора – писателя, вернее, «списателя». Лаврентий исполнял ответственный заказ великого князя Дмитрия Константиновича и трудился с благословения своего духовного отца основателя нижегородского Печерского монастыря Дионисия, епископа Суздальского, Нижегородского и Городецкого. Нижегородско-Суздальское княжество, одним из последних противостоявшее княжеству Московскому, нуждалось тогда в своем авторитетном историческом документе, в своем варианте, или «изводе» общерусской летописи. Это было делом и важным, и весьма срочным: летопись была написана всего за 66 дней, работа шла с 14 января до 20 марта 1377 года. У Лаврентия были помощники, но большую часть текста написал он сам. Так что имел право поставить свою подпись под знаменитой рукописью.

Но дело не только в этом. Дело в том, что во времена, когда литература была занятием коллективным и по большей части анонимным и писцы, переписывая текст, созданный предшественниками, только дополняли его изложением событий новых лет, Лаврентий стал одним из немногих, кто остался в истории русской словесности как индивидуальность.

Да, он сохранил, переписав, бесценные страницы Повести временных лет, самого раннего летописного произведения, посвященного первым трем векам русской истории. Она занимает больше половины объема Лаврентьевской летописи. Но в летописи изложены и другие исторические известия – вплоть до 1305 года. Они записывались сначала во Владимире, а потом в Ростове, Суздале и Твери. Потом вошли и в эту новейшую на тот момент летопись.

Но, создавая этот текст, автор проявил, по-видимому, и собственное творческое начало. По гипотезе историка В.Л. Комаровича, рассказ о татарском нашествии 1238 года, например, был им переработан. «Усилен» эпизод взятия татарами Владимира, более подробно дано описание других фрагментов этих событий. Возможно, целью было усиление, «педалирование» роли в событиях Батыевского нашествия великого князя Владимирского Георгия Всеволодовича, основателя Нижнего Новгорода. Что стало в конце XIV века актуально для Нижегородского княжеского стола. В качестве вставных глав Лаврентий включил в свой текст летописную Повесть о нашествии Батыя, а под 1263 годом – вставку из Жития Александра Невского, опочившего в нижегородском Городце.

Летописцы нередко, перечисляя события, слегка меняли, дополняли или сокращали изначальный текст, слегка перетолковывали его в соответствии с новым временем и с новыми политическими задачами. Какой была главная задача времени, когда создавалась Лаврентьевская летопись, – то есть за три года до Куликовской битвы? Епископ Дионисий Суздальский, который благословил написание летописи, хотел ею князей вдохновить на великую битву, приближение и неизбежность которой ощущалось всеми. И Лаврентий «со товарищи», выписывая куски из прежних текстов, «лепили» повествование о героической борьбе русских князей с врагами за правую веру христианскую. И это было благословление, по сути дела, на Куликовскую битву. Не только княжеское и епископское, но и писательское. Это была, если хотите, публицистика того времени.

Есть и еще один довод в пользу причисления Лаврентия к славному цеху истинных литераторов. Это бесспорно яркая художественная

выразительность его произведения. Характерными свойствами мышления средневекового человека были ретроспективность и традиционализм. И образный строй древнерусских текстов проистекал обычно или из древней христианской, или из народнопоэтической, фольклорной символики. Образы летописи Лаврентия носят часто совершенно светский и явно индивидуальный, авторский характер. «Радуетя купец, прикуп сотворив, и кормчий, в отишье пристав, и странник, в отечество свое пришед, тако же радуетя и книжный списатель, дошед конца книгам, тако же и аз, худый, недостойный и многогрешный раб Божий Лаврентий мних...» Кстати, метафорические выражения эти имеют и еще одно значение. По мнению нижегородских историков, сравнение писателя, закончившего свой труд, с приплывшим домой кормчим (то есть флотоводцем) и с совершившим выгодную сделку купцом лишний раз доказывают, что писалась эта летопись не во Владимире, как думают некоторые исследователи, в именно в Нижнем, торговом городе у слияния двух крупных судоходных рек.

А вот «аз худый и недостойный» – это уже чисто средневековая писательская традиция. Монахам-писателям было свойственно это смирение, стремление принизить свое авторское «я», свести свою скромную роль вроде как бы всего лишь к переписыванию... И дальше в том же духе: «Господа отцы и братия, аще буду где описах, недописах или переписах, чтите, исправляя, Бога ради, а не кляните, ибо книги ветшаны, а ум молод, не дошёл...»

Чуть ли не пять столетий спустя, мастерски воспользовался литературными приемами нижегородского монаха-«списателя», замечательный поэт второй половины века девятнадцатого Алексей Константинович Толстой. Среди прочих своих стихов и прозы он написал острую сатирическую поэму «История государства Российского. От Гостомысла до Тимашева». Вот как он заканчивает её:

Что аз же многогрешный
 На бранных сих листах
 Недописах поспешно
 Или переписах,
 То спереди и сзади
 Читая во все дни,
 Исправи, правды ради,
 Писанья ж не кляни...
 Составил от былинки
 Рассказ немудрый сей
 Худый смиренный инок,
 Раб Божий Алексей.

Похоже, правда? Разве это не доказательство бессмертного мастерства Лаврентия-летописца, если спустя полтыщи лет его талантливый младший собрат по перу создает... не пародию, нет, – блестящую стилизацию, где перекликается («спасибо, брат!») со своим литературным предком, который помог ему создать одновременно веселую и грустную сатиру на «государство Российское»: «Вся земля наша велика и обильна, а наряда (то есть порядка. – В.Б.) в ней нет...» (впрочем, это уже из другого летописца – Нестора).

Судьба Лаврентьевской летописи счастливей участи многих других литературных памятников средневековья. На рубеже XVIII и XIX веков

она попала в руки известного «любителя древностей российских», собирателя манускриптов, члена Российской академии наук, обер-прокурора Синода, президента Академии художеств, сановника и ученого Алексея Ивановича Мусина-Пушкина. Его имя прочно вошло в русскую литературу и историографию как имя человека, открывшего миру бесценное «Слово о полку Игореве». Только вот оригинал «Слова...» он не смог уберечь от пожара 1812 года. А Лаврентьевскую летопись спас. Правда, от другой беды. Почувствовав повышенный интерес к реликвии со стороны британского королевского дома (а отказать таким покупателям было бы невозможно), Мусин-Пушкин быстро и умно распорядился своим сокровищем – передал древнейшую русскую рукопись в дар молодому императору России Александру Первому.

Так Лаврентьевская летопись оказалась в фондах Российской национальной библиотеки в Петербурге, бывшей Императорской. Недавно летопись была полностью оцифрована. Теперь бесценная рукопись из 173 ветхих пергаменных страниц превратилась в почти шесть гигабайт электронной информации. И прочесть этот документ в интернете может любой желающий.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Нижегородские впечатления Льюиса Кэрролла

Первое, что приходит в голову по прочтении этих дневниковых записок, что писал их, конечно же, не Льюис Кэрролл, а Чарльз Доджсон, педантичный, застегнутый на все пуговицы профессор математики, который тщательно скрывал свою другую чудесную жизнь сказочника и друга маленькой девочки Алисы под псевдонимом «Льюис Кэрролл». Говорят, когда на его адрес в Оксфорде приходили письма восторженных читателей «Алисы», адресованные мистеру Кэрроллу, он, не распечатывая, отправлял их обратно, уверяя, что читатели ошиблись. И очень сердился на издателей, снабдивших его подлинное имя Чарльз Доджсон как автора научного труда «Элементарное руководство по теории математических детерминантов» ссылкой: «Льюис Кэрролл».

Только такой педант и мог вести эти пунктуальные, скрупулезные, стенографически точные записи. О том, во сколько точно он и его спутники прибыли в город, во сколько точно, с минутами, они его покинули. Какие именно монастыри и храмы посетили в Москве, Нижнем Новгороде и Петербурге. Как проходили в них службы и чем одна служба отличалась от другой. Из этих записок мы можем, например, узнать, что на колокольню Симонова монастыря ведут ровно 380 ступеней. А рассказывая об обеде в «Московском трактире» по дороге в Ново-Иерусалимский монастырь, автор дает даже подробное меню (по-русски записаны «суп и пирошки, поросенок, асетрина» и так далее).

Его рассказ о коротком (двухдневном) пребывании в Нижнем Новгороде и о посещении ярмарки так же сух и сдержан. Ничто не выдает в нем творца фантастических и парадоксальных сказочных миров. Ну, разве что странная ассоциация, возникшая у него при звуках вечернего намаза в Нижегородской мечети: ему почудилось в них завывание ночного привидения, предвещающего чью-то смерть. Да еще явное удовольствие, полученное им на представлении сказки об Аладдине в Нижегородском театре на Благовещенской площади...

В Россию Кэрролл приехал вместе со своим коллегой по колледжу доктором богословия и проповедником Генри Лиддоном, который, между прочим, станет потом каноником собора Святого Павла в Лондоне. Неофициальная посредническая миссия между англиканской и Русской православной церквями, выполняемая Лиддоном в Москве, предопределила маршруты их путешествий по храмам и монастырям, их участие в празднике Водосвятия на Москве-реке, их встречи с епископом Московским Леонидом и митрополитом Филаретом в Троице-Сергиевой лавре. Кэрроллу эти маршруты тоже были близки, он и сам имел сан дьякона англиканской церкви. Единственное, в чем интересы

двух спутников диаметрально расходились, так это в отношении к театру. «Я ни разу не был в театре с тех самых пор, как принял духовный сан, – говорил Лиддон, – и не намерен там появляться до конца своих дней». А Кэрролл любил театр, для него посещение театральных постановок в России стало одним из самых памятных впечатлений. К слову сказать, спектакль «Аладдин и волшебная лампа» в Нижегородском театре понравился ему даже больше, чем «Свадьба бургомистра» в Московском Малом, где «публика была очень хорошая, и пьесы... были встречены большими аплодисментами, но ничто не понравилось мне так же, как “Аладдин”».

Интересно, почему это единственное свое заграничное путешествие Льюис Кэрролл совершил не во Францию, Италию или Америку, а именно в Россию? «...Мы выбрали Москву! Отчаянная мысль для человека, ни разу не покидавшего Англии». Так сам он писал в июле 1867 года, отправляясь в дорогу. Может, решил проверить на собственном опыте, глубока ли «кроличья нора»?..

Его любимую героиню из вышедшей за два года до этого «Алисы в стране чудес» любопытство завело в совершенно сумасшедший подземный мир. Будучи профессиональным логиком и математиком, он и сам любил заглянуть за грань рационального и просто обожал парадоксы, розыгрыши и головоломки. Собственно говоря, отсюда и многие странности профессора Доджсона, домоседа, закоренелого холостяка и молчуна (например, он даже в жару не снимал перчаток, мог написать письмо декану не обычным шрифтом, а вывернутым, «зеркальным»). В его родном оксфордском колледже Крайст-Чёрч многие считали его чудачком. Хотя с виду это был истинный англичанин, накрахмаленный, как его собственный воротничок, педант и «зануда». Он и правда был немножко «занудой», как все взрослые, оставшиеся в душе детьми. И только с маленькими детьми он дружил. Только с ними этот в жизни очень застенчивый, заикающийся и замкнутый человек чувствовал себя свободно и раскованно.

И сочинял для них сказки, которые предвосхитили самую что ни на есть взрослую литературу, серьезно занявшуюся в наше время проблемами подсознания.

«Вопрос: когда мы спим и, как часто бывает, смутно сознаем это и пытаемся проснуться, не говорим ли мы во сне таких вещей и не совершаем ли таких поступков, которые наяву заслуживают название безумных? Нельзя ли в таком случае иногда определять безумие как неспособность отличать бодрствование от жизни во сне? Мы часто видим сон и ничуть не подозреваем, что он – нереальность. “Сон – это особый мир”, и часто он так же правдоподобен, как сама жизнь».

Официанты в нижегородском трактире «зачарованно уставились» на Кэрролла и его спутников-англичан как «на сборище странных животных, которые поглощали пищу перед ними». А сам он на ярмарке постоянно встречал «необычные создания в немыслимых одеждах», просто «антиподов» каких-то из Зазеркалья. Так что в каком-то смысле путешествие в Россию было для Кэрролла путешествием в другой мир, в Зазеркалье (второй том «Алиса в Зазеркалье» будет написан им как раз вскоре после возвращения из России).

О том, что перед нами великий писатель, занимающий среди наиболее цитируемых англоязычных писателей второе место после Шекспира, в 1867 году у нас не догадывался никто. Первый русский перевод «Алисы» под названием «Соня в царстве дива» (без указания имени автора

и переводчика) появится в Москве только в 1879 году. Небольшим тиражом. Потом выйдет несколько других, тоже малоудачных переводов. Еще бы! Не так-то просто переводить поэтов-абсурдистов со всеми их забавными несоответствиями и нелепыми искажениями обычных вещей. Мир на самом деле сложнее, чем кажется на первый взгляд, – словно доказывают они, – незыблемые вроде бы понятия на самом деле весьма относительны, а самые простые явления не так просты. В общем, «*Варкалось. Хливкие шорьки пырялись по наве И хрюкотали зелюки, как мюмзики в мове...*»

Только в 1967 году появится принципиально новый русский перевод «Алисы» Н. Демуровой, который станет каноническим и будет у нас много раз переиздаваться.

Какие бы яркие дорожные впечатления ни подарило то путешествие Льюису Кэрроллу, самым сильным и волнующим, похоже, было возвращение домой в старую добрую Англию.

13 сентября он писал в своем «Дневнике»: «...Я оставался на носу судна большую часть перехода, иногда болтая с вахтенным матросом, а иногда наблюдая, в течение последнего часа моего первого заграничного путешествия, огни Дувра, когда они начали медленно расти на горизонте, словно милая отчизна раскрывала объятия, принимая своих спешащих домой детей».

И последнее. Льюис Кэрролл интересен не только тем, что предвосхитил многие шаги в математике и в литературе, он всегда шел в ногу с техническим прогрессом. Едва ли не первым из литераторов сел за пишущую машинку, слушал фонограф, с удовольствием ездил по железной дороге в то время, когда многие думали о паровозах так: «Ничего, побегает, подымят и перестанут!» Наконец, он страстно увлекался фотографией и стал одним из первых в мире фотографов-любителей. Случись заграничное путешествие Кэрролла не в 1867 году, а лет на двадцать попозже, он обязательно захватил бы с собой портативный «Кодак» (они появились в Европе примерно в 1880-е). И тогда в знаменитом Ашмолиан-музее в Оксфорде, где хранится теперь вся фотоаппаратура писателя и многие из его фоторабот, может быть, экспонировались бы и виды Нижнего Новгорода. Где-нибудь неподалеку от чучела последнего европейского дронта, вдохновившего автора «Алисы в стране чудес» на создание образа своего alter ego – фантастической птицы Додо (ведь заикание заставляло его произносить свою фамилию как «До-до-доджсон»).

6 августа (вт.)

...Господин Пенни любезно сопровождал нас в прогулке по Двору (или Рынку), чтобы показать, где можно достать самые лучшие иконы и проч. Перед этим мы поднимались на Колокольню Ивана, откуда открывается прекрасный вид на Москву, раскинувшуюся вокруг нас со всех сторон, вспыхивающие на солнце шпили и золотые купола. В половине шестого мы отправились с обоими Везрами в Нижний Новгород и нашли, что эта экспедиция вполне стоит всех тех неудобств, которые нам пришлось вынести от начала и до конца. Наши знакомые взяли с собой своего «курьера», который говорит по-французски и по-русски и который очень нам пригодился, когда мы делали покупки на ярмарке. Спальные вагоны – неизвестная роскошь на этой линии, поэтому нам пришлось довольствоваться обычным вторым классом. Я спал на полу по дороге и туда, и обратно. Единственное происшествие, которое внесло некоторое разнообразие в монотонность поездки (но вряд ли ее облегчившее), длившейся с семи вечера до начала первого

следующего дня, состояло в том, что нам пришлось выйти из вагона и перейти по временному пешеходному мосту через реку, поскольку железнодорожный мост смыло. Это вылилось в то, что примерно двум или трем сотням пассажиров пришлось тащиться добрую милю под проливным дождем. Ранее произошла авария, из-за которой наш поезд задержался, и в результате, если бы мы придерживались нашего первоначального плана вернуться в тот же день, то на ярмарке мы провели бы всего около двух с половиной часов. Мы подумали, что этого делать не стоит, учитывая те хлопоты и расходы, на которые нам пришлось пойти, и решили снять номер в гостинице и остаться до следующего утра. Посему мы отправились в гостиницу «Smernovaya» (или что-то в этом роде) – поистине разбойничье место, хотя, без сомнения, лучшее в городе. Еда была очень хорошей, а все остальное – очень плохим. Некоторым утешением послужило то, что за ужином мы обнаружили, что представляем предмет живейшего интереса для шести или семи официантов, одетых в белые подпоясанные рубахи и белые брюки, которые выстроились в ряд и зачарованно уставились на сборище странных животных, которые поглощали пищу перед ними... Время от времени их охватывали угрызения совести: они вспоминали, что, в конечном счете, не выполняют назначенный им судьбою официантский долг, и в такие моменты все вместе поспешно направлялись в конец зала и пытались найти поддержку в большом комод, в ящиках которого, судя по всему, не содержалось ничего, кроме ложек и вилок. Когда мы просили их что-нибудь принести, они сначала тревожно переглядывались, затем, определив, который из них лучше всего понял заказ, все вместе следовали его примеру, который всегда заключался в заглядывании в ящик... Большую часть дня мы провели, расхаживая по ярмарке, покупая иконы и проч.

Это было замечательное место. Помимо того, что на ярмарке имелись отдельные ряды для персов, китайцев и других, мы постоянно встречали необычные создания с нездоровым цветом лица и в немислимых одеждах. Персы, с их спокойными умными лицами, широко расставленными удлинненными глазами, вороного крыла волосами и желто-коричневой кожей, с черными шерстяными фесками на головах, похожими на гренадерские шапки, были почти что самыми живописными из всех, кого мы встречали. Но все новые впечатления дня затмило наше приключение на закате, когда мы наткнулись на татарскую мечеть (единственную в Нижнем), как раз в тот момент, когда один из служащих вышел на крышу, чтобы произнести... (в оригинале это место пропущено. – *Ред.*) или призыв к молитве. Даже если бы в увиденном не было ничего самого по себе необычного, это представляло бы огромный интерес благодаря своей новизне и уникальности, однако сам призыв не был похож ни на что другое, что мне приходилось до сих пор слышать. Начало каждой фразы произносилось быстрым монотонным голосом, а к концу тон постепенно повышался, пока не заканчивался продолжительным скорбным стенанием, которое проплывало в неподвижном воздухе, производя неопишимо печальное и мистическое впечатление: если услышать это ночью, то можно было бы испытать такое же волнение, как от завываний привидения, предвещающего чью-то смерть.

Сразу же, послушные призыву, появились толпы верующих, каждый из которых снял с себя и отложил в сторону обувь перед тем, как войти: главный священник позволил нам постоять в дверях и посмотреть. Сам обряд поклонения, похоже, состоял в том, чтобы стать, обратившись лицом к Мекке, неожиданно упасть на колени и коснуться лбом ковра, подняться и повторить это один или два раза, затем снова неподвижно постоять в течение нескольких минут и так далее. По пути домой мы зашли в церковь, где служили вечерню, со всем приличествующим набором икон, свечей, крестных знамений, поклонов и проч.

Вечером я отправился с младшим из Веэров в Нижегородский театр, который оказался самым неприятным строением из всех, что мне приходилось

видеть, – единственным украшением внутри была побелка на стенах. Он был очень большим и заполнен не более чем на одну десятую, поэтому в зале было замечательно прохладно и приятно. Представление, исполнявшееся исключительно на русском языке, было нам несколько непонятно, однако, прилежно трудясь в течение каждого антракта над программкой, мы, с помощью карманного словарика, получили сносное представление о том, что происходит на сцене. Первой и самой лучшей частью была «Алладин и волшебная лампа», бурлеск, в котором некоторые актеры показали по-настоящему первоклассную игру, а также очень неплохое пение и танцы. Я никогда не видел актеров, которые уделяли бы больше внимания действию и партнерам на сцене и меньше бы смотрели на зрителей. Тот, который играл Аладдина, по фамилии Ленский, и одна из актрис в другой пьесе, по фамилии Соронина, пожалуй, были лучшими (в оригинале фамилии приведены русскими буквами. – *Ред.*). Другими пьесами были «Cochin China» и «Гусарская дочь».

После ночи, проведенной в постелях, состоящих из досок, покрытых матрасом в дюйм толщиной, подушки, одной простыни и стеганого одеяла, и после завтрака, гвоздем которого стала большая и очень вкусная рыба, почти полностью без костей, которая называется *Stirlet*, мы посетили собор и Мининскую башню. В соборе мы обнаружили, что там проходит торжественная обедня и все огромное белое здание заполнено военными: мы немного подождали и послушали великолепное пение.

С Мининской башни нам открылась великолепная панорама всего города и извивающаяся лента Волги, теряющаяся в туманной дали. Затем, после еще одного посещения Двора, около трех мы отправились в обратное путешествие, еще более неудобное, чем предыдущее, если такое вообще возможно, и снова прибыли в Москву, усталые, но довольные всем, что увидели, примерно в девять утра.

Кэрролл Л. Дневник путешествия в Россию. М.: Эксмо, 2004.

Вячеслав ФЕДОРОВ

Родился в 1947 году в г. Шумерля Чувашской Республики. Журналист, краевед. Работал в нижегородских газетах, вел военно-патриотическую тему. Побывал во многих военных и во всех пограничных округах, в горячих точках: афганское приграничье, Нагорный Карабах, Чечня. Редактор отдела газеты «Земля нижегородская», ведущий рубрики «Возвращенные имена».

Автор ряда книг и составитель сборников на военную тему, за которые получил премии Министерства обороны СССР, главкома ВВС, начальника погранвойск СССР. Живет в Нижнем Новгороде.

АРХИТЕКТОР МОДЫ

Известно, что законодателем моды всегда считалась Франция. Ставшее для нас привычным слово «кутюрье» французское. И сами кутюрье были французами: Поль Пуаре, Ив Сен-Лоран, Шанель... Думаете, если мы поставим в этот ряд имя пока не очень известной нам Надежды Петровны Ламановой, то оно будет лишним?

Знаменитый Поль Пуаре проводил в московском доме Ламановой показы своих коллекций модной одежды. Он был с нею на равных. Наша тяга к инородным именам так всеильна, что затмевает собственную память. Во Франции хорошо знали Ламанову и считали успешным русским кутюрье. «Платье от Ламановой» было мечтой всех велико-светских модниц.

В сетевой энциклопедии, которая для нас стала верхом памяти, Надежда Петровна Ламанова значится как «российский и советский модельер, художник театрального костюма».

Есть у нее и звания: в царское время она была «поставщиком двора ея императорского величества», в советское время – «членом Академии художественных наук».

Нам же она дорога еще и тем, что появилась на свет в селе Шутилове, на самом юге Нижегородской губернии в нынешнем Первомайском округе. Землячка. Можно твердо сказать, что мало известная землячка...

Сохранилась вот такая фотография. Сделана она в Петербурге, предположительно в 1885–1887 годах. Та девушка, что помладше, считает ту женщину, что постарше, своим учителем. Несмотря на разницу в возрасте в десять лет, они стали подругами. А теперь сами попробуйте догадаться о ком эти слова:

«Это была энергичная женщина. Окончив где-то институт для благородных девиц, она приехала в столицу. Была не очень красива, с манерами

мальчика, стриженная. В компании говорила: “Ну, братцы, выпьем!” Хорошо играла в винт и преферанс. Открыла мастерскую... но к заказчикам относилась сурово и заставляла их ждать подолгу.

...Ездила в Париж за моделями. Обслуживала придворных. За самое простенькое платье брала по 600–800 р. Держалась богом, были у нее цеха. Платила неплохо, но и требовала хорошей работы. Муж у нее был присяжный поверенный Андрей Павлович Каютов. Говорят, красивый. Зимой каждый день на своем автомобиле ездила в Сокольники, бегать на лыжах!»

Не будем вас томить в неведении. Это написала петербургский кутюрье, а проще известная в городе портниха Мария Степановна Воронина. На фотографии она справа. А слева ее юная подруга Надежда Петровна Ламанова, которая приехала в Петербург специально посмотреть на работу опытной мастерицы. Познакомились они за... карточной игрой в винт.

В этих строчках воспоминаний есть одна неточность: никакой институт благородных девиц Надежда Петровна Ламанова не оканчивала. Училась она в Нижнем Новгороде в Мариинском женском училище 1-го разряда и женской гимназии. Отучившись, она получила свидетельство о том, что может преподавать географию в крестьянских школах.

А до учебы в Нижнем жила, где и родилась, в селе Шутилово, в небогатой дворянской семье. Запомним правильное название села. Во многих источниках оно ошибочно называется Шузиловом. Даже писатель-историк Валентин Пикуль, написавший о Ламановой художественную новеллу, обозвал его так. А может, корректоры недосмотрели. Ошибка с тех пор и тиражируется.

Отец Надежды был отставным гвардии полковником, а мать – дочерью генерал-майора. Судя по судьбам всех пятерых сестер, среди которых Надежда была старшей, жизнь у всех сложилась вполне благополучно. Родители приучили дочерей к полной самостоятельности и независимости.

В двадцать лет Надежда окончательно покинула родительский дом и уехала в Москву, где поступила в школу кройки и шитья. Ехала Золушкой, не имея в большом городе никаких знакомств, полагаясь только на себя. Трудно сейчас сказать, была ли эта школа верхом ее мечты, но можно предположить, что она все просчитала: окончив ее, она без работы не останется.

Через два года она станет ведущей закройщицей в мастерской мадам Войткевич, куда поступила работать.

Это она позже получит право сказать: «Терпеть не могла ковыряться с иглой!»

Среди модниц Москвы поползли слухи:

«Шить теперь надо только у мадам Войткевич – там есть одна новенькая закройщица мадемуазель Ламанова, которая истиранит вас примеркой, но зато платье получится как из Парижа».

Мы бы никогда ничего не узнали о Надежде Петровне Ламановой, останься она лишь исполнителем прихотей модниц.

Она не была жеманной и угодливой. Она не старалась привлечь к себе клиентов. Ей было все равно, что о ней думают. У нее был действительно мальчишеский характер, и она его сумела сберечь, общаясь с капризными моделями и требовательными заказчицами. Ей никто, ничего и никогда не диктовал.

А попробуй ей возразить: «А вот в Париже...»

Вот только не это! Она хорошо знала, что происходит в Париже... Она посещала его ежегодно, держала там квартиру и закупала модный товар для своего предприятия. Даже просто копируя модели, она могла бы стать известной и модной портнихой, но не знаменитым кутюрье. Она не подглядывала в замочные скважины французских законодатель мод и не выведывала их тайны. Они были ей не нужны. У нее рождались свои...

Давайте передохнем и узнаем что-нибудь о ее личной жизни. Сложилась ли она? Да, и довольно счастливо. Нашелся «смельчак», рязанский молодой дворянин, учившийся в столице на юриста, который позвал ее замуж. А познакомились они на благотворительном базаре, устроенном для нужд детей и сирот. Ее будущий муж Андрей Павлович Каютов был страстным театралом и даже стоял перед выбором: уйти в артисты или продолжить карьеру юриста. Выбрал последнее и начал уверенно двигаться по службе, став одновременно управляющим отделением страхового общества «Россия» и распорядителем Императорского Театрального общества в Москве.

Такой муж для Надежды Ламановой стал поистине находкой. Конечно, легко подумать, что при его капиталах ей можно было уже ничего не делать и навсегда забыть о швейной иголке. Почти полвека они проживут в абсолютном мире и согласии – два человека с непростыми характерами. Не повезет в одном: у них не будет своих детей. Но она поставит на ноги всех своих сестер. Когда она покидала Шутилово, последняя, Софьюшка, была совсем маленькой.

Замужество открыло Ламановой двери в театры и мир книг. В их гостеприимном и хлебосольном доме собирались художники, музыканты, артисты. Сам Андрей Павлович Каютов собирал книги по искусству. К ним добавились книги и модные журналы, которые выписывала Надежда Петровна. Восприимчивая ко всему, что ей было неизвестно, она с увлечением читала, а встреча с артистами вскоре превратятся в творческую дружбу.

Воспоминания о Ламановой полны рассказами о тирании ее примерок. Это было истязанием, пыткой. Мода, говорят, требует жертв – это о Ламановой. В данном случае каждая модница, обратившаяся к ней, была уже жертвой. Первоначальная интеллигентность, тактичность и обходительность кутюрье оборачивалась полным ее диктатом. Заказчица не имела никакого права выбора фасона, цвета, отделки. Все – она сама. В мастерской всегда наготове стояла склянка с нюхательной солью на случай, если заказчица свалится в обморок.

Марина Цветаева о ней писала:

Ты богиня – мраморная.
Нарядить – от Ламановой!
Не гляди, что мраморная –
Всем бока наламываем!

Прежде чем начать работу, она долго изучала «натуру». Ее обходительность, казалось бы, пустые разговоры за чаем, уходили на это. Дальше она брала в руки «краски» – ткани. У нее был свой метод работы. Она ничего не вымеряла и не чертила на бумажке будущий фасон платья. Все рождалось на глазах модели. Ламанова «лепила» ее образ, обволакивая тканью, драпируя складками. В своем дневнике она

отмечала: «Ткани... это как музыка или как песня. У каждой свой тон, своя гармония. Всякий человек, несмотря на все недостатки его тела от природы или от образа жизни, имеет право быть гармоничным».

Историки моды называют ее метод работы – «наколкой». Сотни булавок покрывали истираненную примеркой модель. Затем все это осторожно снималось, платье было почти готово, оставалось его только сшить.

– Сшейте сами! – умоляли заказчики.

– Я вообще не умею шить, – заявляла Ламанова. – Вы когда-нибудь видели архитектора, который бы выкладывал сам свои здания из кирпича? Шить вам будут мои помощницы.

На этом разговор заканчивался.

Надежда Петровна Ламанова была достаточно скрытным человеком, поэтому интересны те крупницы воспоминаний, которые оставили о ней ее современники.

Друг дома Георгий Адольфович Леман писал:

«Она обнаружила огромный вкус, и постепенно стала одевать дам самых высоких и самых богатых кругов московского общества. У нее стали одеваться не только дамы московского купечества, но и аристократия, так, в частности, она одевала великую княгиню Елизавету Федоровну, жену московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, родную сестру государыни.

Была она приглашена и к самой царице, но они как-то “не сошлись характерами”, и это отношение оборвалось. Дело Надежды Петровны настолько разрослось, что постепенно у нее стало 300 мастериц. Она выстроила огромный дом на Тверском бульваре. Я слышал от нее, что она подавала счета богатым московским купцам в десятки тысяч. Курьезны были ее рассказы, как купцы “торговались” с ней – купцы любят, чтобы им “делали скидки”. Так, например, подает он счет на 32 240 руб. Приезжает “сам”... и говорит: “Надежда Петровна, уж вы мне скиньте 240 руб.” “Извольте, с удовольствием!” Жена великого князя Михаила Александровича, графиня Брасова, урожденная Шереметьевская, Наталья Сергеевна, так и осталась должна Наталье Петровне 20 тыс. рублей».

А вот воспоминания художника Константина Сомова, работавшего над портретом знатной московской красавицы, дочери одного из купцов-промышленников Рябушинских, Евфимии Павловны Носовой. Она предстала перед художником в платье, которое и стало камнем преткновения для художника.

«Сидит она в белом атласном платье, украшенном черными кружевами и кораллами, оно от Ламановой, на шее у нее 4 жемчужных нитки, прическа умопомрачительная... точно на голове какой-то громадный жук.

Никаких трудностей с лицом терпеливо сидящей молодой женщины, оно “вылепилось” как-то сразу...

Блондинка, худоощающая, с бледным лицом, гордым взглядом и очень нарядная, хорошего вкуса при этом».

«Она очень красива. Но какое мученье ее платье, ничего не выходит...»

Художник впадает в отчаяние. Стоит модели чуть шелохнуться и писать платье можно начинать заново.

«Носовой я признался в моей неудаче, она меня бодрит, говорит, что упряма и терпелива».

Можно предположить, что она выдержала на примерках «от Ламановой». Школу терпения она прошла знатную.

Портрет – шедевр Третьяковской галереи. Модель в полной мере стала соавтором художника, но в соавторы можно зачислить и кутюрье Ламанову, сотворившую красивейшее платье, которое ни в коей мере не затмило красоту Евфимии Носовой. И как определил художник Михаил Нестеров, это «произведение давножданное, на котором отдыхаешь».

Художник Валентин Серов, писавший портрет самой Ламановой, сказал под впечатлением встреч с ней:

«Не обязательно быть живописцем, чтобы стать большим художником».

Когда ей открыто говорили, что она гениальна, она уверенно отвечала: «Конечно!» Она нисколько не сомневалась в этом. Бог наградил ее талантом видения красоты, она должна использовать его в полной мере. Скрывать – большой грех.

От первой половины жизни Надежды Петровны Ламановой осталось 14 платьев, хранящихся в Эрмитаже. Вторая половина жизни началась с испытаний, которые мог выдержать не каждый.

Когда случилась революция, ей было 56 лет. Биографы спорят о том, как она приняла этот катаклизм. Поскольку о Надежде Петровне Ламановой до сих пор известно не так много и есть пробелы в ее биографии, то с уверенностью никто ничего сказать не может. Могла ли она уехать из страны? Даже думать на этот счет нечего. Неужели ее не уговаривали те, кого она обшивала, для кого создавала чудо-модели. Ее профессия была универсальна... А знакомства во Франции... Муж юрист, он бы и там нашел выгодную работу.

А тут они в один день лишились всего: дома, который она отдала под госпиталь, ателье, великолепной коллекции картин, которые в нем находились, имения, денег, высокого положения в обществе. Через два года был арестован муж, пытавшийся спасти ценности храма Святого Георгия, где он был старостой, от разграбления.

Сама безупречная женщина, она не могла бросить своих соотечественниц. Для нее мода была вне политики. Ну разрушат, как горланят в песне, все, а что за тем... Будут строить новый мир, а каким?.. В нем не будет красоты и красивых женщин? Что, все эти революционеры в кожанках так и будут бегать по жизни с «револьвертами»? Какая женщина откажется от красоты в новом, строящемся мире!

Разве она могла уехать от своих мастериц, которых растила и кто ее называл «мама Надя».

Надежде Петровне Ламановой было не привыкать начинать все сначала. Мода всегда была изменчива и непостоянна, она испытывала своих создателей на прочность.

К чему-чему, а к этому она была готова всегда.

Скоро, совсем скоро придут жены тех, кто оказался у власти, в ее ателье. Она не ошиблась. Они пришли, только ее там не застали. Новым местом обитания стала... Бутырская тюрьма, куда ее сопроводили «за дворянское происхождение» и еще за то, что одевала царскую семью.

Хорошо, что все закончилось благополучно, на помощь ей поспешила бывшая заказчица – комиссар театров и зрелищ Петрограда, актриса и гражданская супруга Максима Горького Мария Федоровна Андреева. Ламанову отпустили...

«Революция изменила мое имущественное положение, но она не изменила моих жизненных идей, а дала возможность в несравненно более широких размерах проводить их в жизнь».

Она понимала в революции гораздо больше, чем те, кто считал себя профессионалами в деле разрушения старого мира.

Новым миром для нее стала «Мастерская современного костюма», которую она возглавила. Ламанова нисколько не испугалась, что ей теперь придется создавать моду для рабочих и крестьян. Это было для нее новое, таких заказчиков у нее еще не было. Не беда, что нет атласа, кружев, бархата, шелка... Есть холст, сукно и сколько угодно мешковины... В дело пошли старые стеганые одеяла, вышитые полотенца, занавески... Она создавала «последний писк революционной моды».

А само слово мода, применительно ли оно к революции?

В журнале «Работница» за 1968 год можно отыскать воспоминания бывшего директора «Ателье мод» О. Сеничевой-Кашенко:

«Теперь это сочетание слов (ателье мод) привычно, примелькалось. А сколько дней и ночей ломали из-за него головы и спорили! Сами слова “мода”, “модель” вызывали сомнения. Работницы, пролетарки и вдруг “мода”... Можно ли это?

...И вот наступил день “премьеры нового костюма”, дом на Петровке ярко освещен. Красиво и торжественно оформлен демонстрационный зал. Пришли не только представители промышленности, работницы швейных фабрик. Много артистов, художников, писателей. Среди них известная всему мир певица Антонина Васильевна Нежданова. Приехал и нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский. Заиграл оркестр. На сцене известные артистки в туалетах, созданных “Ателье мод”. Они охотно согласились продемонстрировать модели и превратили показ советских мод в блестящий концерт...»

Больше споров о том, можно ли пролетаркам употреблять термин «мода», не было.

В «Красной ниве» публикуются статьи Ламановой – размышления о моде. Журнал идет нарасхват. Статьи «Русская мода», «О современном костюме», «О целесообразном костюме» – стали ее прокламациями в революции моды. Она по-своему рушила старые устои отказываясь от корсетов, кринолинов и многоярусных «спеленатых» юбок. Но она, разрушая, тут же создала, предлагая новое...

«Сделать одежду целесообразной и красивой – значит сделать жизнь вовсе не отдельных привилегированных людей, а жизнь широких слоев населения тоже более удобной и красивой».

Своеобразный подход к моде был у наркома просвещения Луначарского. В журнале «Искусство одеваться» он писал:

«Если пролетарий и пролетарка, комсомолец и комсомолка, вместо того чтобы пропить деньги в пивной или проиграть их в карты, покупают приличную одежду, то это, конечно, положительный фактор».

Ламанова принимает участие в разработке планов деятельности первых швейных учебных заведений, устава учебных художественно-промышленных мастерских.

Для молодого поколения модельеров она по-прежнему оставалась «мамой Надей» – учителем и наставником. И какая была радость для ее воспитанников, когда Надежда Петровна Ламанова стала профессором ВХУТЕМАСа, где читала на первый взгляд простенький курс – «Применение ткани в костюме».

О какой ткани тогда могла идти речь: какую доставали, из такой и шили. Ламанова считала, что это неправильно.

1925 год. В Париже готовилась к открытию Международная выставка декоративного искусства и художественной промышленности. Советский Союз был приглашен к участию в ней. Незадолго до этого были установлены дипломатические отношения с Францией. Думается, что ничего хорошего от Советского Союза на этой выставке не ждали, и приглашение на выставку было просто данью вежливости.

Пожелала участвовать в ней и Надежда Петровна Ламанова. В последние годы у нее появилась талантливая «ученица» – скульптор Вера Мухина. Она была склонна к проектированию моделей одежды и совместно они выпустили альбом «Искусство в быту». Вместе и начали готовиться к выставке. Ламанова предложила создать коллекцию одежды в русском стиле, зная, что модницы Европы гоняются за славянскими вышивками, кокошниками и сапогами.

Но только не это! Ламанова не пошла на поводу у моды, которая могла затянуть в водоворот уже виденного и привычного, а главное, чуждого новому времени. Вера Мухина полностью с ней согласилась.

Надежда Петровна и не догадывалась, что эта выставка будет ее второй молодостью. Что из того, что шесть десятков лет жизни позади. Какое значение имеет возраст для того, кто идет впереди времени...

И она отправилась на московские рынки искать подходящие безделушки для будущей коллекции одежды.

В журналах писали:

«Ламанова и Мухина сшили женские платья рубашечного типа, украшенные традиционной русской вышивкой. Каждому костюму соответствовали свой головной убор, сумка, украшения. Аксессуары выполнялись из самых простых, иногда необычных материалов: сумки из бечевки, шнура, вышитого холста; бусы из дерева, камешков, хлебного мякиша. Ансамбли, отличавшиеся безупречным вкусом и необыкновенным мастерством исполнения, получили на выставке в Париже Гран-при. Воистину надо было поразить французов в самое сердце, чтобы в те годы в столице моды пальму первенства отдали советским художницам».

В нарядах мастериц на подиуме дефилировали Лиля Брик и ее сестра Эльза Триоле.

На выставке ждали приезд Ламановой, но ее в любимый Париж не пустили. Она стала «невъездной».

Революция знала место каждому. Талант и гениальность тоже подчинялись законам «великих» перемен. Никакие заслуги в счет не брались. Она становилась человеком системы, где не поощрялась индивидуальность. Быть как все – стало негласным девизом того времени. Быть серой массой в партикулярных советских одеждах, когда костюм должен стать простой спецовкой. Это было не для Ламановой.

В марте 1928 года Надежду Петровну ждало еще одно потрясение. Ее лишили избирательных прав «как кустаря, имевшего двух наемных мастериц». Казалось, мелочь-то какая – избирательное право. Что, не имея его, нельзя было жить спокойно? Правда, при этом ее лишили и мастерской, где она работала. Чиновники, видимо, даже не догадывались, что для Ламановой это было слишком серьезное наказание, перечеркивавшее все устои ее жизни. Она писала:

«Все мои силы, знания, энергию я посвятила с самого начала революции работе по созданию советского быта и культуры, таким образом моя работа в течение 11 лет является общественно полезной».

Ей казалось, что ее выдворяют из страны и в то же время не дают из нее уехать. А стать просто портнихой в заурядном ателье она не могла.

«...Я не совсем являюсь портнихой в общепринятом смысле этого слова. Я работаю в деле пошива женского платья как художник, то есть я создаю новые формы, новые образцы женской одежды... Мои искания направлены к тому, чтобы создать такие формы и образцы женской одежды, которые были бы приспособлены по своей простоте, удобству и дешевизне к нашему новому рабочему быту и в которых нашли бы широкое применение наши современные кустарные вышивки и материи».

Мастерскую ей так и не вернули, даже несмотря на множество положительных отзывов о ее работе.

Утешил лишь муж, спросив, серьезно ли она расстроилась, что не может участвовать в выборах и со свойственной ему иронией сказал:

– Я тебя выбрал, ты – меня. Считаю, что выборы прошли успешно.

Перенесла она это унижение и продолжила свою революцию в мире моды. Стране нужны были деньги. Их могли дать меха. Ей поручили возглавить мастерскую Мехкомбината. И она тут же разработала коллекцию меховой одежды для Лейпцигской выставки, а затем и для Нью-Йоркской. И вновь был успех. Но дверцы клетки для нее так и не распахнулись. На мировые показы ее не пускали, и ей не удалось сделать советскую моду частью европейской культуры.

Ламановой 79 лет... Вот как ее описывает народная артистка России Кира Николаевна Головкина. Будучи еще молодой актрисой МХАТа, она впервые встретила Надежду Петровну Ламанову.

«И вот вошла Ламанова. У нее была прямая спина. Она была величественна. Одета была в изящный строгий костюм кремового цвета, отделанный бархатом, в юбке длинной, но не слишком – видны были ноги в шелковых чулках и, что удивительно, на высоких каблуках. Удивило также и то, что на руках с ухоженными ногтями были кольца это противоречило аскетичным нравам 1939 года».

Повторимся – Ламановой 79 лет... В театр она пришла не зрительницей, она здесь работала костюмером. Почти четыре десятка лет... Почти тайно... Она не афишировала свою работу в театре.

Режиссер Сергей Эйзенштейн писал о ней и еще об одном мастере театрального костюма Якове Райзмани:

«...Так строга лепка их костюма, так поразительно сбалансированы в них живописные массивы... Ибо мастера эти не только облекают фигуры тех, кто счастлив попасться им в руки. Они создают и пересоздают его облик, исправляют дефекты, убирают аномалию или, ухватив ее, не замалчивают, но возводят ее средствами искусства в завершённый образ характерности. Именно поэтому так давно пришла Ламанова от “светского” костюма к костюму театральному, где еще больший простор игре индивидуальностей, чем в комедии салонов и гостиных».

В воспоминаниях старых актеров можно найти эпизод, случившийся на спектакле «Анна Каренина» во МХАТе. Когда главная героиня вышла на сцену, женщины, сидевшие в зале, начали аплодировать. Они узнали на актрисе, игравшей Каренину, «платье от Ламановой».

Константин Сергеевич Станиславский писал о ней:

«Такое долгое сотрудничество с Н.П. Ламановой, давшее блестящие результаты, позволяет мне считать ее незаменимым, талантливым и

почти единственным специалистом в области знания и создания театрального костюма».

Известный художник-искусствовед Р.В. Захаржевская в своей книге «Костюм для сцены» так описывала работу Надежды Петровны Ламановой:

«...Ее пальцы оживали при соприкосновении с тканью, и ткань оживала под ее пальцами. Глядя на ткань, она уже в ее существе видела форму... Ее руки хочется сравнить с руками хирурга и скрипача, скульптора и графика. Эти руки из ткани лепили складки, рисовали светотень, проводили графические линии, лепили объем. Она была великолепным живописцем. До сих пор помню ее костюм из спектакля “На всякого мудреца довольно простоты” А.Н. Островского в театре Красной Армии. И тогда мы, молодые художники театра, с большими предосторожностями приносили эти костюмы к себе в декорационную мастерскую и писали их, как самые изысканные натюрморты».

Конкурентом театра стал нарождающийся кинематограф. И если в театре многое было условно и зрителям в дальних рядах трудно было разглядеть детали, то крупный план кино выдавал все. Режиссеры мучились с подбором костюмов. И тут Надежда Петровна Ламанова пришла им на помощь. Она разрабатывает костюмы «инопланетного» масштаба для фантастического фильма «Аэлита». Она беретя одеть князя Александра Невского и его ратников в фильме «Александр Невский». Ей под силу царское облачение Ивана Грозного в одноименном фильме. Но для модниц 30-х годов прошлого века кумиром была блиставшая в фильмах Любовь Петровна Орлова. Это в «платях от Ламановой» блистала она в кинокартине «Цирк». И песня «Широка страна моя родная» звучит на фоне идущих в будущее жизнерадостных людей в «одежде от Ламановой».

До сих пор в театральных вузах изучают поставленную Константином Сергеевичем Станиславским оперу «Борис Годунов». А тогда, на премьере, Надежда Петровна заслужила от великого режиссера слова «Благодарю и восхищаюсь» за костюмы, в которые она обрядила артистов.

Эта глава из жизни Надежды Ламановой самая коротенькая. Жизнь ее катилась к закату. А тут новая беда... Началась война. Вот теперь точно, она уже никому не будет нужна. Она знала, что скоро умрет, и даже знала когда. Своей близкой подруге Вере Игнатьевне Мухиной призналась, что у нее осталось только две капли Coty – ее любимых французских духов. Старые запасы из прошлой жизни закончились...

Она умерла 14 октября 1941 года в скверике у Большого театра. Это был первый день эвакуации Москвы. Враг был у ее порога. Уезжал на Урал и ее МХАТ. На сборный пункт она опоздала...

Ждать ее не стали...

В дневнике Ламановой есть такая запись, одна из последних:

«Я верю, что талант не пропадает никогда и душа, наработав что-то в очередной жизни, отправляется в свое новое приключение, в свою новую жизнь».

И для Надежды Петровны Ламановой эта новая жизнь началась. 19 февраля 2016 года в Московском Доме моды В.М. Зайцева прошла I научно-практическая конференция «Российская мода». Темой ее стали жизнь и творчество Надежды Петровны Ламановой. Ее вспомнили, а это главное...

А год спустя прошел фестиваль моды в Первомайске. Районный центр принимал молодых модельеров, показавших свое искусство. Конечно же, фестиваль носил имя Надежды Петровны Ламановой. И все уехали с надеждой, что будущая встреча на земле «мамы Нади» будет уже всероссийской.

Вместо послесловия

Милая, дорогая, теперь вы уже, конечно, получили мою телеграмму о кончине Надюши, так что пишу всё, как было. Каково мне – не буду говорить, вы сами чувствуете.

В субботу 11-го октября я была у вас. Одиннадцатого мы с Надюшей на даче у Вас целый день были, и ночевать пошли к Наде, т. к. Нина Игоревна уехала, и одна не хотела ночевать в доме. Ночью пришлось встать из-за тревоги. Надюше стало в саду дурно, но Верочка с Надей скрыли от меня по просьбе Надюши, т. к. в понедельник утром ей надо было ехать в театр, а она боялась, что я запротестую. Приехала бодро, но всё время бегала она к телефону: Галина Валерьяновна звонила, что, кажется, тоже эвакуируется и вопрос относительно Надюши выясняется. Иван Яковлевич отвечал, что ничего ещё неизвестно и вопрос эвакуации будет решаться на заседании вечером.

Утром мы поехали в театр, а со двора выезжали последние грузовики с актёрами и багажом! Главное, уже уехали точно. Надюша осталась не нужна. Я её ободрила, говоря, что вот и хорошо – мне, по крайней мере, спокойно, переживём это время на даче. Как раз эту ночь с вторника на среду было беспокойно и мы спускались с ней в убежище и ей трудно было подниматься.

В среду 15-го утром пошла в театр за деньгами. Она внешне была бодрой и спокойной. С Надеждой Ивановной простилась и пошла с ней на Дмитровское метро, чтобы уехать на дачу.

Спускаемся вниз по Дмитровке. И как раз против амбулатории Большого театра она просит у меня нашатырь, я даю пузырёк, а она поднесла его, понюхала и упала мне в ноги. Я старалась поднять, повернула на спину, зову её, а она уже не отвечает.

Сейчас же принесли носилки, внесли в амбулаторию, она лежала, будто спит. Я просила скорее гравидан впрыснуть (был со мной), но мне доктор сказал, что всё будет сделано, что надо. Но, по-моему, камфару, которую они впрыснули, было уже поздно. Если бы она не сразу умерла – она отозвалась бы на мой зов и слёзы. Я вызвала Саню с Й___ (неразборчиво) и Володей, Галину, в театр побежала за Иван Яковлевичем. Он дал Купера, который очень уважал Надюшу, он взял на себя от (театра) все обязанности.

Так как не было постановления лечащего врача – для удостоверения причины смерти в карете скорой помощи отвезли к Склифосовскому. На другой день было вскрытие и можно было взять тело.

В этот же день 16-го не было никаких способов передвижения. Ни театр, ни бюро ничего не могли. С большим трудом 17-го утром в театре дали грузовик, мы поехали за гробом, поехали в Склифосовском взяли тело и оттуда прямо в крематорий, где пришлось часом раньше кремировать, т.к. кругом была пальба.

Играл орган, и она лежала спокойная, как будто спала. Урну мы третьего дня привезли к Соне (я всё время у неё). Перед образком с лампадкой она ночью с нами простояла, а вчера утром мы отпели её по-гречески. Рядом с Андрей Павловичем на Ваганьковском кладбище. Лидия Ивановна простилась с ней утром вчера в 8 часов, и в 10 Соня, Надюша, Володя, его жена Вика, с Наташей, Серафима Георгиевна, Люба и я отвели её. Ещё была Фаня и Муся.

Ариадна, Галина эвакуировались. На дачу проезд ограждён (?) из-за ----. Никто тут не бывает. Я просила повидаться со мной Ахметьева <...> обещал заехать, но до сих пор не был.

Завтра воскресенье, поеду к нему и к Анне Андреевне. Всё это время и днём и вечером и ночью проводим время между квартирой и убежищем. Спим мало, едим тоже. Из Сберкассы по Надюшиной книжке ничего получить не могу: все документы, где числилось, кто по её смерти наследует эти деньги, отосланы в Куйбышев. Мне говорят: получите после войны. Из театра по её книжке кассы Найм помощи тоже нельзя: документы эвакуированы. Но эти все материальные вопросы имеют значение, если мы будем живы.

Да, не думала, что мы с Надюшей так расстанемся. Я молила бога, чтобы нам с ней пережить вместе это тяжёлое время или уже вместе умереть. Очень, очень мне тяжело. Надя и Соня меня покоят и стараются скрасить моё одиночество. Поехать не еду – боюсь быть лишним балластом. Если всё сохранится, то у меня осталось у Исаковых – как-нибудь выкрутимся в будущем, а теперь можно на рынке продавать только одно (носильное, остальное барахло). Все почти безработные. Надюша было устроилась тут к оперетте, но потом её переманили певицы по... (неразборчиво). Володя там же в оркестре играет, но они на марках. Спектакли днём, иногда прерываются.

Галина Валериановна приехала тогда, когда Надюша такая спокойная, хорошая лежала в амбулатории театра и сказала: «Умница какая, умно жила, умно и умерла». Может, она и права, сейчас жить и страшно, и сложно. Оба вечера перед смертью Надюша провела с друзьями. Один раз все свои, были и Фаня с Мусей, а последний вечер с 14 на 15 сидела у нас. Мария Ивановна и Надюша была в очень хорошем настроении, говорили о вас, и она всё надеялась, что рассталась с Вами ненадолго.

Милая Вера Игнатьевна, я не могу писать без слёз и не представляю для чего же мне больше жить. Крепко-крепко вас всех целуем и очень любим.

Ваша МП.

Это письмо Марии Петровны Терейковской (младшей сестры Надежды Петровны), адресованное в РГАЛИ Вере Игнатьевне Мухиной, хранится в фонде Мухиных-Замковых.

Протоиерей Владимир ГОФМАН

Родился в 1953 году в городе Городце Горьковской области. Окончил Рыбинский авиационный техникум, историко-филологический факультет Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского и Московскую духовную семинарию. До рукоположения в сан священника работал литейщиком на производстве, журналистом. С 1993 года – священник Русской православной церкви.

Автор ряда поэтических сборников, книг прозы и множества публицистических статей. Лауреат ряда литературных премий, за книгу рассказов «Персиковый сад» в 2012 году удостоен диплома 3-й степени Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

КУПОЛА, СМОТРЯЩИЕ В НЕБО

Храмы Нижнего: между прошлым и будущим

Продолжение. Начало в № 5, 2019 – № 1, 2021

ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК

Церковь в честь иконы Божией Матери, именуемой «Живоносный источник», – еще один утерянный навсегда нижегородский храм. Он находился на участке между Красными казармами и Чкаловской лестницей. Уничтожен в 1929 году.

При недавних раскопках остатков Зачатьевской башни, разрушенной оползнями еще в XVIII веке, был обнаружен проходящий сквозь толщу стены водовод. Сохранились его кирпичная арка и каменный желоб, по которому до сих пор течет вода. Об этом пишет А.И. Давидов в своей статье «Церковь Живоносного источника» (2019 год). «С достаточно большой уверенностью, говорит автор, можно предположить, что это не просто древнее техническое сооружение, а водовод того самого легендарного источника, рядом с которым в 1702 году нижегородским митрополитом Исаиею был основан монастырь с деревянной церковью в честь Божией Матери... Перед храмовой иконой находился бассейн, куда и поступала вода из родника. Сам митрополит от этой воды получил исцеление глазной болезни...»

Было так. В 1702 году нижегородский митрополит Исайя основал под Зачатьевской башней кремля мужской монастырь с деревянной церковью в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Церковь и впрямь стояла над источником, от которого, как уже говорилось, митрополит получил исцеление своей болезни глаз. От архиерейского дома, находившегося тогда в кремле, митрополит сделал сход в монастырь и часто посещал источник. Перед храмовою иконою Божией Матери святитель устроил бассейн и провел в него воду из источника.

В 1764 году, при составлении монастырских штатов, монастырь упразднили, и церковь была обращена в приходскую. В начале XIX века деревянная церковь сгорела, и на ее месте в 1819–1821 годах, при архиепископе Моисее (Близнецове-Платонове), на средства прихожан и, по свидетельству Н.И. Храмцовского, при деятельном участии приходского священника Никиты Николаева и церковного старосты Петра Плотникова была построена каменная.

В 1830 году, при епископе Афанасии (Протопопове), купец К.М. Мичурин пристроил к ней трапезную с двумя приделами – во имя св. Николая Чудотворца и Архистратига Михаила, а перед храмовой иконой Божией Матери снова устроил бассейн, как было и в сгоревшем храме. Сыновья Мичурина построили позже «красивую по архитектуре» колокольню.

В 1839 году, при разрушении кремлевской стены, церковь настолько пострадала от оползня горы, что источник в ней иссяк, стены стали разрушаться, и она была закрыта для богослужения. Но в 1848 году сыном К.М. Мичурина, бывшим городским головой Василием Климентовичем Мичуриным, церковь была капитально укреплена и возобновлена. Бассейн в виде огромной вазы с проведенною в него водою из кремлевской горы был устроен за правым клиросом главной церкви, и перед ним была поставлена в киоте чудотворная икона Божией Матери «Живоносный Источник». Престолы в возобновленной церкви по-прежнему были: главный – в честь иконы «Живоносный Источник», придельные в трапезной – во имя святителя Николая и Архистратига Божия Михаила.

Вот как описывал в середине XIX века этот храм Н.И. Храмцовский: «Иконостас главного алтаря, устроенный в арке, невелик, но изящен: он украшен богатой резьбой и отзолочен червонным золотом; иконы в нем греческого стиля. В боковых арках устроены ниши, также украшенные резьбой и позолотой; в правой из них находится икона Божией Матери Живоносного Источника. К этой иконе жители Нижнего Новгорода имеют особенное уважение. Перед ней в бассейне, сделанном в виде огромной вазы, струится источник, проведенный из кремлевской горы. Этот источник, вытекающий из церковного бассейна, проходит в другой, устроенный вне церкви, из которого водой пользуются живоносные прихожане и войско, проживающее в казармах, стоящих недалеко от церкви... Наружность Живоносной церкви, особенно колокольни, очень изящна, последняя есть самая красивая из всех колоколен города: она отделана под невыбеленный кирпич и украшена колоннами различных ордеров и множеством орнаментов из белого камня...»

При церкви был каменный двухэтажный дом для членов клира, построенный тщанием того же В.К. Мичурина, каменные двухэтажная лавка и церковная сторожка. При церкви также работали Назарьевский приют и церковно-приходская школа, учрежденная в 1907 году. Они помещались в каменном трёхэтажном здании Живоносного церковно-приходского попечительства и финансировались из средств

Епархиального училищного совета. В приходе на 1916 год числилось 195 мужчин и 335 женщин.

В январе 1928 года в Нижкрайисполком поступило сообщение 2-го радиополка «об угрожающем для безопасности состояния культового здания Живоносного религиозного общества...». Нижегородский комитет коммунального хозяйства осмотрел здание церкви и установил «дальнейшую невозможность проведения в ней молитвенных собраний», после чего церковь распоряжением губернского административного отдела закрыли. Имущество церкви 1 марта 1929 года было принято на хранение этим отделом, а само здание снесено.

До 2012 года часть бывшей церковной территории, выходящая на Нижневолжскую набережную, была обнесена забором, а место, где стоял храм, находилось в запустении. После восстановления Зачатьевской башни здесь был разбит сквер, а в 2014 году установлен памятник Петру I. Вместе с храмом на долгие годы исчез и родник. Теперь источник обретен вновь. Дай Бог нам разума не потерять утраченную было православную святыню снова. А то ведь у нас нередко бывает так: что имеем не храним, потерявши – плачем.

«НИКОЛА НА ТОРГУ»

Каждый десятый храм в Нижегородской епархии был освящен в честь святителя Николая, архиепископа Мирликийского, Чудотворца, любимого русскими людьми святого. Один из таких храмов до 1929 года стоял на торговой площади внизу Кремля, в конце Зеленского съезда (Широкая улица) на пересечении с Рождественской. Народ его называл «Никола на торгу».

По преданию, на этом месте еще с XIV века стояла деревянная церковь во имя св. Николая, которая, неоднократно страдая от пожаров, несколько раз строилась заново. По свидетельству нижегородского летописца, она построена в 1371 году первоначально великим князем нижегородским Дмитрием Константиновичем.

В 1656 году при царе Алексее Михайловиче вместо деревянной купцом Семеном Задориным и дьяком Климом Патокиным (вероятно, соликамские солепромышленники, привозившие соль в Нижний Новгород для продажи) была построена каменная церковь. В этой церкви было три престола: главный – в честь Воскресения Христова и придельные: во имя св. Николая и св. Иоанна Милостивого. Но и каменный храм не раз горел. При пожарах в 1701 и 1705 годах церковь лишилась всей утвари и колоколов, а в пожаре 1715 года разрушилась до основания.

К половине XIX века Никольская церковь настолько обветшала, что поправить ее было невозможно, и думалось строить новую, но после разборки построение новой церкви было почему-то отложено, а приход был распределен по другим церквам.

В 1863 году, при епископе Нектарии (Надеждине), на месте разобранной церкви была построена часовня. А в 1870 году, при епископе Филарете (Мальшевском), часовня эта была обращена в однопрестольную церковь во имя св. Николая и приписана к Крестовой церкви Архиерейского дома. В 1890-х годах она была заново отделана внутри, и

23 октября 1894 года, при епископе Владимире (Никольском), церковь была вновь освящена. Из древних образов в этой церкви сохранились икона святителя Николая 1520 года и Боголюбская икона Божией Матери... Об этом сообщает М. Добровольский («Краткое описание Нижегородских церквей, монастырей и часовен», Нижний Новгород: Типография Губернского правления, 1895 г.).

Наступил XX, страшный, разрушительный, богоборческий век. 7 мая 1929 года было получено разрешение административно-хозяйственного отдела губисполкома на разборку Никольской церкви для строительства Дома Советов. Так не стало еще одного православного храма в Нижнем Новгороде. Дом Советов, конечно, важный объект, но далеко не Дом Божий.

...Мы проходим по улицам и площадям нашего города, порой не представляя даже, что здесь когда-то стоял храм, там – часовня, на этом месте памятник... И за каждым – человеческие судьбы, своя история... Другие имена, другие чаяния... И только город, несмотря на перемены, тот же в своей основе – Нижний Новгород, град, основанный святым князем Георгием. И он будет стоять, пока мы не потеряем память, веру, надежду и любовь. И хочется верить, что такое не случится никогда.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

О. А. Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Ирина Горюнова (Москва)

Диана Кан (Новокуйбышевск)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Андрей Рудалёв (Северодвинск)

Роман Сенчин (Екатеринбург)

Евгений Эрастов

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Олег Беркович

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Александр Котюсов

Ольга Лисятникова

Владимир Седов

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ

ООО «КНИГИ»

Адрес редакции и адрес издателя:
603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 24/2, ООО «Книги»
Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции
или по электронной почте:
jurnalnn@yandex.ru

Сайт журнала: www.jurnalnn.ru

Тексты для публикации присылаются отдельным файлом Word с указанием авторства, наименования произведения и биографической справкой.

Неоткорректированные рукописи с большим количеством ошибок не рассматриваются. Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Выпуск издания осуществлен
по заказу
правительства
Нижегородской области

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий

и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-60285
от 19 декабря 2014 г.

Подписано к печати 04.06.2021.

Выпущено в свет 25.06.2021.

Формат 70×108 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 21.

Тираж 800 экз. Заказ

Свободная цена.

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»,
428019, Чувашская Республика,
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13